



ВИКТОР
КОНЕЦКИЙ
МОРСКИЕ
СНЫ

ВИКТОР КОНЕЦКИЙ - МОРСКИЕ СНЫ



ВИКТОР
КОНЕЦКИЙ

МОРСКИЕ
СНЫ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1975

«Морские сны» — третья книга путевой прозы Виктора Конечкого. Она продолжает книги «Соленый лед» и «Среди мифов и рифов».

Хотя автор считает «Морские сны» заключительной книгой, трудно сказать, будет ли она действительно последней из его «путевых» произведений, ибо и в настоящее время Виктор Конечкий находится в дальнем плавании, а очередная дорога всегда раньше превращалась у него в путевую прозу.

© Издательство «Советский писатель», 1975

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Иногда бывает ощущение, что все мы на планете — гости. Как в детстве, когда привели тебя на елку в состоятельный дом и ты чужой всем.

И такое я очередной раз пережил, когда впервые увидел айсберг у берегов Ньюфаундленда.

Уже за два дня американский ледовый патруль сообщил о появлении айсбергов у нас по курсу. И мы нанесли их координаты на карту. И я боялся, что вдруг айсберги унесет течением. Мы попросили механиков чаще замерять температуру воды за бортом. Никто из штурманов и капитан с айсбергами еще не встречались. Туманы там густые, часты снежные заряды. И мы не знали, как радар обнаруживает эти айсберги. И, конечно, пошли разговоры о «Титанике» и «Гансе Гедофте».

Первый айсберг показался часа за два до заката. На экране радара он казался сперва судном. Но потом очертания отметки увеличились и размылись. Капитан повернул, и мы пошли на сближение, чтобы познакомиться с айсбергами.

Они плыли сюда от берегов Гренландии два года. Два года они раздавливали волны и обыкновенные льды. Они презирали ветры и подчинялись только глубинным течениям, потому что сидели в воде на триста метров.

Они плыли сюда два года, храня в себе тайны ледникового периода. В них жило эхо голосов пещерного человека. И они слышали последний, предсмертный вопль замерзающего мамонта.

И вот они приплыли сюда, чтобы встретиться со мной и потом исчезнуть без следа в волнах океана.

И я тоже шел к ним длинным и сложным путем.

Торжественная тишина стояла в рубке. Мы вплывали в храм.

Его куполом были небеса. Айсберг был алтарем.

Мы измерили его высоту секстаном и радаром — по вертикальному углу и дистанции. Получилось семьдесят метров

Мы были жалкими гостями мироздания, блохами, водяными блохами.

Айсберг имел две вершины, с ущельем между ними. Заходящее солнце уперло в вершины свои лучи. Неизъяснимые краски мерцали в гранях и поверхностях льда. Глубинный шум покорно смиряющихся волн окружал айсберг. Зелено-белый кильватерный след оставался за ним

Мы перестали замечать время. Судно лежало в дрейфе и тоже благоговейно слушало шум двигающегося сквозь храм алтаря.

Намного ниже его вершин летал альбатрос. А позади были еще два маленьких айсберга, очевидно соединенные с ним под водой общей подошвой.

И я все думал о тщетности усилий человечества достичь величия и о том, что мы гости здесь, что планета и мироздание только терпят нас — и больше ничего.

— А что это красное? Белого медведя убили, что ли?

И мы все заметили странные кровавые подтеки на огромной высоте, у самых вершин.

— Братцы, так это же номер! — заорал кто-то. — Номер восемнадцать!

Айсберги оказались пронумерованными. Ледовый патруль метил их из ракетных пистолетов, как метят овец. На айсберге был номер, как инвентарная бирка на канцелярском столе. Чтобы не путать их друг с другом, чтобы они не разбежались, не ушли в кусты от пастуха.

Благоговейная тишина рухнула. Капитан приказал давать ход и чертыхнулся, потому что мы потеряли на знакомство с айсбергами не меньше часа. В рубке спорили о том, как называются маленькие айсберги — «айсбержата»? От жеребят? Или еще как по-иному? Все изощрялись в островах и веселились. Всем как-то легко стало. Величие перестало давить души, и мы бессознательно обрадовались этому.



МОРСКИЕ
СНЫ

Изучение географии включает немаловажную теорию — теорию искусств, математики и естественных наук и теорию, лежащую в основе истории и мифов (хотя мифы не имеют никакого отношения к практической жизни). Например, если кто-нибудь расскажет историю странствований Одиссея, Менелая или Иасона, то не следует думать, что он поможет этим практической мудрости своих слушателей, разве только присоединит к своему рассказу полезные уроки, извлеченные из несчастий, которые эти герои претерпели. Эти рассказы все же могут доставить высокое наслаждение слушателям, интересующимся местами, где зародились мифы. Ведь практические деятели любят подобные занятия, потому что эти места прославлены, а мифы полны прелести. Однако такие люди интересуются всем этим не долго: ведь, как это и естественно, они больше заботятся о практической пользе.

Страбон, «География».

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ ВОЗЛЕ ОТМЕЛИ ЭТУАЛЬ

Возле южной оконечности Мадагаскара на отмели Этуаль течения крутились, как весенние кошки.

Нотр-Дам-де-ла-Рут.

Теплый дождь и дурная видимость.

Погода была точно такая, как два года назад, когда я мок под дождем в Париже у могилы Неизвестного солдата. Вот уж тогда не мог предполагать, что судьба занесет на отмель Звезды к югу от Мадагаскара и я всю ночную вахту буду испытывать неуверенность в месте судна, обсервации будут прыгать, течения поволокут к Нотр-Дам-де-ла-Рут и даже десяти градусов на снос окажется мало. И капитан будет серьезно болен. (Он все-таки поднялся в рубку — в трусах, синий страшный шрам после операции аппендицита — и спросил тихо: «Вы здесь когда-нибудь уже плавали?» — «Нет». — «Очень хорошо. Тогда будете смотреть в оба. Если бы здесь болтались много раз, я бы не решился уйти в каюту. Спокойной вахты!» И ушел. Превосходное знание штурманской психологии!)

И я остался тет-а-тет с отмелью Этуаль на Дороге Нашей Великой Девы — так я перевел «Нотр-Дам-де-ла-Рут». И, несмотря на тревожную вахту, Париж не оставлял меня ни на минуту. На ленте эхографа перо чертило и глубины под килем, и контур собора Нотр-Дам...

...Шуршал ночной дождь по кустам и деревьям на островке посередине Сены. Светили вверх прожектора подсветки. Корчились химеры, олицетворяя зло мира. Сена текла черная. Огромные двери собора были заперты.

Соборная тишина и шаги полицейского в черной накидке.

Не помню, о чем думалось. Помню, что одиночество было уже на грани возможного. Правда, в чужом городе всегда одиноко. Даже днем на базаре.

Потом я перешел мост и возле какого-то правительственного здания увидел разъезд гостей. Дамы в вечерних туалетах садились в машины, подбирая шлейфы длинных платьев. И мужчины во фраках под дождем. И полицейские у каждой машины. И от всего — запахом «Кошки под дождем» Хемингуэя. . .

На следующий день я встретился с французской писательницей русского происхождения. Здесь ее звали без отчества — просто Натали.

Изящная пожилая женщина шла со мной рядом по улицам Парижа. Как и в Ленинграде, она была без шляпы — седые волосы и поднятый воротник плаща. И мне было грустно, что сейчас наша встреча закончится. И что, быть может, мне только кажется, что Натали относится ко мне хорошо, что ей хотелось встретиться. И что она просто-напросто оплачивает долг гостеприимства.

Мы шли какой-то узкой улицей, названия которой я не запомнил, но это где-то между площадью Иены и станцией метро «Георг V».

Натали сказала, остановившись и улыбаясь смущенно:

— Видите маленькие окна чердаков? Вот этот высокий дом. . . Здесь сидели последние немцы, в больших чинах. . . Париж уже был свободен, они отстреливались. . . Муж был офицером Сопротивления. . . Мы были здесь, внизу. . . Наконец немцы сдались и спустились вниз, они вышли из той парадной. . . Муж велел мне перевести по-немецки: «Станьте к стенке!» Муж боялся, что они что-нибудь еще выкинут. . . У меня была винтовка. Я сказала мужу: «Возьми у меня винтовку!» Он спросил: «Зачем?» Я сказала: «Я выстрелю в них, если ты не возьмешь у меня винтовку. Я не выдержу и выстрелю» Муж сказал: «Они сдались, нельзя стрелять». Но он взял у меня винтовку. . .

Мы пошли дальше, со страхом перед машинами пересекли какое-то авеню. И я все-таки взял Натали под руку. Не так для того, чтобы оберегать женщину от ма-

шин на сложном перекрестке, а скорее чтобы самому почувствовать больше уверенности.

Несколько лет тому назад я водил Натали по Ленинграду, рассказывая ей о блокаде. Она все говорила: «Ужасно! Это невозможно! Ужасно!» И я так же держал ее худенький локоть в руке. Я никогда не мог представить ее с винтовкой. Мне в ум не приходило, что Натали может стрелять из винтовки.

Мы пошли дальше, но вместо того, чтобы расспросить Натали о ее прошлом, как это сделал бы любой нормальный человек, я только спросил.

— Вы напишете об этом?

— Нет, — сказала она с полной уверенностью. — Я пишу совсем иное и о другом. .

— Я знаю, что вы пишете нечто модерное или авангардное. Но люди умирают. И другие люди должны знать о прошлом, молодые люди. Я не о романе говорю. Я думаю, вам надо не написать, а записать то, чему вы были свидетель и участник. Как летописец. Без всякой абстракции, Мне кажется, вы даже обязаны это сделать. Это ваш долг.

Она взглянула на меня с удивлением. Ей в голову не приходило, что она что-то «должна».

— Вы должны записать все — время дня, улицу, номер дома, ваше состояние, слова вашего мужа. Это будет очень важно тем, кто будет жить после вас. Простите бога ради, что я так бесцеремонно говорю с вами.

Она ответила не сразу, ответ был обдуман. Натали сказала:

— Я не сумею.

Тут не могло быть речи о кокетстве.

— Вы все-таки пообедайте, — сказала еще Натали. — Вы много выпили виски, и вам надо поесть, а я вас так и не покормила. Я теперь буду мучиться

Это было очень по-русски, было трогательно.

Но вот я думал и думаю сейчас: что стоит за этим «не сумею»? Высшая скромность художника, который понимает, что отобразить на бумаге истинный кусок жизни не может никто, кроме, быть может, самого бога? Или неверие в то, что истинный кусочек жизни имеет какой-либо смысл, если он не введен в сложный ряд абстракций и мифов?

Иногда кажется, что авангардизм, и в том числе «новый роман», «театр абсурда» и т. д., есть проявление слабости художника перед самим собой. Если считать искренность главным условием художественной глубины и ценности произведения искусства, то от художника требуется исповедь, требуется бестрепетное заглядывание в себя самого, в свое самое интимное нутро, в самый центр противоречий своих мыслей, в самое слабое место души. Но только гении преодолевали в себе то чувство зависимости от чужого мнения, которое мешает среднему художнику написать исповедь, как писал ее Руссо, Толстой, Достоевский. Модернист не имеет сил показать свою исповедь людям, но он, как любой художник, невыносимо хочет этого, понимает — в этом главное в творчестве, но не может. И он выдумывает новые формы самопоказа. Не обычные слова, которыми гениальные реалисты показывали глубину и наготу своих душ, мыслей, а нечто символическое, вторичное. Он не может быть нагим, ему, как Адаму и Еве, уже необходима набедренная повязка. Он тот грешный человек, который не может не стыдиться бога, ибо откусил яблока. Но что же тогда получается — что право на реализм остается только за гениями? А куда остальным — в «новый роман»?

Еще в пятьдесят шестом Саррот писала в произведении с символическим названием «Эра подозрений»: «Поскольку ныне речь уже идет не о бесконечном продолжении списка литературных типов, а о том, чтобы показать сосуществование противоречивейших чувств и отразить в границах возможного богатство и сложность душевной жизни, писатель совершенно открыто говорит о самом себе».

Наш Лермонтов подшутил над последующими поколениями русских литераторов зло. Беззубые шутки ему не удавались.

Словосочетание «герой нашего времени» взято Лермонтовым со знаком минус. Когда мы употребляем это словосочетание в свое время, то ставим перед ним плюс. Однако в память любого читающего человека Печорин вписан гениальной рукой. Язвительная разочарованность могучего ума из тьмы прошлого века бьет нашему положительному герою под дых, требуя от него саморазоблачений и скептического к самому себе отношения. И не

только в социально-общественном смысле, но и в житейских вопросах и в любовных делах.

Лермонтов подшутил над нами зло еще и потому, что, как бы он ни размежевывался со своим героем, они, надо признаться, похожи. Писатель, ставя перед своим героем минус, естественно, не боялся кое в чем скрестить героя со своей персоной. Если бы герой был положительным, то было бы неприлично давать даже намек на возможность общего с ним у автора.

Даже потерявшие всякий стыд литераторы, как бы глупы они ни были, не решатся показать себя в облике положительного героя своего времени.

Нам остается искать положительного героя в окружающей среде. Мы и посмеем не смеем искать его в себе самом. Не говорю уже о том, чтобы найти его в себе.

Отсюда лень и робость в изучении себя — обыкновенного себя. Не строителя атомной электростанции, не доярки-ударницы, не космонавта даже, а себя — рядового литератора.

Но это не значит, что мы не пишем подробных воспоминаний о себе самом. Не значит, что мы не фиксируем каждый свой шаг в путевых записках. Не значит, что мы не суем «я» в интервью или литературные анкеты. Нет, все это мы проделываем замечательно... но без самоисследования, без обнажения минусов, без попытки типизировать, соотносить себя с типическим характером в типических обстоятельствах. И все это только по одной причине — из скромности...

Парадокс, мне кажется, в том, что объективно «изучиться» неизмеримо труднее, нежели изучить со стороны маниакального убийцу. Почему? Потому что о себе самом запрещено фантазировать.

Опытный и порядочный судья понимает преступника и мотивы преступления лучше, чем сам преступник.

Хороший прокурор зачастую видит больше смягчающих обстоятельств, чем адвокат.

Почему пишешь?.. Любовь к себе? Честолюбие? Желание доставить хорошим людям удовольствие? Желание, чтобы тебя полюбили и любили? Нестерпимость стремления поделиться близостью к истине? Сознание того, что сложность вопроса одному не под силу? От избытка радости? От чрезмерности горечи? По приказу искренности? По ее гену? Вот о чем я спрашивал себя

глухой ночью возле южной оконечности Мадагаскара на отмели Этуаль, где течения крутятся и вертятся, как весенние кошки, а в их черной глубине тихо спят уставшие кашалоты.

Итак, сегодня мы считаем старомодным прикрывать свою подлинную душу какими-то литературными типами, то есть Дон-Кихотами Наташами Ростовыми или мадамами Бовари. Но и свои исподние алогичности и нежность выставить напоказ нам не хватает духа и талантов. И тогда мы изобретаем «новый роман». Или ищем не в своей душе, а в личном деле, то есть в документе

Но документальная проза всех видов (включая путевую) есть некоторое подобие обыкновенной литературно-критической статьи. Вы листаете страницы своей или чужой жизни и пишете по поводу прочитанного. Вы не создаете образных характеров, но только пересказываете их с большим или меньшим успехом. Как и в трудах литературных критиков, вы не создаете новый мир. И потому не следует забывать слова Льва Толстого: «В умной критике искусства всё правда, но не ВСЯ правда, а искусство потому только искусство, что оно ВСЁ». В документе нет ВСЕЙ правды. Документальная проза и путевые заметки — весьма подозрительная форма искусства. Высокое, как это ни прискорбно, предполагает вымысел, вернее, использование фантазии.

Никто не знает, почему человек, обливаясь над заведомым вымыслом слезами, получает от этого высокое наслаждение. А без читательского наслаждения нет художественной литературы.

Облиться слезами над твоей собственной судьбой читатель почему-то не способен, даже если очень тебе сочувствует

И вот тут поймешь, что без вымысла в рассказе о своей и чужих судьбах не обойтись. Никак при этом не хочу умалить роль автора документальной прозы. Документ молчит без автора-художника. Это автор открывает документу рот. И тогда документ кричит и способен даже потрясать. (Ведь когда преступник на суде рассказывает все без утайки, потрясает даже судей исповедью, не следует забывать о следователе, который помог открыть ему рот.)

И все-таки документы или описания путешествий воровать можно. Попробуйте украсть Мисюсь!

ВО СНЕ И НАЯВУ

Настоящий кит был стонком, а кашалот — платоником, который в последние годы испытал влияние Спинозы.

Г. Мелвилл

Стопятидесятилетие Германа Мелвилла я отметил недалеко от Доброй Надежды. Узнал о знаменательной дате случайно из немецкого календаря.

В честь Моби Дика мы встретили тогда платоника-кашалота.

Он несся прямо в борт теплохода, высоко выныривая и пуская маленькие фонтанчики. Разбивать философский лоб о ржавую сталь платоник не пожелал и в последний миг юркнул под киль.

Я должен был испытать особые чувства. Во-первых, встретил живого платоника. Во-вторых, как ни трудно в это поверить, именно кашалот виновен в моем затянувшемся общении с морями.

Но никаких особых чувств живой кашалот во мне не вызвал. Настроение было тоскливое. И в основе его лежал осадок, выпавший в душу от человеческой мелкой подлости.

Красавица испанка, продававшая на Канарских островах статуэтки мадонн, выдавала их за деревянные.

Я купил мадонну и держал ее на видном месте в каюте.

Скромный лик святой испанской девушки украшал суровую походную жизнь мужчины.

Потом нас качнуло, мадонна хлопнулась на палубу, и симпатичный девичий локоток отлетел напрочь.

Машенька была гипсовая подделка под старое дерево.

Хоть плачь, так стало обидно от неумения и приобретения, и сохранять вещи. Я приклеил локоток канцеляр-

ским клеем и забинтовал Санта-Марню носовым платком.

Раннего детства не помню. Оно отсечено войной. Но, бинтуя мадонну, вспомнил, что лет в шесть у меня была мраморная лягушка; она упала, разбилась, и я ее точно так же бинтовал и плакал от обиды. Даже с седыми висками было трогательно вспоминать милое детство и чистые слезы над бесхвостым земноводным в двухстах милях от мыса Доброй Надежды.

Вскоре после повстречания кашалота справа по носу обнаружилось нечто оранжево-красное, похожее на перевернувшуюся спасательную шлюпку.

День стоял редкой красоты. Воздух и волны гуляли по океану, ласково взявшись за руки. Смотреть на солнечную ясность впереди сквозь бинокль было больно глазам. И мы долго не могли разобрать природу плавающего предмета.

Оказался еще один кашалот. Мертвый. Уже бесформенная туша тяжело колыхалась на гладких синих волнах. Из огромных ран выворачивался жир. Вероятно, платоник угодил под гребной винт крупного судна.

Уйма птиц — больших темных и светлой мелочи — облепили тушу. Сытые отдыхали рядом на волнах и колыхались. Ни одна птица не взлетела, хотя десять тысяч тонн стали промчались в десяти метрах.

На мостике молчали, храня ту неожиданную тишину, которую я слышал как-то при встрече с айсбергом у Ньюфаундленда, и между могил острова Вайгач, и на горе в сирийском порту Латакия, когда думал о близкой могиле Ионы — Товарища Рыбы.

С некоторым содроганием представил я пророка во вздувшемся брюхе истерзанного птицами, рыбами и гребными винтами кашалота. Просидеть, или пролежать, или простоять трое суток в таком страшилище — не фунт изюма съесть. Бог знал, как наказать дезертира.

«И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня, и пришел в Иоппию, и нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис; отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа.»

Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться.

И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее; Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул.

И пришел к нему начальник корабля, и сказал ему: что ты спишь? стань, воззови к Богу твоему; может быть, Бог вспомнит о нас и мы не погибнем...

И сказали ему: что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться.

Тогда он сказал им: возьмите меня, и бросьте меня в море, и море утихнет для вас; ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря.

Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле; но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них...

И взяли Иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей.

И повелел Господь большому киту проглотить Иону; и был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи...

Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня; все воды Твои и волны Твои проходили надо мною.

Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскую траву обвита была голова моя.

До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из ада.

И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу».

Вот этот миф я хотел положить в основу одной современной повести об инженере, специалисте по радиоэлектронике.

Мелвилл шутил, награждая разные породы китов философскими кличками. Но шутки гения несут печать истины и ее печаль. Ведь последовательный стоик считает, что и великий мудрец, оказавшись в коммунальной квартире, может запутаться в хаосе жизненных отношений. И тогда — если мудрец не может разумно упорядочить этот хаос — он должен покончить с собой, так как только смерть способна вырвать из неразумного хаоса жизни и приобщить к идеальной разумности мирового целого.

И современные киты часто следуют примеру стоика Зенона. Но только усатые киты! Зубатые же являются

злейшими противниками всякой науки, псевдонауки и афинской демократии. Они набиты вздором, сопротивляются насилью, терпеть не могут самоубийц; как недавно выяснилось, болеют гриппом, принимают антибиотики в пилюлях из скумбрии, а к смерти проявляют не философское равнодушие, а овечью близорукость: если вожак получает гарпун в сердце и, обезумев от боли, оказывается на береговых камнях, то стадо следует за ним, демонстрируя чисто стадное поведение, которое особенно возмутительно у громил, имеющих в пасти по сорок два огромных зуба.

Не соглашаясь ни со стопками, ни с платониками по отношению к основному вопросу бытия, мы испытывали к дохлому, облепленному жадными до падали морскими птицами, колыхающемуся вверх брюхом кашалоту обыкновенное сожаление.

Так начинался седьмой месяц рейса на теплоходе «Невель». Все дальнейшее относится к пребыванию на борту этого судна, названного в честь маленького псковского городка, что давало морским острякам повод и возможность называть нас скобарями, хотя мы занимались ультрасовременными делами — возили по Индийскому и Атлантическому океанам ученую экспедицию. Экспедиция наблюдала за космическими объектами.

Позади был Сингапур и коралловые острова Каргадос, остров Маврикий и черные воды Атлантики возле Фолклендских островов. Позади было двести сорок ночных вахт, каждая в крошечной тьме — от полуночи до четырех утра, в одиночестве спящего полушария Земли, в бессловесной тишине приборов и судоводительской аппаратуры.

Доподлинно известны два способа, позволяющие вам довольно быстро встретиться с чертом или привидением.

Один старинный, но дорогой — я имею в виду белую горячку.

Другой основан на последнем слове науки и техники. Он порожден высотными полетами и сурдокамерами, чувством оторванности от Земли и ощущением оторванности чувств от собственного тела. Когда тело пилота несетя на высоте в двадцать пять километров со сверх-

звуковой скоростью, силы сцепления тела с душой ослабевают, и душа как бы отстает от оболочки. В этот момент некоторые пилоты видят черта. Бес удобно сидит на облаке и отмахивает хвостом в сторону от намеченного пилотом курса.

Появление беса соответствует законам бытия. Так как природа не терпит пустоты, то щель между телом пилота и его отставшей душой заполняется нечистой силой. То же и в сурдокамере. Резкое уменьшение раздражителей, падающих на органы чувств человека, замещается привидениями и потусторонними голосами, например хором мальчиков Ленинградской капеллы. Длительные одиночные плавания в океане тоже годятся тому, кто желает познакомиться с нечистой силой. Уже на втором месяце вы можете ощущать отделение головы или ноги от туловища, а появление рядом двойника или даже матроса с каравеллы Колумба ничуть вас не удивит. Когда Джошуа Слокам отравился брынзой и не смог управлять «Спреем», то к нему в бушующий океан пришел рулевой с «Пинты». Широкая красная шапка свисала петушиным гребнем над его левым ухом, лихие черные бакенбарды обрамляли пиратскую рожу, но член экипажа Колумба оказался добрым и веселым парнем. Он вел «Спрей» через шторм всю ночь под всеми парусами и, болтая со Слокамом, признался только в одном морском грехе — старинном, как сам океан, — контрабанде...

Однако без всяких шуток меня уже давно интересует вопрос черта. Почему именно он, черт, является алкоголику или летчику? Почему не крокодил? Теща? Паук? Дантист? Домоуправ? Скелет?

Вполне естественно, что средневековому алкоголику мерещился черт. Это было самое страшное существо для средневекового алкоголика. Образ черта впечатывался еще в детское сознание с матриц соборных стен и религиозных книг. И черт приходил, когда сознание темнело. Но почему он мерещится двадцатипятилетнему американскому пилоту сегодня? Обыкновенный насморк пугает этого пилота неизмеримо больше.

Я общался с людьми, болевшими горячкой. Личности в диапазоне от деревенского тракториста до знаменитого художника. И серенькие, пушистые, лысые, черные черти сдергивали с них одеяла, вылезали из-под

кровати и прыгали в форточку довольно схожим образом. Знаменитый художник был при этом стальным атеистом и, как выяснилось, ни разу за всю жизнь не переступил порога церкви. Он отрицал богов и чертей, так сказать, с порога, но черт все-таки нашел его!

Я тоже видел черта, но во сне. И в благородном, демоническом, мефистофельском обличии. Сатана, закутанный в коричневый плащ, висел под потолком в дальнем углу каюты. Страх я не испытывал. Было только сожаление, что нет кинокамеры и магнитофона. Мы довольно долго болтали с сатаной о низком проценте всхожести семян хмеля, который я выращивал в ящике на паровой грелке.

И все-таки лгу. Ощущение легкого испуга и странности от беседы с демоном осталось. И временами кажется, что это не был сон.

Есть у меня еще несколько таинственных воспоминаний, которые обычно гонишь от себя, чтобы не рехнуться. Но о них позже.

Теперь сон в южной части Атлантического океана.

Он был записан на старой курсограмме четвертого ноября 1969 года. День был обыкновенный. В календаре отмечалась только восьмидесятая годовщина рождения Л. Г. Бродаты — советского графика-карикатуриста. Неужели за всю историю человечества никто из великих больше не родился во вторник четвертого ноября? И вот в этот будничный день я увидел гениальный сон.

Каменный одинокий дом. Каменный двор. По серым плитам двора бродит женщина в черном рваном платье. Она прекрасна, эта женщина, но ее лицо покрыто сыпью. Я давно и мучительно люблю ее, но она, медленно кружа по серым камням, рассказывает мне о любви к другому, жалуется на его измены и жестокость. В камнях двора есть щели, сквозь щели видна мрачная вода, в этой воде живет красная акула. И возлюбленный женщины гибнет в воде под двором. Теперь женщина равнодушно готова быть моей. Корявые платаны растут вокруг страшных щелей. Женщина спускается в щель, придерживаясь за низкие ветки старых деревьев. Я иду за ней. Подпол, подвал, засыпанный хлором. Там, оказывается, морг, где женщина монотонно работает, перетаскивая трупы. Умершая от заразной болезни девочка. Название болезни женщина говорит мне. Я понимаю, что она неминуемо

должна заразиться, но совсем не боится. Какие-то люди выходят из подземного перехода, они принимают труп девочки и несут его куда-то торжественно и траурно. Один поворачивается ко мне и смеется. И я вспоминаю, что все происходящее — пьеса. И актерам весело репетировать пьесу, так как это не жуткая жизнь, а только изображение ее. И дальше все время ощущение смешения игры в жизнь и подлинной жизни. И я путаю, где правда и где обман. А женщина приближает ко мне лицо, покрытое сыпью, но не обезображенное, и я вижу сквозь рваное платье ее прекрасное тело. Она садится на серые камни двора возле провала и кормит красную акулу. И мне надо подойти и сесть рядом, но я знаю, что это смерть для меня. И я делаю шаг за шагом назад, все ближе и ближе к другому провалу, и . . .

Если бы не проснулся в этот момент, то сердце лопнуло бы от ужаса.

Еще сон. Записан дотошно, сразу после пробуждения. Дарю психологам, изучающим моряков.

Район экватора. Пятый месяц рейса. Немного побаливал живот. Время сна — после ночной вахты, то есть после пяти утра. Вахта была спокойная.

Разрушенный дом, большой, этажей пять. Я на галерее верхнего этажа. Галерея идет вокруг всего дома, она без перил. Возле меня старый, допотопный поэт. Среди развалин он читает мне стихи. Стихи хорошие, и я удивлен этим, так как поэт он слабый. С привычной тоскливой злобой на судьбу, сделавшую его неудачником, старик спрашивает: «Здесь ночуете?» Я киваю, начинаю спускаться из руин по лестнице без перил, а сам слезу за старым поэтом. Он уходит куда-то внутрь здания по краю галереи, над пропастью.

Голос за кадром сна: «Теперь он разволновался... будет бродить всю ночь...»

Попадаю в комнату, в ней мне ночевать.

Много светильников-бра, вещей, закоулков, ширма в виде кибитки, шелковая, шикарная, в ней на раскладушке лежит слащаво красивый молодой человек. Он здесь ночевать не будет, сейчас уйдет, уступив место, смотрит на меня с издевательски-сочувствующим выражением. Во сне начинаю понимать, что впереди кошмар,

но не робею. Начинаю работать методично, как на мостике: приготавливаю постель, замечаю, что в комнате душно, — решаю спать, поставив дверь на каютную защелку. Ставлю дверь в такое положение, закрываю защелку на ключ, обхожу комнату и тушу одно за другим бра, в том числе и в кибитке, из которой молодой человек ушел. За моей спиной дверь открывается, и я вижу свою многолетнюю приятельницу Д. Спрашиваю:

— Как ты открыла?

Она, мертвая или в гипнотическом сне, медленно объясняет:

— Защелка отгибается снаружи.

Проверяю защелку, убеждаюсь, что она разогнута, выпрямляю, ставлю дверь в прежнее, приоткрытое положение, хотя знаю, что следует совсем ее прикрыть, что через щель и проникнет нечто ужасное. Д. исчезает.

Еще раз обхожу комнату, вижу в закутке халат на вешалке, отдергиваю — за ним, спиной ко мне, женщина, совсем незнакомая. Оборачивается покрашенным лицом. Я холодею, но не показываю вида, спрашиваю:

— Вы что тут делаете?

— А что такого?

Она хочет убежать, но не знает комнаты, рыскает по ней, не находит выхода, первый раз здесь. Я загоняю ее в угол, чтобы выяснить, зачем она пряталась. Она вдруг приближается ко мне, делает нечеловеческую гримасу и страшно кричит. Я держу себя в руках, сам удивляясь своей выдержке.

— Вас не испугаешь! — говорит она, снимает с себя гримасу, как маскарадную маску, и смеется по-человечески.

«Это только начало», — думаю я и просыпаюсь в тропическом поту.

Около одиннадцати утра. Работа с очередным небесным объектом назначена на полдень. Пора вставать.

Смотрю в окно каюты. Убеждаюсь в том, что, пока спал, Атлантика довела себя баллов до семи, серая, волна резкая, похоже на Баренцево море. Тропическая вялость во всех членах. Голова тяжелая, отдыхал всего около двух часов, да еще с кошмаром, который, впрочем, как-то не довел до кошмара.

Сажусь за машинку и отстукиваю то, что вы прочитали. Нарисовать могу — так ясно все вижу и помню.

Вспоминаю, что в комнате своего сна видел на стенах якобы нарисованные мною когда-то в далеком прошлом акварели. Чюрлённс, стилизующий Гогена. Тона от бледнейших зеленых до сиренево-малиновых. Силуэты деревьев и человеческих фигур — очень красиво, хотя и дилетантски неумело. Может, когда-нибудь я действительно рисовал такие штуки? И сейчас кажется, что рисовал, хотя абсолютно уверен, что нет.

Устанавливаю, что перед сном читал Стендаля и думал о схожести Рейнольдса и Голсуорси — мягкость, расплывчатость при четкости общих масс. И что кому не дано такое от бога: уметь делать контур расплывчатым, соединять его с окружающим миром, но сохранять графическую четкость масс, — тот этого никогда не добьется, даже если сойдет с ума. Затем вспомнил Врубеля, его сумасшествие. Решил, что Врубель сознавал необходимость неопределенности контура, но не мог преодолеть энгровской оторванности силуэта от мира и того мертветизма, который прступает от этого даже в работах больших мастеров. И с этим, кажется, я уснул.

Итак: большая высота (без страха высоты), руины, допотопный поэт (его несколько раз встречал в жизни, но никогда о нем не думал и им не интересовался), комната восточного, прекрасного убранства, но очень перегруженная вещами; мои рисунки в ней, необходимость ночевать в чужом месте, угроза и неизбежность кошмара — вот такая цепочка.

А теперь развлекательный полубред, игра, лицедейство, попытка выдумать собеседника, если его нет среди попутчиков.

На переходе вокруг Африки, после повстречания (слово Мелвилла) кашалота. Плыть вокруг Африки монотонное дело. Надо ее разок обогнуть, чтобы понять и почувствовать, какая она здоровенная.

Был включен рулевой автомат. Курс триста десять. Вахтенный матрос стирал белье в низах. Ночь. Тропики. Двери из ходовой рубки открыты в ночь и океан.

— Дядя Нептун! — позвал я. — Заходи, покурим!

И он пришел. Он пришел ко мне не в первый раз. Бодрый старик. Среднего роста, держится прямо, как фельдфебель, глаза жуткие, толстовские, шея мощная, бывает брюзглив, любит язвить.

В этот приход на его мощной шее висел рваный пла-ток, завязанный рифовым узлом — так, как завязывал его Мелвилл во времена отчаянной и безоглядной молодости, когда бороздил под парусами океаны в роли матроса-китобоя.

— У древних римлян толстая шея считалась признаком нахальства, — сказал я, когда старик занял свое любимое местечко у правого окна рулевой рубки. — Как бы мне накачать себе шею?

Во тьме полыхнула далекая синяя зарница. Чего-чего, а электричества в воздухе тропиков достаточно. Чувствуешь себя сидящим в лейденской банке. И духота, как в брюхе кита.

— К несчастью, — сказал старик.

— Что?

— Молния упала с левого борта. Это к несчастью. Так считали древние римляне.

— Ерунда.

— Ты не суеверен?

— Есть немного. Чаю?

— Налей.

— Суеверие полезно тем, — сказал я, — что учит приглядываться к символам. Статья о твоём дружке Мелвилле в американском «Бюллетене ученых-атомников» называется «Моби Дик и атом». За символом Белого кита нынешние ученые видят атомную бомбу и сатанинскую злобу атомной энергии. Разве додумаешься до такого, если не владеешь символическим мышлением?

— Герман искал сюжет в Библии, — сказал старик. — А творцы вашей научно-технической революции рыскают в его книгах! Они уже не способны искать мифы и символы в первоисточнике.

Чтобы вам был понятен этот разговор, напомню, что Мелвилл сделал своего героя — капитана китобойца «Пекорд» — однофамильцем древнего царя, бросившего вызов богу. Вызов был оригинальный. Царь Ахав упрекнул бога в неспособности уничтожить в мире зло. И поклялся сам исполнить за бога эту грязную работенку.

Капитан «Пекорда» Ахав рехнулся не от той боли, которую причинил ему Моби Дик, откусив ногу.

«Белый кит плыл у него перед глазами, как бредовое воплощение всякого зла, какое снедает порой душу глубоко чувствующего человека, покуда не оставит его

с половиной сердца. . .» «И я буду, — ревел капитан, — преследовать его и за мысом Доброй Надежды, и за мысом Горн, и за Норвежским Мальстремом, и за пламенем погибели, и ничто не заставит меня отказаться от погони. Вот цель нашего плавания, люди! . . .»

Только после встречи с трупом кашалота возле берегов Африки осенила меня мысль, что Ахав сумасшедший. То есть я знал это, но не понимал, не чувствовал смысла в его сумасшествии. А здесь понял, что только сумасшедший может быть счастлив, ибо представляет зло в конкретии, в определенном образе, в одном звере. Убей Моби Дика — и ты будешь счастлив, ибо больше не будет на свете несправедливости, серости, тупости, жадности, трусости.

Нормальный же человек знает, что зло невозможно убить, всадив гарпун в сердце одного чудовища. Зло невозможно оставить за кормой на синих волнах дохлой сальной тушей в облаке жадных птиц. Оно всюду. Его конца не видно и нет, как нет начала и конца у плюса, как нет конца и начала у минуса, как нет их в проводнике, по которому идет поток электронов. . .

Даже в рубке нашего теплохода было полно безначального зла и мелкой подлости. Как-то был обнаружен сломанный секстан — отлетел верньер. И никто не признал вины.

Ничего нет особенного — в шторм на крене поскользнуться и уронить секстан. С каждым может случиться. Но никто из штурманов не признался. И лживость тяжелым, инертным газом затопила рубку, застоялась в ней. . .

— Герой Мелвилла гонялся за кашалотом с гарпуном, — сказал я, — а мой инженер, специалист по радиоэлектронике, забрался в брюхо кашалота, чтобы убежать от зла, чтобы не бороться с ним, чтобы не видеть даже възскающего лика бога.

— Неужели тебе интересно сочинять о пескарях? — спросил старик. — Ведь все на свете, будь то живое существо, или корабль, или даже специалист по радиоэлектронике, безразлично, попадая в ужасную пропасть, какую являет собой глотка кашалота, тут же погибает, поглощенное навеки, и только морской пескарь сам удаляется туда и спит себе там в полной безопасности. Разве герой романа может быть пескарем?

— Черт знает кем может быть герой современного романа, — сказал я. — Прости, отец, скоро поворот. Пойду взгляну карту. Я быстро.

— Иди, сынок. И сверь компасы после поворота. Вы плюете нынче на магнитную стрелку. Не забывай, сынок, ты живешь на магните. И в этом больше смысла, нежели ты понимаешь. И никогда не забывай о лошадях. . . Ну, что ты выпучил глаза? Иди в штурманскую, а я погляжу вперед.

Я пошел в штурманскую рубку и окунулся в карту Гвинейского залива. Стрелки часов и быстрые цифры лага сказали: «Пора!» Я вернулся в ходовую и положил руля лево градусов десять. Звезды неспешно потекли в окнах рубки слева направо. Я прибавил освещение в репитере гирокомпаса, а старик курил на крыле мостика, чтобы не мешать мне работать.

Океан был пустынен.

Я одержал судно и поставил на автомате новый курс.

Потом записал координаты поворота. И приготовил анемометр, чтобы замерить ветер. Если старик такой дошлый, думал я, буду, ради смеха, все делать по правилам. Пускай стрелки магнитных компасов очухаются после поворота и хорошенько улягутся в невидимой люльке силовых линий. А если уж я вылезу на пеленгаторный мостик сверять главный компас, то одновременно замерю ветер, чтобы не писать в журнал гидрометеонаблюдений липу.

Старческая рука отодвинула зеленую занавеску в дверях.

— Не вызывай матроса, — сказал старик. — Я сам стану к репитеру и постучу тебе на пеленгаторный по переговорной трубе, когда мы будем точно на курсе.

— Есть, дядя Посейдон. Не будем вызывать матроса. Но неужели ты думаешь, что он там, внизу, работает? В лучшем случае он варит картошку.

Старик усмехнулся.

— Твой матрос просто дрыхнет в столовой команды, — сказал он.

Я очень осторожно шел к трапу пеленгаторного мостика. Купленные в Лас-Пальмесе сандалеты оказались на пластиковой подошве. Жуткое дело было ходить по мокрой стали, особенно когда она качалась.

Поручни трапа и ступеньки были такие мокрые, что

струи воды скатывались по ним. Кости ломило ревматической болью. И еще насморк, а платок я забыл в каюте.

С пеленгаторного мостика океан распахнулся еще шире. Я стащил чехол с главного магнитного компаса. Чехол наполнился ветром и хотел улететь за борт. Я наступил на него ногой, потом включил освещение компаса, вытащил заглушку переговорной трубы и сказал в мокрый, медный, противный раструб:

— Я готов, дядя Посейдон!

Старик молчал. И я вспомнил, что старик глуховат, и свистнул. И сразу услышал удары по трубе:

— На курсе, сынок!

Я заметил отсчет, зачехлил компас, потом выбрал подходящее местечко и простоял сто секунд, подняв руку с анемометром. Очень длинно тянутся эти сто секунд, когда замеряешь ветер в хороший шторм где-нибудь в полярном море.

Старик встретил на крыле. Он стоял возле бортового репитера и ловил спиной кажущийся ветер.

— Градусов восемьдесят, сынок, — сказал он. — Запиши отсчеты, а истинный ветер посчитаешь потом, когда я уйду. И высморкайся так, как это делают лондонские докеры.

Я сделал, как он сказал. И мы встали бок о бок у правого окна и закурили.

— Ты что-то говорил о лошадях, — напомнил я.

— А ты знаешь, что я покровитель всех лошадок в мире?

— Нет. Я думал, у тебя только морская специальность.

— Я сделал себе коня из скалы. Говорят, мой конь олицетворяет вечную скачку волн в океане. Ерунда. Мне было скучно здесь одному. Ты-то уж должен знать, как печально долго не видеть земли. Я рад, что мои сыновья вскормлены теплыми лошадьми. Ты любишь лошадей?

— Даже запах их навоза, дядя Посейдон. Хотя я касался рукой лошади лет тридцать назад. Я ездил в ночное на старой кобыле Матильде. Она была очень высокая и костлявая.

— Представляю твою задницу после первой поездки, — сказал старик и засмеялся. — Ты небось пробовал привязать на кобылу подушку?

— Случалось и такое дело.

— Когда ты был в Лондоне?

— Год назад. Мрачные воспоминания. Вез оттуда сорок ящичков модельной обуви. Докеры смайнали их в трюм не очень удачно. Ящички полопались. Дырки, про которые говорят: «с доступом к содержимому». Через дырки кто-то спер четыре пары женских замечательных туфельек.

— Спер ваш матрос, — сказал старик. — Ты простоял с ним сотню вахт. А он украл туфли.

— Я думал, украли грузчики.

— Нет. А «Катти Сарк» ты навестил в Лондоне? Или не вылезал из трюмов?

«Катти Сарк» — «Короткая рубашка». Ни об одном судне не говорят столько ерунды, сколько о «Катти». Один моряк при мне бился об заклад. Он утверждал, что «Катти» ходила по тридцать узлов. Это уже почти торпедный катер.

«Катти» теперь на вечной стоянке. Спит в сухом доке в Лондоне на кильблоках. Рядом растут деревья. Высокие круглые решетки окружают их стволы. Деревья и клипер отлично монтируются. Они — родственники.

Вечный лондонский дождик выбивал пузыри из мазутной воды Темзы, когда мы подошли к «Катти Сарк» и сняли кепки.

Такелаж и рангоут парусника блестели благородным блеском старинного серебра.

Молодая женщина на форштевне, обнажив груди, немного откинув голову, смотрела навстречу всем ветрам, улыбаясь коварно и отчаянно. В руке она сжимала конский хвост.

Ее звали Нэнни.

Нэнни была ведьма.

Она и скот губить могла, и портить в колосе зерно, и бесноваться в старенькой церкви среди чертей и привидений. Она с ума свела веселого пропойцу Тэма О'Шентера и оторвала хвост его несчастной кобыле Мэг.

Нэнни плевать хотела на шикарные наряды. Она навсегда осталась в рубашке, которую носила девчонкой. Рубашка была ей здорово мала. И, вероятно, это понравилось шотландским морякам и корабельным мастерам. И сто лет назад они называли новое судно «Короткая рубашка» и вырубили статую Нэнни на форштевне.

Известно было корабелям, что ведьмы боятся текучей воды, точно смерти. Ведь пьянчуга Тэм О'Шентер тем спасся от Нэнни, что успел перемахнуть на своей кобыле через быструю речку. В руках у беспутной ведьмы остался кобылий хвост.

И «Катти Сарк» промчалась по всем морям и океанам быстрее всех парусников мира.

Отчаянная Нэнни на форштевне крепко держала в руке хвост лошадки.

Нынче мокнет под лондонским дождем не та бесовка, которую сто лет назад вырубил мастер. Та, первая, осталась в океанах навсегда. Хорош был штормовой вал, который срезал ее крепления! Хорошо выл ветерок в снастях! А капитан глядел в штормовую мглу, и черт наверняка мерещился ему! И к этому морскому черту уплыла отчаянная Нэнни, нырнула в сундучок Дэйви Джонса, куда нам, людям, заглядывать жутковато, а беспутной бесовке в короткой рубашке там самое место.

Старинные дома Гринича рядом с доком, казалось, покачивались. Буксиры на Темзе басили задубевшими на ветру глотками. Со снастей капали тяжелые капли.

Старые моряцкие слова, клятвы и проклятия, проквашенные веком плаваний, отполированные, как поручни трапов, бесшумно жили среди вантов, штагов, топенантов, брасов. Соленые и тяжелые, как раковины Индийского океана, слова команд. И хлесткие, как концы мокрых тросов на ветру, ругательства матросов.

— Галерникам было похуже Прометея, — вдруг сказал старик в тишине. — Я их видел, можешь мне поверить. Я помню венецианские кенкеремы в двести весел. Каждое семнадцать метров. И семь рабов прикованы к нему цепями. Запах пота и крови тянулся за кенкеремами на многие мили. Птицы облетали их... Ты был в музее на «Катти»?

— Терпеть не могу музей, — признался я. — Самое хорошее в музее — окна. Когда я гляжу из самого замечательного музея в окно и вижу землю, деревья и людей на мокрых тротуарах, то хорошо делается от одной только мысли: что я обязательно из замечательного музея выйду. А когда я поворачиваю к выходу из самого замечательного музея, то состояние делается жеребьячье — такое, как бывает в длинном рейсе после радио-

граммы с приказом о возвращении домой. Мне важнее хорошая репродукция, которая всегда со мной, нежели час в Лувре или месяц в Эрмитаже.

— Ты говоришь об искусстве?

— Да. Настоящая живопись и настоящая скульптура требуют многолетнего общения. Потому я неохотно хожу в музей.

— Ты, сынок, тоже утратил вкус к подлинному... Тебе не кажется, что слева двадцать открылся огонь?

Я взял бинокль и увидел топовые огни. Здоровенный танкер шел напересечку.

— Он должен уступить нам дорогу, — сказал я.

— А ты уверен, что хоть один человек есть у него на мостике? А если он идет на автомате, потому что вокруг океан и пустынное место? И вахтенный штурман пьет пиво в баре тремя палубами ниже мостика и слушает вопли битлсов?

— Все может быть, — пробормотал я. — Пеленг не меняется.

— Ну, и что ты будешь делать? — захихикал старик. — Ты должен сохранять курс и скорость неизменными, так?

— Так гласят правила, — пробормотал я.

— Он раза в четыре больше тебя, а под твоими ногами восемь десятков людей. Он разрежет вашего скобара на ровные половинки. Чем тогда тебе помогут правила?

— Черт! — сказал я. — Пеленг не меняется. Суммарная скорость узлов тридцать пять.

— Не буду тебе мешать, сынок, — сказал старик, отвернулся от огней танкера и захрипел старинную песенку. Ее хрипели еще на кораблях Васко да Гамы:

Очень пригожа девица,
Очень мила и прекрасна!
Скажи, скажи, моряк,
Ты ведь жил на кораблях,
Так ли прекрасны
Корабль, парус или звезды?

Я позвонил в машину и сказал, что возможны реверсы. Включил на прогрев радар и установил на репитер левого борта пеленгатор. Обычно в открытом океане пеленгатор отдыхает в рубке.

Красиво выглядел супертанкер сквозь оптику пеленгатора. Он шел миль по двадцать, но бульба в носу гасила волны, и казалось, что он увеличивается в размерах, стоя на месте. Пеленг отходил на корму едва-едва. На трубе, подсвеченной прожекторами, извивался какой-то морской гад.

Супер промчался в миле по корме. Старик оказался прав. Ходовая рубка танкера была освещена, и в ней не было даже собаки.

Сто тысяч тонн стали и нефти неслись через океан сами по себе. Ребята на супере были убеждены, что на море нет самоубийц, что любой уступит им дорогу, если ему дорога жизнь хотя бы на шестипенсовик. Плевать они хотели на правила.

— Это недоразумение, — пробормотал старик, глядя вслед танкеру.

— Что?

— Что вы называете себя моряками. Вы забыли даже запах моря. Иногда вы за весь рейс ни разу не выходите на мостик. Вы только и делаете, что пялитесь на экран радара да щупаете дно эхолотом. Вы нюхаете только дым своих сигарет. А думаете вы только о том, в каком порту выгоднее истратить валюту. Вы такие же моряки, как, как... Есть что-нибудь общее между извозчиком и шофером такси?

— Конечно. И тот и другой берут на чай.

— Такие штучки побереги для девиц на приморском бульваре.

— Ладно, не сердись. Я скажу серьезно. Те, кто плавают нынче вокруг света совсем одни на маленькой яхточке, должны уравновесить нас, таксистов. Они, вероятно, сливаются своими душами с твоей душой, как хорошие извозчики с лошадками.

— Ерунда, — сказал старик и блеснул на меня глазами из-под бровей так, как будто у него там были индикаторы настройки приемника. — Чичестеры отличные ребята. И я их люблю. Но они не моряки. Моряк тот, кто отвечает не только за самого себя. Моряк должен все время помнить о других.

— Разве одиночка в океане не помнит о своих близких? Он не должен принести им горе. Он отвечает не только за себя.

— Это другое. Ваши близкие привыкают жить без вас. И когда вам выпадает длинный отпуск, они ждут не дождутся отдохнуть от вас, хотя, возможно, и любят вас безмерно. На берегу вам хочется непрерывного праздника. Вы думаете, что заслужили его. А жена ходит каждый день на работу и нянчит детей. Ее будни и ваш праздник не растворяются друг в друге.

— Только суспензия. И здесь ты, конечно, прав.

Танкер скрылся во тьме. Из машины позвонили. Второй механик спросил о том, что происходит наверху и почему он должен, как дурак, торчать у реверса. Я заболтался со стариком и забыл сам позвонить в машину.

— Прости, дорогой, — сказал я. — Расходимся с танкером. Теперь можешь заниматься своим делом.

Мой голос был чуть виноватым. Этого было достаточно, чтобы механик попросил остановить двигатель на три минуты — сменить форсунку.

— Ладно. Здесь все спокойно. Когда будешь готов, переведи телеграф на «стоп», а я отрепетую. Обороты можешь начинать сбавлять сразу.

— Ясно. Дождем не пахнет?

— Нет пока.

— Если запахнет, предупреди. У меня открыты капы — красили шахту.

— Ясно.

— Картошка будет к чаю?

— Еще не знаю.

Он повесил трубку, и ночная тишина над океаном показалась особенно глубокой после металлического гула машинного отделения. И вибрации стали слабеть — двигатель сбавлял обороты.

Особенное чувство появляется, когда судно теряет ход в океане. Его нельзя объяснить. Индонезийцы в таких случаях говорят про человека: «Он сейчас немой, увидевший вещий сон». Вероятно, действует еще изменение магнитных, и электрических, и гравитационных полей. Судно с другой скоростью пересекает магнитные линии Земли, в корпусе индуктируются токи других значений, и мозг окутывается чем-то неожиданным.

Слабее, слабее, слабее обороты винта. Всплеск волн переходит в умиротворенное ворчание, затем в добродушное шипение гаснущей пены. Ритм качки меняется.

Судно перестает слушать руля и уваливает с курса, находя себе самое удобное положение среди зыбин.

И кажется, ты вернулся на парусник.

Парусник и разве еще ветряная мельница — единственные человеческие сооружения, которые ничего не берут от природы силой, ничего не нарушают в естественной гармонии мира.

И сила ветров, и пахучая конопля, и голубой лен парусов — все это создано Солнцем. Ведь ветер — дыхание нашей звезды. И парус общается с ней напрямую.

Тот, кто когда-нибудь поднимался глухой ночью, при спокойной погоде, совсем один на мачту парусника, к самому топу, и висел просто так, без рабочей цели, между огромным ночным морем и огромным ночным небом, слушая шепот парусов внизу, тот знает странное ощущение остановившегося времени. Неподвижность скорости. И тогда поймешь — не разумом, а нутром, — что Эйнштейн прав, что один черт: уходит корабль от берегов или берега уходят от тебя, и все на этом свете относительно.

И уголь, и нефть, и атом дают нам силу, но, конечно, убивают музыку мира. А дырявый парус на дрянной шаланде и самый благородный инструмент — арфа — навсегда останутся братом и сестрой.

Чичестер начинал пилотом. Одиноким пилотом облетел Землю. И проделал обратный путь — с небес к парусу. Вероятно, он знал, где соединяются геометрия и бог, когда плыл сквозь океаны под парусом «Джипси Мот». Вероятно, они соединялись в его душе, одаря величественной радостью, то есть счастьем. И ради этих мгновений счастья он ставил и ставил на кон свою жизнь.

«Джипси Мот» теперь на вечной стоянке рядом с «Катти». Бабушка и внучка. Внучка свежепокрашена, аккуратна и в профиль похожа на современных девушек в расклешенных брючках. Крови и пота не видно на такелаже. А Чичестер оставил своей крови и пота на «Джипси» не меньше, чем оставляли галерники на сиденьях, цепях и веслах венецианских кенкерем. Только по доброй воле.

В чем философский смысл его попятного пути? И почему даже простое упоминание имени Чичестера будит во мне какую-то воспаленную, болезненную зависть?

Вероятно, и нам нужны живые мифы, они должны сопровождать нашу жизнь. И шутим мы или не шутим, но сталкиваемся с ними чаще, нежели отдаем себе в этом отчет. И потому при пересечении космическим кораблем небесного экватора астронавты тоже, может быть, будут устраивать праздник Нептуна — покровителя коневодства.

Дверь в рулевую рубку открылась, вошел радист Саня. Я думал, он скучает на вахте и заинтересовался причиной остановки, но он принес радиogramмы.

Одна сообщала об обнаружении в районе Азорских островов двух безлюдных яхт «Вагабонд» и «Тайнмаут электрон». На их борту было питание, питьевая вода, спасательное снаряжение, но не было капитанов. Исчез швед Пер Оскар Валлин — тридцать шесть лет, житель Стокгольма, двадцать шестого апреля вышел в одиночное кругосветное плавание. И англичанин Дональд Кроухарст — один из четырех парней, принявших вызов лондонской «Санди таймс» и пустившихся в безостановочное одиночное кругосветное плавание. Дональд шел на тримаране — яхте с тремя килями. Все суда в районе Азор просили особо тщательно наблюдать за морем.

Вторая радиogramма была такой же невеселой: французское судно сообщало, что потеряло за бортом человека, просило всех оказать содействие в поисках.

— Будете будить капитана? — спросил радист.

— Швед и англичанин далеко: с другой стороны экватора. До француза посчитаю мили и тогда решу, — сказал я.

Радист ушел.

Мне хотелось спросить старика, почему он так жестоко обошелся с Дональдом и Оскаром, но я не решился. За мифы надо платить. Иначе они не будут ничего стоить.

Мы со стариком поколдовали над картой, нанесли координаты французского судна и посчитали расстояние. Неудачник колыхался на зыби во тьме и безнадежности в двухстах восьми милях за кормой. Мы ничем не могли помочь.

— Молния упала с левого борта, — пробормотал старик.

Быть может, в этой примете не было ничего мистического: человек зазевался на синий полыхающий зигзаг и на легком крене полетел за борт.

— Прощай, сынок, — сказал старик. — И не забывай лошадок!

— Не забуду. Ты еще придешь?

— Если припасешь консервированного пива. Я люблю датское.

— Тогда догоняй этот дурацкий танкер. У них найдется датское.

— Пойду все-таки взгляну на французика. Быть может, он еще держится, — сказал старик.

•

ЧЕРТОВЩИНА

Протоплазма, по крайней мере потенциально, бессмертна. Смерть не заложена в амёбу.

Учебник биологии

А это уже не сон и не попытка выдумать себе собеседника. Это настоящая чертовщина. Она началась в поезде, когда я ехал в командировку в Москву и утром встал с левой ноги, а натягивая брюки, попал большим пальцем этой левой ноги в дыру брючной подкладки.

Дело было в «Стреле», на глазах соседей — профессора истории и крупного технократа. Палец попал в дыру и двинулся дальше уже по целине подкладки с мерзким звуком.

Добрую минуту соседи исподтишка наблюдали за моими маневрами. Левая нога безнадежно плутала в темноте брючины. Ее путь к свету не был прямым путем. «Кто ищет, вынужден блуждать» — сказано в «Прологе на небе», которым открывается «Фауст».

Стучали колеса на подмосковных стыках. Рукотворные водохранилища чернели ленивыми лужами среди белых берегов. Была зима, от окна дуло, но меня прошиб пот.

И не осталось сомнений в том, что наступающий командировочный день пройдет под флагом сплошной безнадеги.

И действительно.

В нужных учреждениях не было нужных лиц или эти учреждения закрывались на обеденный перерыв перед моим носом, в самом великолепном в мире метро я умудрился дважды заблудиться, и, конечно уж, не получил номер в гостинице, хотя еще за неделю хлопотал о броне.

Удивительное дело. В столице масса знакомых женщин и приятелей-мужчин. Но всегда оказывается, что позвонить некому, если остался ночью на улице или в ресторане без денег. И Белорусский вокзал не один раз оказывал мне покровительство. Зал ожидания транзитных пассажиров — перманентное заведение. России без него не представишь. Плох он только тем, что транзитность впитывается в кости. И начинает казаться, что вся жизнь — это сидение на жестком диване в зале ожидания. И тогда ты впадешь в очернительство и комплекс неполноценности достигает критической массы.

В тот раз я вспомнил телефон женщины, которая когда-то относилась ко мне неплохо, но потом вышла замуж за мужчину, который никогда не ночевал в залах ожидания для транзитных пассажиров.

Женщина не очень обрадовалась звонку, но сообщила, что ее мать едет ночевать к ней, потому что болеет дочка. Комната на Сивцевом Вражке остается пустовать.

Около двадцати трех я был у матери моей знакомой в старом доме старого переулка Сивцев Вражек. Ее звали Оксана Михайловна. Она догадывалась о том, что дочь когда-то неплохо ко мне относилась. И побаивалась, как бы я чего-нибудь не стал возобновлять. И потому ей полезно было со мной познакомиться. Я же знал только, что она патологоанатом. Это был первый патологоанатом, которого я повстречал в жизни.

Оксана Михайловна сразу завела разговор о том, что ливер людей, которые не берегут себя, отвратительно выглядит и неважно пахнет при вскрытии. Объясняя это, она посмотрела на меня взглядом профессионала, который по мешкам под глазами может со всеми деталями нарисовать вашу печень. И у меня замелькала в мозгу строчка, выстроенная ступенькой под Маяковского:

А эпилог

нам всем

патологоанатомы

напишут!

— Не собираетесь ли вы побывать в Японии? — интересовалась хозяйка, укладывая в пластмассовую коробочку пирожки для внучки.

Теоретически это было возможно. И я спросил размер туфель, которые требовались.

Но требовались японский лак и смола для муляжей.

— Я храню растительность... — здесь она произнесла имя, отчество и фамилию одного из очень знаменитых и уважаемых писателей начала нашего века и продолжала, надевая старомодные боты: — Хотите взглянуть на его усы? Вам должно быть интересно. Я всю жизнь мечтаю сделать его муляж. И с открытыми глазами. У меня хорошо получаются глаза, если, конечно, лак японский...

Я снисходительно хихикнул. Я еще не знал, что скоро деревянный диван в зале ожидания на любом вокзале покажется мне райским уголком по сравнению с комнаткой в старом доме на Сивцевом Вражке.

Оксана Михайловна открыла шкаф и принялась рыться в беспорядке полок, попутно объясняя, что сотворение муляжей и снятие посмертных масок со знаменитых покойников — ее хобби со студенческих, комсомольских времен; с тех еще времен, когда она подрабатывала машинописью в секретариате Интернационала; что она снимала маску с Ивана Павлова, была последним человеком, видевшим писателя Н., в крематории она сбрила с него усы, бороду и ресницы для будущего муляжа, а потом наблюдала весь процесс сожжения: как вспыхнула рубашка и от жара поднялась правая рука писателя в облаке ослепительного газа и т. д. и т. п.

— Занятно, занятно, забавно, забавно, — поддакивал я, все еще полагая, что меня разыгрывают. Но Оксана Михайловна выставила на стол стеклянную колбу. На дне колбы лежали вялые борода и усы, наклеенные на липкую бумагу. Затем вытащила гипсовую посмертную маску. Из маски свисали цветные тряпки и торчали окаменевшие бинты. Но несомненная подлинность маски делала эти детали несущественными.

Горестная тяжелая голова легла в яркий круг настольной лампы.

Я, конечно, спросил, почему реликвия хранится дома и не сдана в соответствующее заведение. Оказалось, что такого заведения, то есть квартиры-музея, еще нет, что Оксана Михайловна предлагала кому-то реликвию, но все отказались.

Я такому объяснению не удивился, потому что у нас в России отчетливо заметен таинственный закон, открытый и сформулированный, кажется, Тейяр де Шарденом. Закон этот заключается в том, что природа прячет прошлое от взгляда исследователя особым образом. Мы можем реконструировать только начала и концы прыжков истории и эволюции. Сами прыжки не оставляют следов. То есть выражение «концы в воду» здесь проявляется в противоположном смысле. Концы из воды торчат, а середины исчезают.

Оксана Михайловна уехала, посвятив меня в секреты французского замка, который я должен был утром хлопнуть, и пожелав чувствовать себя как дома, так как ночевать я буду один в квартире — левая соседка в командировке, а правые соседи не ночуют: у них недавно умер дедушка и они боятся. Вот тут-то я и набрался храбрости, чтобы спросить, нет ли у Оксаны Михайловны чего-нибудь успокаивающего. У нее нашлась казенка в бутылке из-под «Цинандалли».

Шел двенадцатый час ночи.

Я остался со старым писателем Н. в маленькой комнатке, окно которой выходило в переулок. Напротив был замызганный кинотеатрик. Там шел последний сеанс, и еще горели фонари у подъезда, освещая залеplенные снегом афиши. Снег густо падал с черных небес в щель переулка.

В комнате было тесно от дрянного комода, продырявленного дивана с ковром — верблюдов на фоне пирамид — и громоздкого зеркального шкафа. Жилье одинокой ученой женщины.

Над столом висела полка с книгами специального содержания. Первая книга, которую я взял, оказалась переводом со шведского. На обложке красовалась лупа и крупный отпечаток человеческого пальца. Книга называлась «Новейшие методы расследования преступлений». Я начал ее листать.

Маску писателя и колбу с его растительностью я накрыл газетой. Я знал, что буду еще ее рассматривать. Никуда от этого я деться не мог. Но время еще не пришло. И сперва судьбе было угодно ознакомить меня со

способами расчленения трупа в целях его дальнейшего сокрытия. По этим способам, оказывается, легко можно определить, был ли убийца мясником-крестьянином, или имел отношение к человеческой анатомии, или полный дилетант в мясных вопросах.

Хорошие шведские иллюстрации помогали составить обо всем этом наглядное представление.

И сразу мне показалось, что за стенкой — в соседней пустующей после смерти дедушки комнате — кто-то скрипнул полом. Я напомнил себе, что резкое уменьшение раздражителей, падающих на органы чувств нормального человека, например в сурдокамере, быстро приводит к слуховым иллюзиям. И что никто там скрипеть не может. Просто у меня звенит в ушах от тишины и духоты — батарея под окном жарила во всю ивановскую. Но на всякий случай я засунул шведскую книжонку обратно на полку.

Потом снял газету с реликвий.

Большая голова, набитая тряпьем, покорно молчала в свете настольной лампы. Провалы асимметричных ноздрей, широкий и плоский тупик носа, а сам нос, если взглянуть сбоку, очень тонкий и длинный. Переносицу почти горизонтально секла морщина, начинаясь у левой брови. А лоб строго по середине разделялся вертикальной складкой. Гипсовые усы плотно закрывали верхнюю губу и прижимались к впалости щек. На маске они были значительно больше, нежели в натуральном виде, больше и гуще. Борода скрывала подбородок.

Писатель — могучий интеллектуал и поэт — казался похожим на старого паровозного машиниста. И как такого машиниста, его невозможно было представить без усов и бороды. И меня не так поразила сама растительность знаменитого человека в колбе, как то, что женщине хватило нахальства, гениальности или сумасшествия сбрить ее с мертвеца, отпирать человека в последний путь с голым лицом и даже без бровей. Я даже прикрыл усы на маске пальцами, чтобы попытаться представить классика бритым. Из самозащиты или по дурной привычке я бормотал вслух случайные панибратские слова, вероятно, инстинктивно стараясь снизить, расшатать необычность душевного состояния. «Занятная встреча, — бормоталось мне. — Занятное получается дело, метр...

Это называется «LITTERA SCRIPTA MANET», да, слова улетают, а написанное остается, не вырубишь его топором, написанного... Единственную пятерку по литературе я имел за твои сочинения, старина, н-да...»

Но смерть быстро прикончила ручеек словоблудия. Смерть глядела закрытыми глазами из-под клочкастых бровей и тихо жила в натекшей к ушам коже и морщинах большого лба. Горечь раздумий запечатлелась на челе.

Я вытряхнул растительность из колбы и коснулся волос пальцем. Они показались влажными.

Я закурил. Подумалось о своем ливере, о прокуренных легких; о веревочке, конец которой скоро найдется. Подумалось о смерти. Не о пристойной или величественной смерти, а о ранней, больничной, бессильной, как истрепанные бинты, которыми была набита полость маски.

За жизнь каждый из нас миллион раз мимоходом, вскользь, но подумает о таком. И каждый раз в ином варианте, ибо каждый раз человек находится в ином состоянии. Ведь адекватно повторяются лишь кошмарные сны, — все остальное, включая каждое наше микросостояние, никогда не повторяет себя. И вот один раз из миллиона подумываний мы найдем все-таки вариант, который нас больше всего успокоит и примирит. И мы уцепимся за него.

Мы только не можем представить себе, что в предсмертии наше состояние будет таким необычным, каким оно никогда за все миллионы микросостояний даже близко не было. И тогда про утешительный вариант мы скорее всего и не вспомним. Любые иллюзии исчезнут. Любая ложь не поможет, если только милосердный врач не причастит нас морфием.

Я встал, прошелся, посмотрел на себя в зеркало. Честно говоря, мне хотелось на живое лицо посмотреть. Но когда глядишь на себя сразу после рассматривания смертной маски, то волей-неволей прикидываешь, как будешь глядеться в гробу, как складки к ушам со щек натекут. Сколько мне пришлось в почетном карауле стоять, столько я на эти натеки возле ушей любовался. Притягивают.

Я походил взад-вперед по узкой комнатке среди чужого пространства, чужих вещей, чужого жизнен-

изго уклада. Верблюды косились с ковра равнодушной мордой.

Падая за окном снег.

Из кинотеатра повалила толпа с последнего сеанса. Люди, попадая из надышанного тепла в снеговую ночную стылость, поднимали воротники, прихватывали друг друга под ручки, мелькали вспышки спичек, дым после первых жадных затяжек клубился густо. Какое-то зрелище свело людей вместе, держало там полтора часа. По белому экрану металась тень. Люди, быть может, плакали. Теперь они растекались в проходные дворы, в трамвай за углом, в переулочки.

Я открыл форточку, услышал курительные и простудные кашли, скрип подошв, отдельные слова о недавнем зрелище. И тошно мне стало, как зрителям после последнего сеанса на зимней улице. Музыки захотелось.

Приемничек оказался слабенький — «Рекорд». Он зашипел последние известия. От шипения приемника я еще острее ощутил одиночество. И когда из кинотеатра ушли последние люди, погасли последние огни, заглохли двери, то даже вздохнулось. И почему-то вспомнился телевизионный фильм, который я недавно смотрел в плавании в кают-компании теплохода возле берегов Соединенных Штатов, в тумане, в метельном и тусклом океане. Это был мульти. Симпатичный, солидный, вдохновенный кот играет на рояле. Кот не знает, что внутри рояля бегают по декам испуганный и хитрый мышонок. Это мышонок извлекает вдохновенные звуки из рояля, а не кот. Но вот аплодисменты. Кот встает, раскланивается, прижимает лапы к груди. Позади кота выскакивает из рояля мышонок и прячется в норку.

Нет тут никакой символики. Вспомнился вдруг долгий рейс в зимней Атлантике, неожиданный кусочек чужой земли на экране телевизора в кают-компании, солидный кот за роялем и мышонок-Моцарт в рояле, испуганный, несчастный и счастливый.

Мир утерял наставников и приобрел приемники, подумал я как бы чужими словами. Потом старательно продышался свежим воздухом, закрыл форточку, с почтительностью убрал реликвии подальше от глаз в шкаф и прилег на диван. Подушка оказалась жесткой и низкой. Я приподнял ее на валик, валик откинулся, задел

что-то на батарее отопления, и это «что-то» глухо шмякнулось на пол. Я взглянул за край дивана и оказался лицом к лицу с мертвецом. Собственная растительность зашуршала на затылке сапожной щеткой. И понадобилось порядочно секунд, чтобы понять, что из-под дивана торчит не голова трупа, а просто-напросто с батареи упала еще одна, сохнувшая там маска старика с ужасным выражением лица. К счастью, она не разбилась.

Я поднял ужасную маску дрожащими руками и положил на стол.

Потом опять походил по комнате, раздумывая, не стоит ли сорваться в аэропорт и улететь домой или к чертовой матери — безнадюга превышала допустимые уровни.

Смертный слепок на столе, казалось, корчился от ярости. Он почему-то напомнил мне протопопа Аввакума.

Удирать, однако, было стыдно. Да и очень уж не хотелось в ночной снег. И я заставил себя прилечь обратно на диван под верблюда и пирамиды. И стал думать о завтрашнем дне, о делах и планах. И вдруг явственно почувствовал за дверью комнаты присутствие кого-то. От предположения, что дверь сейчас тихо откроется, я окаменел. Прележав в каменном состоянии с минуту, я услышал за дверью вздох. И, преодолевая желудочный спазм, бросился в переднюю и темный коридор, но там, слава богу, никого не оказалось.

Хорошо взбитому гоголь-моголю надо простоять сутки, чтобы опала пена и гоголь-моголь опять стал обыкновенной смесью желтка, белка и углеводов. Мое психическое состояние было близким к хорошо взбитому гоголь-моголю. В таком состоянии не уснешь, но я, как убеждает меня все последующее, все-таки уснул.

Звонок раздался около двух часов.

Я открыл глаза, увидел незнакомую комнату, смертную маску на столе в круге света от лампы и обнаружил в себе остановку дыхания. Ночной звонок в городскую квартиру неприятнее львиного рыка возле озера Чад. И мы предпочитаем отпасовывать неожиданные ночные звонки ближним, то есть соседям. Для этого мы предпо-

читаем подождать второго звонка. Или третьего. После третьего мы уже принимаем решение — или окончательно окаменеть, то есть изобразить из себя пустое место, но не удовлетворить извечное, присущее даже змеям любопытство, или открыть дверь, чтобы удовлетворить любопытство, но получить хлопот полный рот.

Открывать на ночной звонок, когда ты ночуешь в чужом месте и не получил надлежащих инструкций от хозяев, вообще глупо, ибо звонящий не может знать о твоём присутствии, ты можешь изображать пустое место с довольно чистой совестью.

После первого звонка я продолжал лежать, отчетливо слыша удары метронома, как в блокадном бомбоубежище во время тревоги. Сперва я подумал, что слышу удары своего сердца, но это оказался хозяйский будильник, который стоял на комодe.

Звонок долго не повторялся.

Я же знал, что на лестнице есть человек. Он не ушел. Я его чувствовал.

И второй звонок раздался, требовательный, как бы говорящий: «Я знаю, что ты, сукин сын, тут! Отворяй, а то хуже будет!»

Следовало предположить, что это вернулась по неожиданной причине от дочки хозяйка и звонит, так как потеряла или забыла ключ. И я не стал ожидать третьего звонка. Выбрался в коридор, поискал выключатель, не нашел его, оставил дверь в комнату открытой и в полусвете подкрался к французскому замку парадной.

Если я принимаю решение открыть на ночной звонок, то уже не запрашиваю: «Кто там?» Дело в том, что запах дверей без всяких «Кто там?», запах широкий, стремительный и молчаливый, неплохо ошарашивает ночного звоняря, даже если он представитель самой суровой власти, и эффект внезапности на доли секунды переходит к вам.

Распах не получилось — старая дверь способна была только ковылять по куцей орбите, цепляясь за неровности лестничной площадки.

Нарушителем спокойствия была пожилая высокая дама в шикарной шубке из норки и с цыганской шалью на плечах. Она спросила Оксану Михайловну, назвав ее по фамилии.

Я спертым голоском объяснил, что хозяйка у дочери,

я здесь чужой, телефон там есть, здесь телефона нет, но я готов служить, если в том есть необходимость.

— Вы сегодня здорово пьяны! Клянусь богом, это так! — сказала дама с той непосредственностью, с какой говорят на алкогольные темы только за границей, где подобное высказывание не является чем-то оскорбительным, а просто фиксирует факт и придает этой фиксации даже оттенок некоторой лукаво-грубоватой зависти.

— Я из тех, кто не опасен в любом виде, — сказал я.

— Если разрешите, я найду и подумаю, что мне делать. Вы еще не спали — вы одеты. У меня всего три часа. Я пролетом, знаете, как все теперь: «Из Москвы в Нагасаки, из Нью-Йорка — на Марс...»

Она вошла в полумрак коммунального коридора с той уверенностью, с какой великосветские дамы прошлого века входили в театральную ложу, заабонированную еще их дедами. И скинула шубку мне на руки. Шубка была сухая.

— Послушайте, — сказал я. — На улице метель. Как вы умудрились выйти сухой из воды?

— Меня ждет посольский автомобиль, — сказала она.

Тут я вспомнил, что на столе лежит смертная маска Аввакума и это может шокировать даму, разъезжающую по ночной Москве в посольской машине.

— Айн момент, — сказал я на иностранном языке, прошмыгнул в комнату, схватил маску и сунул ее под диван.

— Достаньте обратно! — раздался приказ, и я даже почувствовал себя героем шпионского фильма и чуть было не поднял ланки, ожидая увидеть кружок пистолетного дула возле лба.

— У этой штуки жуткое выражение, — сказал я. — Вы не боитесь?

— Положите, пожалуйста, маску на стол, — сонм-булически прошептала дама. — Я приехала как раз для того, чтобы увидеть его. Я не буду вас долго задерживать... Ну, вот, Андрюша... видишь... я здесь. — Она села на диван с ногами, в уголок, уютно. Она смотрела на маску издали взглядом скорбным, но спокойным, как смотрят честные вдовы великих людей на гранитные монументы супругов. — Ну, вот, Андрюша... я здесь, любовь моя...

У меня почему-то напряжинились все мышцы, как у мужчин-пижонов-петухов на пляже. И в таком напряженном виде я отправился искать кухню, чтобы дать даме побыть одной и попробовать сделать чай. Я рад был странности всего происходящего и не жалел разбитой ночи. Только мне все казалось, что дама крадется по пятам за мной во тьме коридора. И что она окажется рядом, когда я включу свет. И когда я нашел кухню, выключатель и зажег свет, то сразу резко оглянулся. Никого, конечно, не было. Только три газовые плиты, умывальник и древний холодильник.

Я взял первый попавшийся чайник, наполнил его из медного кранника, причем струя рвалась из кранника злобствующей, брызгающей шавкой, поставил чайник на газ и, возвращаясь в комнату, нашел выключатели в коридоре и передней. Мне хотелось больше света. Как Гете перед смертью.

— Меня зовут Наталья Ильинична. Я русская, родилась в России, в Петербурге, но мало жила здесь, — сказала дама, когда я тихо вернулся.

Ей можно было дать и пятьдесят и семьдесят. Ухоженность и спортивность у волевых состоятельных женщин в век НТР долго сохраняет им статус-кво. Такие ухоженные состоятельные женщины превращаются в развалин и старух моментально — от толчка болезни или удара судьбы. Уверен, что именно такие длительно нестарые выдумали брючный костюм. Еще они отлично сохраняют и используют голосовую завлекательность. Ту самую, состоящую из грудных гармоник, которую все женщины любят слушать в себе с девочкиных времен. На эти гармоники покупается наш брат при знакомствах по телефону. Я лично терпеть их не могу. Мужчина, расхаживающий по пляжу с напряженными бицепсами, так же смешон и неприятен мне, как и женщина, которая говорит завлекательным голосом «ой!», когда ей на самом деле не страшно.

— Меня зовут Виктором, — сказал я и понес с пьяной непосредственностью: — Женское в женщине, Наталья Ильинична, самое сложное для естественного выражения, хотя такое мое заявление и можно счесть парадоксом. Меня ничуть не шокирует женщина, повесившая серьгу в нос, если ей действительно доставляет радость ходить с такой серьгой. Однажды я застал у племянни-

цы подругу, девушку лет шестнадцати. Они вместе готовились к экзамену по литературе на аттестат зрелости, повторяли типические черты «Матери» Горького. И подруга племянницы все прятала под стул ноги. Но я разглядел, что у нее на щиколотках намотаны розовые бусы. Девочки изучали скорбную жизнь Ниловны и любовались на себя в большое шкафовое зеркало. И это прелестно было. Мне тогда показалось, что я попал на ласковые острова Танти...

— У вас есть выпить, Виктор? И я не очень вам мешаю?

— Нет-нет, не мешаете. А мне болтать или молчать? Как прикажете? Я вижу, что...

— Да-да, болтайте. Вы правильно угадали. Здесь не будет мелодрамы, голубчик. Я танатолог. И он, Андрей Дмитриевич, тоже был танатологом.

— А что это такое?

— Танатология — наука о смерти. Налейте мне циннандали.

— Это не вино.

— А простая водка у вас есть?

— Сейчас будет, — сказал я. — Хоть вы и русская, но иностранка. А попадая в Россию, иностранцы с удовольствием лакают любую дрянь, если назовешь ее водкой. В Сплите боцман одесского танкера «Маршал Бирюзов» покупал в аптеке обыкновенный югославский спирт. Он стоит там пять копеек в базарный день. И продается без рецепта. Будете спирт с водой?

— Да-да, голубчик. И вы позволите, я здесь похозяйничаю? — спросила Наталья Ильинична, поднимаясь с дивана. — Сделаем стилл лайф... Андрея Дмитриевича в центр... вот так... Сюда ступу с карандашами, здесь парочку книг... Чего не хватает? Пепельницы с дымящейся сигаретой? — Приговаривая все это, она действительно составила на столе натюрморт с маской в центре. Затем достала из сумочки очки, надела их и низко склонилась над маской, осторожно и ласково поглаживая гипсовый лоб длинными пальцами, будто пытаюсь раздвинуть разъяренно сжатые брови старца. — Я прихворнула, а он был уже известный врач... Это было девятнадцатого апреля тринадцатого года. Мезозойская эра, да? Он начал меня целовать. Он был очень сильный.

Играл под Базарова. Попович. Сопротивляться я не могла, потому что руки мои он держал за спиной у меня, а чересчур вертеться я не могла из-за головной боли. Я попросила его отпустить меня. Но он принялся меня слушать, взяв на себя серьезный вид врача. Хотя я к этому врачу не имела уже ни капли доверия, все же решила дать себя послушать. . .

У меня на языке завертелась фраза известного анекдота, нечто вроде «приятно вспомнить», но я, слава богу, удержался. Слава богу потому, что, хотя дама была далека от мелодрамы, от анекдотов она была все-таки еще дальше. Она пришла попрощаться с человеком, которого любила и с которым всю жизнь провела во вражде, — шекспировская ситуация. Она всю жизнь стремилась облегчить человечеству страх перед смертью. Он всю жизнь считал ее работу величайшим преступлением перед нравственностью, ибо почитал смерть единственной силой, питающей человеческую совесть. Он, как я понял, считал, что, чем больше напшиговать современного человека страхом перед смертью, тем больше шансов у человечества не превратиться в скотов. Оба начинали в Париже в институте Пастера у Мечникова с выяснения роли простокваши в долголетии и с веры в то, что сознание неизбежности смерти, которое так часто делает людей несчастными, сеет пессимизм, приводит к самоубийству и воздержанию от размножения, есть зло поправимое. Стоит только победить болезни, заставить людей следовать правилам научной гигиены, и все будут достигать такой глубокой старости, при которой инстинкт жизни сменится инстинктом смерти и само прекращение физиологических функций будет сопровождаться приятными ощущениями, как они — весьма приятные ощущения — часто предшествуют сну или легкому обмороку. Но чем больше вставало трудностей на пути к достижению глубокой старости для всех и чем упорнее люди не следовали правилам научной гигиены, тем острее Наталья Ильинична ощущала необходимость помочь тем, кто умирает молодым, корчась от страха приближающегося конца. Она занялась исследованием составляющих этого страха. И выделила ту, которая порождается омерзительностью физического лица смерти. Она решила найти возможность смягчить пессимистическое ощущение, испытываемое большинством атеистов

и верующих при воображении своего тела, своей физической оболочки в стадии разложения, гниения, зачервивенья, могильного одиночества. Она искала возможность автоматического уничтожения трупа в момент наступления необратимой смерти.

Не думайте, что дама с синтетическими ослепительными зубами западной кинозвезды и в парижском парике золотистой блондинки читала лекцию в комнатке на Сивцевом Вражке. Лекции не было. Был метеоритный пунктир ее жизни на фоне тихого натюрморта со смертной маской старика-мученика. Это уж потом я обмыслил кое-что и уложил в систему на уровне своего понимания вопроса, то есть без всякого «*poblesse oblige*». Последнее выражение она повторяла так часто, что и я его запомнил. Оно означает: «Судить, как настоящему ученому, лишь с полным знанием дела».

Пока я слушал трассирующий рассказ Натальи Ильиничны, вторым планом стояла перед моим внутренним взором весенняя сценка — уборка двора дома номер девять по каналу Круштейна в Ленинграде в апреле сорок второго. Это был мой университет по танатологии. Во дворе лежали трупы. . . И вот оказалось, что старик, со смертной маской которого меня свела судьба, был специально командирован в блокадный Ленинград как доктанатолог и принимал участие в заседаниях исполкома и горкома комсомола, и давал рекомендации о способах сохранения нормальной психики у нас — детей и старух — при работах по уборке незахороненных трупов.

— Он ухаживал за больными на Чумном форту, это бывший Александра Первого. . . Шел ладожский, льдины синие и белые, без грязи. . . Я очень боялась за него, все ходила по городу — и по Большой Невке возле старого дворца Бирона, и по Мойке, возле дома Пушкина. . . Вечерняя заря была странная — набекрень. . . Город весь шуршал от льдин и ветра. И я думала, как льдины плывут мимо форта — туда не добраться было. Это теперь — вертолеты. . . Ночью он позвонил, сказал, что заразился, что идет лед, дымы стоят над городом, он их увидит еще и утром, утро будет чистое, молодое, как только проклюнувшаяся трава. . . «Я все забывал вам сказать, — сказал он, — что я вас люблю. Как-то все невы-

ходило сказать. Потом, зачем вам было это знать? Узнайте теперь. У меня температура, но голова ясна. Я знаю теперь окончательно: смерть связана с совестью материальной связью. Перечитайте «Смерть Ивана Ильича» графа Толстого. Обещайте иметь эту книгу всегда с собой!..» А я вдруг поняла и почувствовала, что он не умрет... Он еще сказал, что видит тюленя — тюлень плыл мимо форта на льдине, — и я засмеялась от счастья, что он не умрет — он не мог умереть. И я ему говорила о вязах, как мы будем гулять среди вязов, летом... И о Тургеневе мы говорили. Тогда Тургенев был другой, нежели сейчас... О, я уже тогда не могла отделаться от мысли, что если распад сложного, то есть трупа, на элементарное неизбежен, но относительно медлителен, то мы имеем моральное право ускорять его в любой степени...

— То же, что и в атомной бомбе?

— В принципе. Для того чтобы превратить ваши восемь триллионов клеток в излучение досветового спектра, достаточно энергии одной вашей молекулы. Хотите конфетку?

Я взял у нее самолетную карамельку в обертке с надписью «Сабина».

Я стал у окна и сосал карамельку — она обладала странным вкусом и, вероятно, обостряла обоняние — и смотрел сквозь стекло.

Та получалась ночка! Никогда я еще не получал такую массу ненужного хлама, то есть информации, в такое позднее время суток. И никогда еще среди информационного хлама не вспыхивали с такой алмазной яркостью нескромные по-западному детали женских воспоминаний.

В шатающемся конусе света от фонаря кружил на дне улицы автомобиль-снегоочиститель. Клепной ножа снегоочиститель задел бровку тротуара, скрытую под сугробом. Водителю было не развернуться в тесноте переулка.

Я вдруг учуял запах в кабине шофера. Смесь надыханного влажного тепла, тепла от мотора, запах прокалившегося на цилиндрах масла, бензиновой горькости, грязной одежды, папиросного дыма. А вокруг этого кабинного запаха — первозданная чистота снега, блеск снега в свете уличного фонаря, отдельные снежинки,

проскользнувшие сквозь щели... Я позавидовал шоферу снегоочистителя. Ночная работа тяжела, но кто не вкусил одинокой ночной работы, тот не знает чего-то особенного. В ночной работе есть вызов и солнцу и звездам. Недаром великие часто работали ночью. Здесь дело не во внешней тишине и отсутствии лишних раздражителей. Дело в чем-то ином...

— Да, ночной чай и ночная папироса говорят иначе, чем днем, — сказала Наталья Ильинична. — И колени женщины говорят не так, как днем, согласны, голубчик?.. Атомную бомбу сделали, чтобы убивать. А через смерть, через страх перед уничтожением пришли к миру и надеемся закрепить мир навечно. И течение событий подтверждает... Но ведь это опять — в корне своем — против течения истины, а не по нему. Как будто только страх смерти способен спасти жизнь! Уничтожить страх — вот что значит опередить течение истины. Я почти не боюсь смерти. И не потому, что у меня чистая совесть! Я побегу волной по Вселенной в тот миг, как только сознание угаснет: раз — и нет дурочки!..

— Далеко не все боятся смерти только через судьбу тела, — попробовал я встрять в ее рассуждения.

— Вы были в Майданеке, голубчик? — спросила она.

Я не был в Майданеке. Видел концлагерь под Гданьском. Печи лагерного крематория были украшены букетиками цветов. Экскурсанты возлагали живые цветы в зевы печей, на обгорелые кости.

— Печами Майданека заведовал инженер. Его фамилия была Телленгер. Вернее, Телленгер отвечал за поддержание в печах постоянной температуры. Они выбрали тысячу семьсот градусов. При такой температуре удавалось пропустить через печи две тысячи трупов в сутки. Я была там в составе комиссии Международного Красного Креста. Везде был пепел, белый. На лагерьном огороде эсэсовцы заставляли узников выращивать капусту. Вырастали огромные кочаны. Чемпионская капуста. Вашему Мичуру не снилась. Ее ели и хозяева и узники. Последние знали, что завтра их пепел превратится в следующий кочан... Но я о другом. Чертовски топят у вас, — она встала с дивана и прошла к дверям, раскрыла их. И продолжала говорить, обмахиваясь сумочкой: — Меня поразил рэкет эсэсовцев. Они торговали

пеплом. За несколько граммов пепла поляки — родственники погибших — платили эсэсовцам огромные деньги, отдавали любые ценности. Да. Живым нужна хотя бы щепотка праха от любимого человека... Этой мелочи я не учла... Ведь это так глупо — лететь сюда, чтобы увидеть кусок грязного гипса и прикоснуться к нему. А я — я! — здесь! Когда я узнала, что снимали маску, я уже ни о чем не думала — только прикоснуться к нему еще раз... Ну вот, видишь, Андрюша, ты победил, глупый мой! — Она опять погладила гипс и потом коснулась губами кончиков своих длинных пальцев, и продолжала:

— Вы никогда не думали, голубчик, почему похоронные процессии исчезли с улиц? Почему мы так быстро и скрыто провожаем граждан на тот свет? Не думали? А он, — она ткнула сигаретой в сторону маски Андрея Дмитриевича, — он думал! Он знал, что, когда у людей чернеет совесть, а вы хотите, чтобы она продолжала чернеть, вам не следует напоминать им лишний раз о смерти! Вот почему он ненавидел мою идею и проклинал меня каждый вечер по телефону. Он не расставался с телефоном, как президент Джонсон... Он, между нами говоря, последние годы чувствовал себя неважно — что-то с головой. Он начал говорить, что нас, людей, разводят на планете какие-то сверхсущества, как мы разводим свиней, например. Мы разводим свиней ради мяса, а нас разводят ради сознания. И после смерти наши сознания поступают для каких-то целей этим сверхсуществам. А смерть, голубчик, обладает иногда способностью восстанавливать утраченное ощущение совести даже у отпётых мерзавцев. Пройдя сквозь страх смерти, наше сознание повышает сортность, повышает кондицию, усложняет структуру. Для того и существует смерть в арсенале сверхсуществ. Вот такие вещи он сообщал мне последнее время по телефону. Да, он любил телефон, как президент Джонсон... Что вы обо всем этом скажете?

— Забавно, забавно, занятно, занятно, — пробормотал я. — Какой-то ваш американец заметил, что всякий юмор — это, в конце концов, напоминание о смерти, о том, что все мы смертны. Андрей Дмитриевич, мне кажется, был большой юморист, хотя по выражению его лица такого и не скажешь. Хотите крепкого чаю?

Она не ответила. Сидела запрокинув голову и устало

прикрыв глаза. Верблюд и пирамида были фоном ее золотистому парикю, на который пошли волосы какой-нибудь бедной и несчастной парижанки.

У каждого случается вдруг представить соседа или собеседника мертвым. И поймать себя на этом. И поторопиться отшвырнуть наваждение, мистически ощущая в нем возможность воздействия на течение жизни собеседника. И еще настораживает в таких случаях возможность каких-то неразличимых сознанием признаков во внешнем облике человека, сигнализирующих о приближении к нему неизбежного. Ведь должна же быть причина, по которой в твой мозг вошло видение его мертвенности... И когда неизбежное происходит — пускай через значительное время после такого твоего подумывания, — в тебе оживают какие-то угрызения, как в лермонтовском Печорине-фаталисте.

Я глядел на Наталью Ильиничну, и мне почудилось, что прилетела она сюда умирать и что печать смерти уже тоже легла между подбритых и подкрашенных ее бровей. В обстановке сплошной чертовщины ничего неожиданного в таких ощущениях не было.

— Вам нездоровится? — спросил я.

— Пустое, — сказала она, открывая глаза. — Плохо выгляжу?

— Нет, что вы! Никогда не скажешь, что вы кокетничали с родным братцем толстовского Ивана Ильича на Больших бульварах еще до четырнадцатого года.

— Илья Ильич Мечников любил вспоминать, что в монастырях, голубчик, никогда не стеснялись говорить умирающим, что их ждет. В альтруизме современных докторов отсутствует логика. Если человек отличается от верблюда своим осознанием неизбежности конца рано или поздно, то зачем возвращать умирающего к положению верблюда? И возвращать человека к этому животному состоянию в самый величественный момент цикла? Я знаю, что умру скоро. Но не сегодня. У вашей милиции не будет неприятностей. Не волнуйтесь, голубчик.

А меня почему-то начал бесить «голубчик».

— Итак, я правильно понимаю, что под финал вы обнаружили никчемность работы всей вашей жизни? — спросил я. — Я правильно понимаю, что если сегодня мир стоит на страхе перед водородной бомбой, то нельзя

даже пытаться уменьшать этот страх? Я уж и думать не хочу о других проблемах, которые встанут перед человечеством, если ваше открытие или идея вашего открытия осуществится в человеческой массе. Я о безнаказанности убийц, если нет улик, о невозможности оправдаться безвинным, о безнадежности в медицине, если она не сможет вскрывать наши трупы и исследовать больные органы. Таких угроз возникает великое множество. Вы о них, конечно, думали?

— Конечно.

— Тогда зачем весь огород? Вы никак не похожи на человека, который разочарован, который отдал жизнь пустой и даже вредной идее и накануне конца постиг ее бесплодность. В вас не заметно таких переживаний. Скорее, — простите, но мы откровенны без поверхностной вежливости, — скорее, вы кажетесь самодовольной.

— Речь не мальчика, но мужа, — выдала комплимент Наталья Ильинична, немного подпортив, правда, его легким зевком. — Ошибки людей, голубчик, которые дерзали мыслить по-своему, сделали больше пользы, чем великие истины, повторяемые бездарными устами. Не смерть в конечном счете уничтожает человечество, а однообразие людей. Зачем и почему я должна удручаться? Я всей своей работой нанесла такой удар однообразию, который смогут оценить полной мерой только дальние потомки. Ведь это только сегодня смерть есть единственный регулятор совести, голубчики вы мои, — она обращалась и ко мне и к Андрею Дмитриевичу, как к малым детям. — А что будет завтра, кто знает? Сомнения не означают разочарования. Возможно, я сделала больше Христа, Ньютона и Дарвина, вместе взятых. Только я слишком опередила время... Ужасной дрянью вы меня поили: болит затылок. Ну что ж, прощай, Андрюша, прощай, милый, прощай, любимый! — Она трижды перекрестила маску своего любовника и оппонента. Слезы блеснули в ее рационалистических глазах, она прижала рукой сердце и закончила шепотком: — Всегда помню, как ты играл мои косами, как детишки с дорогой игрушкой...

— Понскать валидол? — осторожно спросил я.

— Спасибо, не надо, болей в сердце нет, — отказалась Наталья Ильинична. — Не верьте слезам, голубчик.

Они ничего не значат. Слезы бесполезны. Не бесполезно только вдохновение... Однако мутит. Принесите воды со льдом!

Я помчался в кухню. Малиновый чайник мерцал на газовой плите — вода давно выкипела. Я выключил газ и полез в холодильник. Формочки со льдом там, конечно, не оказалось. Пришлось наковырять в стакан иней со стенок.

А когда я вернулся, Натальи Ильиничны уже не было.

Только неистово молчала на столе в ярком круге света от лампы протопоповская голова танатолога Андрея Дмитриевича.

Вот в какие дали может завести человека обыкновенная дыра в подкладке брюк!

Актеры, которым приходилось по долгу службы изображать героя и на смертном одре, не очень любят вспоминать такие штрихи своих творческих биографий. И мне не доставляет удовольствия описывать ту веселенькую ночь. Тем более иногда мне кажется, что в виде конфетки «Сабина» я проглотил какую-то жуткую химию или физику и что в момент смерти я исчезну таким квантовым скачком из брэнной материи в неуловимую гравитацию.

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Пересекали лунную по безжизненности зону океана. Даже птиц не было. Зато, опять как на Луне, метеоритов много.

Мне общественное поручение — ко дню рождения Хемингуэя сделать доклад. Отказываться было негоже. И я почувствовал себя попом, ко лбу которого Балда неумолимо подносит мозолистые пальцы, закрученные в пружину для нанесения добротной шелкушки.

Публичные выступления для меня жуть. Правда, интимные — письма — тоже жуть.

Просмотрел предисловие Симонова к собранию сочинений Хемингуэя. Предисловие напоминает осиновое надгробие — не очень вечное и изящное сооружение. Полистал «Колокол». Не читалось. Прошла пора, когда хотелось ощущать в душе бицепсы и брюшной пресс?

В ранней молодости Хемингуэй не любил боя быков, но не из жалости к быкам и тореро. Жалел лошадей пикадоров. На берегу Босфора есть памятник лошади. Стоит лошадь — и все.

«Едешь на рассвете вдоль Босфора, смотришь, как встает солнце, и, что бы ты ни делал до этого, ты чувствуешь, что, общаясь с этим, ты утверждаешься в решенном...»

С чего начинать доклад?

Смотритель маяка на островке Ки-Уэст сказал: «Если этот парень погибнет в море, то только тогда, когда его повесят на рее». Можно назвать Хемингуэя моряком? Начать с этого?

Дон-Кихот в свитере, с трубкой в зубах, ловит на моторной лодочке возле берегов Флориды немецкие подвод-

ные крейсера. Вероятно, он собирался проткнуть обнаруженную субмарину спиннингом...

Потом он форсировал Ла-Манш и высадился в Нормандии с самоходной десантной баржи одним из первых. Тут ему пригодилась и наивная охота за подлодками, и профессиональная охота за большими рыбами... Начать с этого?

Или с того, как он покупал мясо?

Я как-то разговаривал с продавцом в мясной лавке на Невском проспекте. Он сказал, что терпеть не может покупателей-мужчин. За длинную жизнь мяснику равно надоели мужчины, кокетничавшие неумением выбирать мясо, так и мужчины, хваставшие умением разбираться в мясе. «Дело в том, — сказал мне мясник, — что вы, которые культурные, не покупаете мясо для мяса, как это делают все сквалыги-женщины, а изображаете покупателя в первую очередь, хотя, ясное дело, хотите отхватить добрый кусок».

Хемингуэй был культурный. Как он покупал мясо?

Я долго ломал голову над ответом, так как чувствовал здесь что-то важное, но ничего не смог решить и придумать.

Луна заходила в созвездии Центавра, кровавая, пульсирующая в щели между узкими ночными облаками над Южной Атлантикой; она падала навзничь, рогами вверх. Жуткая Луна была этой ночью. И на ней спали два космонавта. А вокруг Луны, над космонавтами, летал наш «Зонд».

С правого борта близко спала Африка, где выходят к прибою старые львы и прохлаждаются в лунном свете, и слизывают соленые брызги с кисточек хвостов.

С левого борта далеко в горах Айдахо спал Хемингуэй, придавленный тяжестью бронзовой африканской антилопы.

Да, он поймал большую рыбу и втащил ее в лодку. Пока ловил, думал, что рыбе доставляет жестокую, но полную счастья борьбу; что дал рыбе такой всплеск яростного жизнелюбия в яростном сопротивлении, что она должна ему еще спасибо сказать за яркость предсмертных минут, ибо без него, ловца, Хемингуэя, бедная рыба прожила бы тускло и сдохла под камнем, на мутном морском дне. А теперь она умерла красиво. И в бор-

бе с ней, так ловко обманув свою совесть, ловец тоже пережил яростное жизнелюбие, потому что сумел перевоплотиться в рыбу, пережить с ней вместе лазерную остроту и пронзительность последнего луча солнца...

Можно ли считать Хемингуэя писателем, который полностью завершился? Ведь, очевидно, путешествия и деяния его души закончились, когда жизни для существования еще оставалось...

Я узнал о его самоубийстве с опозданием. Был в командировке в Северо-Восточной Сибири. Наконец выбрался из диких мест, из осенней тайги, на попутном вертолете прилетел в Иркутск. Сидел в сквере возле аэропорта, сняв сапоги, сушил на спинке скамейки портянки и читал старые газеты, по которым соскучился.

Билетов на Москву не было, номеров в гостинице — тоже. Над головой низко проходили на взлет и посадку реактивные самолеты. Даже голенища сапог пульсировали. Надсадный вой двигателей доводил до бешенства.

Я впервые тогда заметил, что сильные звуки начали действовать на меня болезненно. Вероятно, величина звукового раздражителя не соответствует интенсивности слухового ощущения. Переливы воя сотрясают каждую клетку, и ощущаешь себя тем, что ты и есть — составным существом, общежитием миллиардов клеток, микроскопических бездумных тварей, муравейником кровяных телец, которые без всякой команды сознания там, во мне, жрут кого-то, бегут по своим делам, размножаются и мрут, сотрясенные гулом и воем реактивного двигателя.

Отвратительное ощущение.

Не барабанные перепонки воспринимают звук, а все тело, как у нашего предка — рыбы.

И вот в таком встряхнутом состоянии я прочитал коротенькую заметку о самоубийстве Хемингуэя. Очень мрачно воспринялась эта смерть, когда обрушилась на меня вместе с воем очередного самолета. Я зажал уши и застонал. Колокол звонил и по мне — яснее ясного почувствовал я тогда эту простую мысль...

Судовому врачу что-то не спалось, он пришел коротать ночь ко мне на вахту.

Мы смотрели на Луну, на то, как она падала за горизонт в Атлантический океан, задрав бычьи рога к зениту. На востоке мерцал Юпитер. И со всех сторон рушились с небес метеориты.

— Чего не спите, док? — спросил я.

— Послушайте, — сказал он, — можно ли назвать любимую женщину в письме «мой глазастый чиж»? — Наверное, док пришел ко мне на ночную вахту в рулевую рубку именно из-за этого вопроса.

— У нее маленькие, острые глазки? — спросил я.

— Ну что вы! Огромные, серые, темные. . .

— Чижи не бывают с большими глазами, но разве в этом дело? Если в тот момент, когда вы писали «мой глазастый чиж», вы ее любили, то все в порядке. Не портрет же вы пишете. Черт с ним, с тем, что чижи не бывают глазастыми. Если вы ее в тот момент любили, то передали свою любовь. Она не обидится.

Он заметно повеселел и ушел.

Я остался с Хемингуэем.

Есть три вида пишущих людей. Одни начинают писать после того, как нечто поймут. Другие пишут и в процессе писания начинают нечто понимать. Третьи должны написать книгу, чтобы наконец понять то, о чем они написали. И тогда они видят, что их книга написана неправильно, и. . . и печатают ее.

К какому виду относится Хемингуэй и как начать доклад о нем?

Акулы сожрали большую рыбу старика. Старик, кажется, заплакал. Он ненавидел акул и многих убил, но привязал бы он деревянный ящик из-под макарон к хвосту раненой акулы, чтобы развлекаться зрелищем ее метаний за бортом научно-исследовательского судна Академии наук?

Мне тошно от подобных сцен.

Бессмысленная ловля акул и издевательства над ними имеют старинную традицию среди моряков. Одни уверяют, что это инстинктивная месть за тех, кто купался за бортом или тонул на гибнущем судне и оказался в вонючем брюхе. Ученые говорят, что для сохранения нормальной психической деятельности нужны диковатые развлечения. Неученые говсрят просто: надо убить вре-

мя. И, чтобы убить время, убивают акул. Но ведь не просто убивают!..

«Конечно, акула жуткий зверь. И жутко представить свою бледную ногу в ее черной пасти, но, братья и сестры, нет большого смысла в тыкании багром в акульки глаза!» — если начать доклад о Хемингуэе так?

Днем перечитал «Кошку под дождем» и «Белых слов». И четко понял, что мало-помалу перестал заставлять себя учиться писать, разболтался и расхристался, не закрепляю даже того уровня, которого способен при настоящем психическом напряжении достигнуть и закрепить. И обманываю-утешаю себя: мол, дай мне судьба условия, сними тревоги, раскрепости обстоятельства и... «...и самое трудное для меня, помимо ясного сознания того, что действительно чувствуешь, а не того, что полагается чувствовать и что тебе внушено, было изображение самого факта, тех вещей и явлений, которые вызывают испытываемые чувства».

Нынче я испытываю муки от писания больше всего при сочинении писем родным. В прозе скольжение между отражениями сделалось уже привычкой, то есть второй натурой.

Боль от лжи особенно остра, когда пишешь близким. Тогда каждая клетка мозга знает абсолютную истину: слово изреченное, а тем более графическое, уже есть ложь. Именно в письмах я чувствую: самое превосходное сравнение — от лукавого! А в прозе к сравнениям тянет и притягивает щегольство: внешний блеск изобретательства, перевертословия, острословия завораживает, и нет сил отказаться от внешности.

Обычная записка матери, если не хочешь специально обманывать (скрываешь болезнь для спокойствия ее), требует такого обнажения от внешности, какое и не снится при прозаической работе.

В письме ты можешь доносить на себя и обязан это делать. В прозе тоже обязан, но черта с два донесешь. И даже не от страха. Истинная проза есть открытие для людей реальной возможности более достойной жизни. А если не видишь такой возможности и для самого себя?

В беличьем колесе этих вопросов запутывались даже гении — например Гоголь. Легко сказать: «В писателе

все соединено с совершенствованием его таланта, и обратно: совершенствование таланта соединено с совершенствованием душевным». Но если ты, предположим, достиг потолка в изобразительной силе, которая есть составляющая таланта, то и твое душевное совершенствование отдает якорь?

Если вернуться к письмам близким... Корреспондент знает меня часто лучше, чем я сам. Мне не надо завоевывать его любовь, чтобы заслужить доверие. Он и так любит, а значит, — верит...

Я вялой мухой шевелился в паутине нечетких мыслей, удрученный надвигающимся сроком доклада о Хемингуэе, когда зашел капитан. Он редко заходил ко мне в каюту без дела.

Долго смотрел в окно. Ветровые волны и зыбь боролись друг с другом на океанском просторе.

— Зыбайло катит в левый борт. Не по волне, — сказал наконец капитан. — Какая это, к черту, жизнь?

Я молчал. Москва транслировала «Чародейку». Холлоп-предатель сообщал миру, что в выделке была его овчинка много раз.

— Моя тоже, — сказал капитан. — В этих местах мне вырезали аппендицит. В прошлом рейсе. Два часа док кромсал. Без наркоза. От боли зашкаливало сердце. Потом возле Кергелена случилось что-то вроде инфаркта. Потом рехнулся первый помощник. Шпионы ему везде мерещились. Потом у механика аппендикс лопнул. Одиннадцать месяцев сплошного безобразия...

— Вы любите Хемингуэя? — спросил я.

— Слишком много о смерти. Это правда, что Хемингуэй всегда встоячку писал? Геморрой застарелый — нам, морякам, штука знакомая... Буй, что ли, где сорвало? Гляньте право тридцать.

Я глянул. Оказалось скопление водорослей.

— Черт! Надоело плавать! — вдруг сказал он. — А ведь есть люди, которые нам, морякам, завидуют! Мне уже иногда кажется, будто мы кормой вперед плывем... У вас зубы в длинных рейсах чернеют?

— Чернеют. И сны черные.

— Вот и хорошо: не надо кино смотреть, — пошутил капитан. — У нас и желудки черные, — добавил он со вздохом. — Пьешь из графина — на дне муть. Моешься — из душа ржавчина. Ешь котлету, а она из такого вымо-

роженного мяса, что мамонта напоминает. А в родной порт вернешься, тебя еще на психреакцию проверять будут и тесты задавать... Чего-то разнылся, как зуб мудрости. Самому противно!

И ушел.

Он не разнылся. Просто высказал то, что иногда истинно думает, и ощущает, и чувствует человек в долгом океанском рейсе, а не то, что полагается чувствовать и что тебе внушено чувствовать. Но нужна ли капитану или писателю такая истинность?

Доклад о Хемингуэе я сделал стандартный — на его биографическом материале и без всякого философствования.

У нас была почта для одесского теплохода «Бежица». «Бежица» принадлежала к тому же семейству экспедиционных судов, что и мы. Они возвращались после семи с половиной месяцев плавания домой. И теперь шли от берегов Уругвая.

Мы встретились в полдень. Когда почту для одеситов грузили в вельбот, обнаружили мешок писем, адресованных «Невелю», то есть нам самим.

Только почта была годичной давности.

Капитан вспомнил, как в прошлом рейсе бомбили пароходство просьбами об отправке этих писем в Бомбей, куда должны были зайти на ремонт. Пароходство не нашло денег на пересылку почты. Письма провалялись на берегу год, чтобы все-таки попасть на «Невель». Экипаж сменился. Прошлогоднее письмо получила только Сима — наша общественная библиотечка. И ходила похорошевшая и радостная, в голубом сарафане.

Старший помощник капитана на «Бежице» женщина. Грубоватый женский голос просил по радиотелефону ящик масла и мешок макарон. Наш чиф предложил обмен на свежие фрукты.

Женский голос сообщил, что последний раз были в порту два месяца назад и уже забыли, как фрукты выглядят.

Потом наш доктор просил у коллеги пипетки и клейкий пластырь. Коллега требовал спирт.

Мены не состоялись.

«Бежица» забрала свою почту из дома, наши письма домой и легла на курс к Одессе.

При приветственных гудках не хватило воздуха у нас. При прощальных — у них.

Я долго смотрел на удаляющиеся огни.

Интересно, позволяет ли себе женщина с тремя широкими нашивками на рукавах тужурки чувствовать то, что от века внушено ей чувствовать как женщине? И взялся бы Хемингуэй писать о женщине-старпومه на экспедиционном судне? И как она покупает мясо в магазине? И кто ждет ее в Одессе?

Холодные листья падают там сейчас с платанов. И таксисты скучают на стоянке возле вокзала. А в вокзальном сквере сидит и дремлет полусумасшедшая старуха, бывшая судовая уборщица. Она продает семечки. Люди жалеют старушенцию, кидают гривенники и пятаки. Когда набирается рупь с полтиной, старушенция покупает четвертинку. Свеже опьянев, говорит непристойности мужчинам, которые чинно покупают мороженое.

Я знаю эту старушенцию давно и знаю, что она терпеть не может мужчин с мороженым. . .

В Одессе особенно хорошо ночью возле памятника Ришелье. Парапет набережной деревянный, изрезан именами, датами и дурацкими выражениями. В черном провале рейда поворачиваются на якорях корабли, повинувшись ветру и течениям. На них горят палубные огни, и не сразу разберешь, где огни порта и где кораблей. Бродят влюбленные. И тихо трогает набережные и причалы волна. Как женщина трогает мужчину легкими пальцами, чтобы не дать ему уснуть, чтобы не остаться одной, — так трогает море приморский город. . .

Один из великих ученых сказал, что если взять увеличительное стекло и лечь возле лужи в своем дворе, то можно принести больше пользы человечеству, нежели совершив кругосветное путешествие. Он сказал это в связи с тем, что редкостные животные самых труднодоступных мест планеты изучены лучше обыкновенных мышей.

Однако известно — и широко известно, — что лицом к лицу лица не увидеть. И сколько бы человечество еще топталось в потемках, не зная, что происходит от обезьяны, если бы Дарвин отлежался возле лужи на своем

дворе? Пожалуй, для Дарвина был смысл заплыть на Галапагосские острова.

Все это прямо относится и к пишущим людям. Действительно, в ближайшем отделении милиции или в родном дворе даже для самого плодовитого писателя хватит на сотни томов материала, человеческих судеб, философии. И все-таки среди пишущих людей страсть к перемене мест наблюдалась всегда. Географическое удаление от родного общежития помогает увидеть примелькавшееся в новом ракурсе, помогает побороть бессмысленную веселость и даже перейти от беспричинной тоски к гениальному психозу, если ты, например, Гоголь.

Ностальгия — таинственное и сильное душевное страдание. Особенно полезна она пишущему здоровяку. Ведь вопрос о равновесии в художнике болезненного и здорового начала — темный. Никто еще не выяснил оптимального процентного соотношения того и другого для наиболее полного художественного выражения души писателя. Ясно только, что червоточинка необходима, ибо тот, кто постоянно ясен, тот, по мнению Маяковского, просто глуп. Таким образом, если вы чувствуете в душе и мыслях постоянную ясность, вам следует немного психически приболеть. И есть смысл сделать это через морскую тоску и ностальгию. Морская ностальгия особенно хороша тем, что с этой душевной болью в сумасшедший дом не сажают. Достаточно для полного излечения приплыть обратно и переступить родной порог.

Если же ваше плавание недостаточно затянулось и ностальгии вы еще не ощущаете, то следует попасть в какую-нибудь неприятность, влипнуть в историю. Например, пусть у вас не хватит при сдаче груза тридцати бухт катанки или парочки автобусов — такое на торговом флоте бывает. И сразу вы переживете острый приступ тоски по дому и маме, утратите ясность духа и приобретете болезненную, но необходимую для высокого творчества психическую неясность.

ДАКАРСКИЕ СКАЗКИ

Ошвартовались в Дакаре семнадцатого декабря к десяти утра. По закону подлости при сильном отжимном ветре в момент подачи кормового продольного швартова отказал шпиль и нас поставило чуть не перпендикуляром к причалу.

По причалу разгуливали и с ленивым любопытством наблюдали за нашей швартовкой сенегальцы в балахонах-бурнусах до самых пят. Такое одеяние называется «бубу». Просторное одеяние. А под бубу мусульманские — с мотней — штаны. Наши матросы убеждены, что мотня «по религиозной причине Корана»: новый Магомет якобы должен неожиданно родиться у мужчины, а чтобы новорожденный, выпадая из мужчины на свет божий, не разбился о землю, они и носят такие штаны.

Не знаю, придумали все это матросы или на самом деле так. Ясно одно: бурнусы-балахоны мешают сенегальцам, когда надо достать монету из штанов или сделать другие мелкие дела. Но бубу только на любопытствующих бездельниках. А грузчики в ужасной рвани. Эти работают головой в том смысле, что таскают огромные мешки арахиса на темень. Тяжко видеть их работу, когда вокруг фырчат автопогрузчики и электрокраны.

Не успел трап коснуться причала, как возле борта развернулся этнографический музей. Идолы, газели, пироги с гребцами и ожерелья.

Чудесными красками сверкают ожерелья под сенегальским солнцем. Нанизаны шишечки, сушеные ягоды или семена, плоские камушки, кусочки дерева, раковины, клыки морских рыб и западногерманского производства стеклярус.

На борт поднимаются три охранника. Нас они охраняют от сенегальцев или сенегальцев от нас — неясно. Но кормить их мы обязаны. С нами охранники добродушны и ненавязчивы. С соотчичами — свирепы, если соотчичи в рвани. Английский не знает и знать не хочет. Французский знает, но мы не знаем.

Стоянка впереди долгая. На берег я не тороплюсь. Наблюдаю мусульманские молитвы.

Когда наступает время, охранник-правоверный бросает пост, спускается с трапа на причал, подбирает картонную коробку, распластывает ее на бетоне и ориентирует себя спиной к весту, лицом к осту. Затем выключает себя из действительности.

Мимо проносятся грузовики с прицепами.

Шумят транспортеры, подавая в цистерны канадскую пшеницу.

Пшеница насыпана огромной пирамидой прямо на причал. Четверо босых негров гребут пшеницу лопатами к жерлам транспортеров. Негры в едкой пыли, рты завязаны грязными тряпками.

Охранник ничего не видит и не слышит. Он опускается на четвереньки, кланяется, поднимается, присаживается на корточки, на карачки, на пятки, скособочивает колени, складывает, вздымает и опускает руки.

Вокруг продолжает гроыхать и торопиться современная портовая жизнь.

С мешками на головах идут докеры.

Бегают наш судовой пес Пижон и дрожит от страха перед чужим миром.

В просвете под эстакадой виден кусок гавани. На фоне воды молчат плакучие тропические деревья. Тянет к ним, к зелени, к живой тени, к шелесту листьев.

На крышах пакгаузов сидят голуби. Время от времени они взмывают в небеса неряшливой стаей.

В зените парят большие темные медлительные птицы, похожие на коршунов издали и на грифов вблизи. Это вантуры, птицы-ассенизаторы. Они жрут нечистоты вокруг нищих хижин в Медине — пригороде Дакара.

Охранник молится.

Какому-то полицейскому есть до него дело, но охраннику нет дела ни до кого. И никто не рискует прервать его молитву.

Арабские лавочки на дакарском базаре легко опознаются по запаху.

Если во мне сохранилась еще романтика, то ее можно разбудить дымом арабского табака или каких-то еще их курений. Запах, вызывающий томление духа. Его тянет вдыхать, впитывать, мять в пальцах, втирать в переносицу, набивать в карманы, чтобы унести с собой, чтобы не расставаться с ним. Курить самому арабские табаки не доставляет удовольствия. А когда курят в твоём присутствии, вдруг начинает казаться неизбежной встреча с заколдованной красотой.

Чтобы быть настоящим моряком, надо остаться навсегда мальчишкой. Да, надо научиться ломать чужие воли и брать на себя любую ответственность, надо отвердеть скулами и глазами, надо неколебимо знать, что судно — это машина, которая зарабатывает деньги. И при всем том надо остаться навсегда мальчишкой, которому форма дороже содержания. Только те, для которых форма дороже содержания, смогут всю жизнь преодолевать тоску и серость морской работы.

В детстве я жил в одном доме с известным кораблеводителем Н. М. Сакеллари. Он умер, когда мне было семь лет. Помню запах его трубочного дыма, оставшийся в сырости парадной после прохода штурмана в гавань квартиры по каменному фарватеру лестницы. Мы — мальчишки — поднимались вслед за Сакеллари, фильтруя сквозь слизистые носов малейшие клочки этого томительного дыма. Ничто лучше дыма не может символизировать даль таинственных стран и даль твоей завтрашней жизни. Но когда приходит пора заложить эти дали в трубку и прижать их привычным нажатием большого пальца, дым изменяет запах и вызывает обыкновенный кашель курильщика.

На рынке Дакара я вспомнил детство и старался отогнать эти воспоминания, чтобы сквозь мельканье толпы увидеть что-нибудь любопытное и неповторимое, что-нибудь запомнить. Но если я прогонял детство, то внимание переключалось на этикетки с ценами, на пересчет денежного курса. В кармане было около тысячи сенегальских франков — грошовая сумма.

На самом автомобильном юру, посередине площади перед базаром, меня схватил за руку черный. Я думал,

он потащит чистить ботинки. Черный заговорил по-русски среди африканских клаксонов:

— Учился у вас, товарищ.

И каким образом нас узнают среди тысяч других? Везде узнают! Можешь быть одет только в заграничные тряпки, и не открывать рот, и не тащить на плечах короб ширпотреба — все равно тебя угадают. На лбу у нас что-то написано, знак какой-то нанесен.

— Лумумба? — спросил я, уворачиваясь от «кадиллака».

— Но, — отклонил предположение черный, вцепляясь крепче.

— Сельхозакадемия? — спросил я, уворачиваясь от «форда».

— Но.

— Отпусти, бога ради! — взмолился я, уворачиваясь из-под «москвича».

— Алма-Ата! — заорал черный, выволакивая меня на спасительный берег тротуара.

Вдоль берега лежали кучки яблок, бананов, апельсинов. По пять-шесть штук в кучке. Аккуратные и веселые фрукты, но нет и намека на тропическое изобилие.

— Отец яблок! — машинально перевел я.

— Но! — не согласился черный. — Самолет.

Я взглянул на черного повнимательнее. Никак он не соответствовал образу сверхзвукового пилота. Ботинки рваные, рубашка без достоинства, прилипчивость подозрительная. Но детали из него вываливались такие, какие из пальца не высосешь. Дакарский приставала знал московское метро. Сам из Мали. Летает на самолетах «Эр-Африка» по Западному побережью. Все это прекрасно, но что ему все-таки от меня надо? Я — к журнальному кноску, и он. Смотрим местные журнальчики. Оцениваю степень развращенности, — незначительная. Порнография вообще отсутствует. Есть шикарные фотографии полуголеньких белых. Рядом на тротуаре они же идут в куда более раздетом виде. Сорокалетняя мать в свехмини, в чулках на подвязках, и на трех поводках — три детеныша. Детеныши запряжены по всем лошадиным правилам, упряжь пересекается на груди крестнакрест.

— Инглиш, — с пренебрежением говорит малиец.

Успеваю заметить дырку на чулке англичанки значи-

тельно выше ватерлинии. В чем смысл «мини»? Вероятно, не только в экономии материи, но и в сексе. Однако секс из меня куда-то исчезает, когда все тебе видно не через щелочку, а сквозь телескоп атмосферной подушки.

Молодые, состоятельные, ухоженные сенегалки редко в мини. Знают свое слабое место. Имею в виду ноги. Сенегалки не черные — матово-тепло-коричневого цвета. И одеты ярко, цветасто, кричаще, но крик сведен в гармонию и веселит, а не угнетает глаз. Плечи обнажены, шея не скрывается в волосах, голова сидит гордо. Ножки вот подводят. Длинные очень и костлявые. И все равно отчаянно красивы иногда ухоженные сенегалки. Двигаются в полной независимости от остального мироздания. Наплевать им на мироздание. А я на чужбине, среди массы городского люда, с особенной глухой тоской испытываю одиночество. Когда тоска накатывает среди человеческого муравейника, среди диковинных акаций, пальм, запустивших корни в камень под газетным киоском, среди солнца и солнечного шума, тогда она неестественна и глупа, как картины абстракционистов среди реалий Эрмитажа, но так уж меня устроил бог.

— Чего тебе надо? — спросил я пилота, когда он свернул за мной еще и в переулок.

Он спрятал глаза и уныло улыбнулся.

— Ну, а где тут продают дешевые сувениры, сможешь показать? — спросил я, решив использовать бывалость малийца в предстоящем торжище. — Поможешь купить какую-нибудь штуковину?

— Иес, бонжур, камарад... шту...?

— Штуковину — из черного дерева маску, но не очень страшную, или зверя, крокодила, понимаешь? Слона из баобаба? Где тут ремесленники?

Он понял и повел на уличную выставку.

Газели с детишками и без, обрубки идолов, хитроумные зайцы; болтливые, энергичные, необузданные и зловредные обезьяны; коварные и бесчестные пантеры, у которых поступь женщины, взгляд властелина и душа раба; изящные калемасики — сосуды из тыквы; глупые гиены, которые по двадцать лет ходили в мусульманскую школу, но умнее не стали, у них только зады отвисли под тяжестью вязанок хвороста, которые они таскали в школу каждый вечер все двадцать лет... И — маски. Сотни застывших на века ужасных человеческих гримас. Сене-

гальская смерть зияла пустыми глазницами со всех сторон.

Утешительна была ее дороговизна. Смерть стоила по десять тысяч сенегальских франков. Даже при возникновении кощунственного, извращенного желания купить ее я не смог бы. На прекрасные фигурки стилизованных богинь или черт знает кого валюты тоже не хватало. Богини были из туманного дерева, фиолетового в глубине и с жемчужным отливом на поверхности. Богини и женские головки из красного дерева, тяжелого, как бивень мамонта, уравнивали смертную пустоту ритуальных масок.

Торгую газель с двумя детенышами. Мать-газелиха целует газеленка. Морда матери переходит в мордочку звереныша плавно и незаметно. Младший детеныш сосет мать, забравшись ей под брюхо. Сентиментальность седьмого месяца рейса. Острое отсутствие вкуса, черт побери. Растерянность под взглядами и гримасами масок вокруг...

Показываю черному продавцу один палец и добавляю «таузенд».

Продавец выкатывает белки и машет руками в истерике: демонстрирует обиду и оскорбление. Такое впечатление, что я плюнул на какую-нибудь сенегальскую святыню.

— Ну, летун, выручай, — говорю я малийскому пилоту. — Объясни хозяину, что у меня только одна тысяча франков.

Летун послушно начал торговаться.

Смотрю на блики, которые вспыхивают на черных лбах продавца и моего благожелателя-гида. Блики от тропического солнца. Солнце отражается от взмокших черных лбов точно так, как от зеркала специалиста по уху, горлу и носу. А я всегда думал, что черный цвет поглощает чуть не сто процентов лучей. Ерунда это. Если абсолютно черное тело отполировать и слегка смочить потом, оно не поглотит ни единого луча. В этом весь фокус. Нашенская серая кожа поглощает лучи, даже не разжевав, давится ими от жадности.

Я занимался физикой, а гид торговался с продавцом на местном наречии. И чем дольше он торговался, тем больше мне нравился. Хотя из опыта я знаю, что суще-

ствуют и в карточной игре, и на биллиарде «подсадные утки». И на любом настоящем базаре они существуют. И в квартале публичных домов. И на стриптизной Пляс-Пигаль. Но мне хотелось верить летчику. Мне не хотелось считать его «бывшим», погоревшим где-то, опустившимся до уровня базарной утки, хотя... Будь оно неладно, это «хотя!» Как липко и уютно живет оно в наших подозрительных душах!

По местному поверью, Верность и Измена всегда идут рядом. Народная мудрость здесь гласит: «Если бы Верность продолжалась вечно, рыба никогда бы не сварилась в воде, которая знает ее с рождения и сама ее растила».

Продавец махнул нам широким рукавом бурнуса и повел в тылы хозяйства. Балахон-бурнус — бубу — развевался вокруг длинных и тощих ног коммерсанта. Гид подпольно шептал: «Карашо! Бери-бери! Давай-давай!»

Через минуту мы оказались в строении, сколоченном из ящиков, — точь-в-точь наш автомобильный гараж на пустыре среди помойки, обреченный к сносу неумолимым райсоветом.

Сарайчик был битком набит газелями.

Огромное стадо молчаливых газелей ласкало детенышей и кормило их совершенно адекватным образом. Только бюсты Мао я видел однажды в таком стадном количестве и так же густо покрытых застарелой пылью.

Продавец взял франки и ткнул пальцем ближайшую газель. От пальца осталась в пыли на газели ямка.

— Тряпочку! — заныл я. — Как ее нести, черт возьми? Оботри!

— Бери-бери! Давай-давай! — шептал попутчик.

— Газетки нет? — продолжал канючить я, не решаясь прикоснуться к сантиметровому слою микробов.

Ни гид, ни продавец не поняли просьбы. Продавец с раздражением задрал бубу, вытащил из карманов штанов два обломка какой-то кости и засунул в лоб газели. Получились рога. Вероятно, он решил, что я требую за таузенд еще и рогов.

Я взял газель за шею и позволок на свободу. (На суде, когда я протер статуэтку, на ее заду обнаружился здоровенный сук. Выглядел он, как знаменитое пятно марала. Газель оказалась бракованной. Потому продавец и не понял просьбы о тряпочке.)

Обрадованный своей услугой летчик продолжал крутиться рядом.

Мы шли к порту по узким будничным улочкам.

Бежали из школы черные детишки, тузили друг друга портфелями, как тузят во всем мире.

Президентом Сенегала является знаменитый поэт Сенгор. Поэт-политик ввел здесь наконец бесплатное обучение — честь ему и хвала! Целых шесть лет учат в Сенегале бесплатно.

Детишки бегут разнокалиберные — признак тяжелой жизни. В разном возрасте попадают детишки в школу, и вот в одном классе девушка с пышной грудью и мальчуган — ошипанный воробушек с птичьими ножками, весь тонкий, паутинный, но бежит тоже, молодец, портфелем размахивает. Галдят, радуются вечереющему солнцу, прыгают через поваленную ветром старую акацию, рвут цветы с умирающих веток.

И я сорвал.

И гид.

И чего ему от меня надо? Иногда метнет взгляд, в котором затаенная опасливая просьба, и сразу уставит глаза в сторону. Не люблю непрошенных попутчиков, мешают они, стесняют дух.

Пальмы, пальмы, пальмы. Их стволы обвиты синими венами каких-то лиан.

Банки. Не жестяные, а денежные. Главное, что бросается в глаза в столицах неприсоединившихся стран, — банки. Они заполняют центры, вздымаются над низкой жизнью, над алыми и желтыми цветами декоративных кустов, над пальмами. Далеко вершинам пальм до крыш банков, до флагов Англий, Канад, Америк, свисающих из окон.

А у ворот порта спит на тротуарах у подножья величественных пальм голь перекатная — черные люди без бликов на пыльной коже, с конечностями, отсохшими после неведомых болезней. И сидят на земле недобро раздобревшие негритянки-перекупщицы, торгуют кусками батона и пригоршнями ворованного арахиса. Тут же ченч идет — старинная меновая торговля, объединяющая людей во всемирное общество еще со времен Оленя и Бронзы. Тут за сигареты можешь нос рыбы-иглы выменять, если своих и чужих властей не боишься: везде ныне

меновая торговля запрещена. Она в обход таможи идет, в обход организованных денег и порядочных сборов.

Здесь я беру быка за рога, то есть прощаюсь с гидом-пилотом.

Смотрю на его незапоминающееся лицо, на скользящие куда-то за кулисы зрачки, на мятую рубашку и подобие галстука, говорю решительно:

— Прости, друг. Мне на судно пора. На вахту. Спасибо за компанию.

Он другого ожидал. Вероятно, рассчитывал на судно пройти, в гости. Но я устал от непрошенности попутчика. Он только сгущал одиночество. Он будил воспоминания о рассказе сумасшедшего «Хандра».

— Алма-Ата Зина живет. Привет Зине, камарад! Гуд бай!

— Передам. Гуд бай!

И разошлись как в море корабли. И нет очередной человеческой судьбы. Но вот почему-то запомнилось, как «мало-мало-помалу, мейт...» в далеком Босфоре, его «Зина живет...», тихое и смущенное.

Вечерний Дакар блестит и бурлит в центре, как не полупустой, а полуполный Париж. Маяковский так говорил о зрительном зале, где его горланско-бунтарское существо желало бы увидеть побольше читателей и почитателей.

Вечерний Дакар, если всех черных прохожих сделать белыми, а белых черными, вполне сойдет за Париж тех улиц, которые идут параллельно Елисейским полям.

Шикарные витрины, французенки за стойками и прилавками: «Мсье!.. Мадам!.. Бонжур!»

Витрины отражаются в лаке авто.

Лак авто — в витринах.

Волшебная иллюзия современного капиталистического города: кажется, что красота, и легкое счастье, и изящная любовь, и вечность молодости — в любой пачке сигарет «Пелл Мелл», в пене оранжада и рюмке коньяка, в каблучке туфельки на женской ножке. Заверни за угол, еще за тот угол, за этот фонтан вечерних цветов с черной цветочницей, и — никаких мучительных вопросов бытия и быта, вечернее счастье до самого горизонта, остановленное мгновение; все линии и спектры мира со-

шлись в той точке, которая всегда на уровне твоих собственных глаз, которую носишь с собой всегда, ибо так устроен твой хрусталик, — магический кристалл перспективы, вечный обман, подаренный тебе мирозданием; предвкушение хорошей книги, падающие в Сену осенние листья платанов, дрожание Адмиралтейского шпиля в Неве — все будет, только сверни за угол, отразись в витрине, увидь свое лицо среди алмазов бутылок на витрине бара в центре Дакара, где перед полетом сиживал Экзюпери; и забудешь о невзгодах и трудном величии, кроме них есть еще нечто, — тебя ждет легкая суть всех вещей мира, тебя ждет Касабланка, как того пилота, перед которым мерно покачивается капот самолета меж звезд; который в ночи возвращается с почтой над твоей головой.

Вот какие миражи научился будить в человеке современный капиталистический город. Не только целая книжная промышленность зиждется на нехватке человеческого счастья, как заметил Грэм Грин, а все промышленности зиждутся на этой нехватке. Надолго хватит им работы, чтобы залить глотку человечества ананасовым джусом «Пам-Пам»!

А пока можете купить к рождеству елку. Под пальмами, в тени плюща, заткавшего стену дома и нависшего над тротуаром, продают елки. Среди колючей хвои — африканки в цветастых пышных балахонах.

Я думал, елки нейлоновые. Но запах не может обмануть. Настоящим морозцем и грибами пахнут елки в ночном Дакаре на бульваре Пине-Лапрад и на аллее Канар.

Норвежскую елку покупало при мне за полторы тысячи франков смешанное африканское семейство: он — черный, очень черный, антрацитный, высокий, стройный, с умными ироническими глазами; она — белая, веснушчатая, худощавая, с девичьим шармом. И держат за руки сынка между собой — смесь. Никто на семейство не оборачивается — нормальное дело.

Елки в Сенегале я увидел, а где баобабы?

Такое вкусное на слух дерево, великан-симпатяга, которое обнять могут только дружные люди, потому что им надо будет взяться за руки: не меньше пятнадцати друзей на один баобаба.

В сухой сезон он кажется совершенно мертвым, хуже саксаула. Притворяется, подлец. Чуть брызнет дождик,

на толстяках-сучьях выбрызгивают листья. И быстро рождаются в кроне огромные цветы, похожие на водяные лилии.

Баобабы живут в саванне. Их не удается приручить. Они не могут без одиночества. И терпеть не могут современный город. И я их не видел в Дакаре.

Но тамтамы услышал.

Вахты у нас были стояночные — сутки на брата.

Около полуночи я отправился в обход по судну.

Было воскресенье, порт не работал.

По носу спал американский теплоход, по корме — испанец.

Особенное чувство отрешенности появляется, когда ночью один обходишь судно. Сталь палуб, кажется, пружинит под ногами. Самый слабый звук за бортом будит четкое эхо в трюмах. Обычные и привычные предметы на баке — брашпиль, цепи, стопора, флагшток, — лишенные человеческого обрамления, выглядят самостоятельными, живущими сами по себе, как киплинговский кот.

Пнешь ногой швартов на кнехтах — несколько тонн стальных проволок и не подумают шевельнуться.

Положишь руку на рукоять разъединителя, подвнешься вдруг мощи якорь-цепи.

Без всякой нужды ляжешь грудью на фальшборт, перевесишься, глянешь на сам якорь, торчащий из клюза. Молчит якорь. Спит. Как чуткая собака. Готов залаять в любой момент, ухнуть в суету волн, вцепиться в грунт мертвой хваткой.

Безмолвно работают Золушки-стопора — ни сна, ни отдыха их чугунным мышцам.

Желтые лучики вырываются из клетки штагового фонаря, летят не меньше трех миль во все стороны...

Зевнешь, плюнешь на окуроч, выщелкнешь его за борт.

Водичка бормочет между бортом и причалом, колыхается у свай, полощет тинную слизь на сваях.

Смотришь почему-то на окуроч, ждешь, когда утонет.

И никакого тебе дела нет до чужой земли, возле которой живешь в этот миг своей жизни. Гудок буксира, далекий лязг буферов, шумок стравливаемого пара не слышишь — привычны и везде одинаковы портовые звуки.

А в Дакаре в воскресную ночь из привычности на мягких и хищных лапах подкрались таинственные звуки.

Теплый ветер тянул с северо-востока, и они вплетались в него, несли тени саванны, свет луны на морщинах древних баобабов, низкий гул занимающегося пожара, топот толпы — тысячи голых ступней в едином ритме делают медленные шаги.

Всем там быть!

Всем!

Там!

Быть!

Тамтамы проснулись в ночном Дакаре.

Тамтам извальный, тамтам напряженный; рокошущий
под пальцами победителя война;
Твой голос, глубокий и низкий, — это пенье возвышенной
страсти, —

так написал президент этой страны еще до того, как стал политиком.

Я не знал, что тамтамы загудели в ночном Дакаре в честь возвращения президента Сенгора из заграничной поездки.

О чем подумает вахтенный штурман, когда ночью услышит гул барабанов? Война, бунт, революция, дворцовый переворот, землетрясение? Не позвонить ли из полицейского поста возле портовых ворот в посольство? Не начать ли сматывать удочки, то есть готовить машину? Ведь стреляют и вешают по всему огромному Африканскому континенту. Об этом подумаешь, а не о лунной тени баобабов в саванне и не о женщине, охваченной возвышенной страстью.

Но мирно продолжали похрапывать суда у причалов и пирсов. Мирно дышала вода за бортом. Театрально-занавесно колыхался тропический мрак вокруг редких фонарей. Неспешно совершал очередной круг почета роскошный Орион в небесах. И корабельный металл впитывал сонное воркование голубей, притаившихся на карнизах пакгаузов.

Гул тамтамов креп, не нарушая торжественной тиши дакарской ночи, существуя помимо нее, как существует без человека якорь на грунте.

Есть певцы, которые, обладая даже сильным и хорошим голосом, усиливают впечатление страстности при помощи раздувания ноздрей. Особенно неловко видеть их ноздревскую чувствительность на экране телевизора. А есть певцы, которые стараются не использовать при пении даже такой благородный инструмент, как руки.

Тамтамы не рвут занавес африканской ночи. Они колышутся вместе с ней, пульсируют пульсарами из глубин вселенной. Это касается даже тама — самого маленького барабана, величайшего из болтунов. Потому-то у тамтамов нет эха. Оно может родиться только в тени баобаба, освещенного луной. Только тень способна отразить и вернуть голос тамтама.

Тамтам ищет в африканской ночи надежды для своей мечты. Разве найдешь ее среди пакгаузов?

Тамтамы — это ладони, которыми Африка ударяет себя по груди, вспоминая древние ритмы и древнюю мудрость. И духи древности откликаются на зов лунной тени баобабов.

Живые спрашивают глухо и безнадежно:

Гаснет ясный день,
Сохнет в саваннах трава,
Всему приходит конец?
Всем там быть?

Из древней тьмы ночи:

Все идет на лад!
Все идет на лад!
Все идет на лад!
Н'донг! Н'донг!

Подумалось о всех пастушьих свирелях, о всех песнях, спетых человечеством в те времена, когда еще не знали нот. О всех словах, молитвах и симфониях, которые улетели на воздушных волнах еще до века граммофонов и магнитофонов. Сколько их, незримых, но телесных и теплых, витает вокруг нас. Они зашифрованы в каждом дуновении ветра, и в каждой капле дождя, и в каждой снежинке. Ничто совсем не исчезает в этом мире. Под саваном древних напевов живет человек, пасмурной тенью облаков и солнечным лучом они сопровождают нас всегда.

Всем!
Там!
Быть!
Ба!
О!
Баба!

Я чувствовал, как голоса тамтамов приближаются, обволакивают огромное судно, бродят по пустынной штурманской рубке.

Чужие голоса чужой страны.

На спящей воде в пространстве между судами в такт тамтамам вспыхивали лунные блики.

Корабельный пес Пижон поскуливал. Чужие голоса в ночи пугали его. А может, он успел узнать от здешних собак свою родословную и возгордился. Катч-собаки получили мудрость от Луны. Они проникли в жилище человека тысячи лет назад, чтобы изгнать оттуда злых духов. Когда-то собаки получали здесь от людей первое животное, убитое в новолуние. Может, Пижон требовал от меня жертвоприношения?

Я дал Пижону таинственный кусок сахара.

В лунном свете сахар был зеленым. Лиловые искры вспыхивали на зеленом рафинаде.

— Черт! — сказал я. — Пижон, что я наделал? Я не хочу, чтобы ты выгонял из этой стальной коробки злых и всяких других духов. Пожалуйста, ешь сахар, но не изгоняй их, о Сын Дворника! Не выметаю их метлой черного хвоста, Дворняга!

Я никогда не видел гномов.

И духи избегают меня.

Для других быют тамтамы в лунной тени баобабов.

Таинственность бежит из сказки моей жизни.

Даже в детстве я не читал сказок.

Я начинаю их читать только теперь.

Но они не даются мне.

Что делать?

Я хочу сковырнуть с души коросту, промыть ее морщины марганцовкой и ощутить мир целиком — всю круглость Земли и безотчетность космических сил.

Гаснет ясный день,
Сохнет в саваннах трава,
Всему приходит конец!
Всем — там — быть!
Там — быть!
Там — быть!

С другой стороны причала под эстакадой спали плакучие тропические деревья, опустившие ветви до воды. Они жили посреди современного порта, между автокаров, погрузчиков, электромоторов, но привыкли не замечать новых ритмов. Тамтамы навевали деревьям веселые, дождливые, мокрые сны.

Мне предстоит начать все с начала, подумал я.

От этой мысли стало страшно. Громадность работы впереди ужаснула. Громадность работы впереди была ужаснее самого ужасного лица бога, какой только мог присниться Ионе.

Чтобы сделать что-то серьезное, мне надо начать все с самого начала, подумал я. Надо опять прожить детство, отрочество, юность, возмужалость. А настоящая, сегодняшняя моя жизнь — что же, она будет стоять на месте? Даже если я не побегу от лица ужасной работы, если я решусь на нее, то кто будет платить мне? Кто будет платить за то, что я зачеркну все сделанное мною в жизни? Кто гарантирует, что, раз остановившись, я смогу когда-нибудь сделать еще хотя бы шаг?

Наша юность начиналась на площадях.

Два раза училище участвовало в общевойсковых парадах на Красной площади. И раз пятнадцать на Дворцовой.

Ба!
Ра!
Бан!

Идешь, пронизанный ритмом, накрываешь барабанную дробь тяжелым шагом, рука под винтовкой онемела, синкопы медных труб крутятся в черепе электронными орбитами, ленты бескозырки стреляют в ухо, брови клещами сжали лоб, подбородок форштемнем рассекает воздух, правая рука вперед до бляхи, назад до отказа; двенадцать стальных подков на подметках кресалом ранят гранитную брусчатку, белые жала штыков распарывают воздух, крутится и качается цветная пирамида трибун, — все ближе, ближе — скорей бы! скорей бы! Тысяча труб извергает «Варяга»: «Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает! Врагу не сдастся наш гордый «Варяг»! Пошады никто не желает!»

Сводный морской батальон — четыреста штыков — не

попросит пощады у самого сатаны. Мороз дерет по коже. Только бы не слетела бескозырка — хватить кончик ленты зубами! Только бы не поскользнулись дурацкие подковы! Тяни, браток, носок! Падай вперед на всю подошву! Истерический шепот: «Петька, куда вылез!.. Витька, винтовку завалил!..»

Фуражка главнокомандующего на Мавзолее. Камнепад с небес — тяжелые бомбардировщики проходят над Красной площадью одновременно с морским батальоном. Исчез в грохоте «Варяг». Где ритм? Где барабан? Козырек главной фуражки зенитным орудием следит головной самолет.

Восемьсот ног, восемьсот рук, восемьсот глаз — четырехугольная туша бронезавра катится по каменной пустыне площади, готовая и к смерти и к бессмертной славе.

Прощайте, товарищи! С богом, ура!

Кипящее море под нами!

Не думали, братцы, мы с вами вчера,

Что нынче уснем под волнами!..

И — тишина.

И — спад.

Ритм начинает выходить из клеток, как газ из лимонада.

В ушах булькает, лицо размякло, голова опустилась, подбородок уткнулся в ворот шинели, штыки дрожат и колыхаются.

Шире шаг! Танки на площади! Шире шаг!

Батальон вливается в проезд между Василием Блаженным и стеной Кремля. Танки идут в затылок на полном газу. С ними не пошутишь. Уже не «шире шаг!» — обыкновенной рысью сводный морской батальон выносятся на набережную реки Москвы.

ВСТРЕЧА С МАРИЕЙ ЕФИМОВНОЙ

Я слушал тамтамы в порту Дакара. В какой-нибудь сотне километров жили еще совсем дикие племена, которые испытывают своих юношей адской болью на экзаменах мужества. И юноши поют при этом и улыбаются — значит, они стали взрослыми людьми — ведь никакой лев и тигр не способен терпеть боль с ухмылкой. На это способен только феномен природы — человек.

Праздничные танцоры здесь приходят в иступление и могут изрубить на куски зрителей. Сирена джипа в джунглях для белого звучит сладостным сигналом спасения и цивилизации. Здесь целые племена не имеют часов, и гул рейсового самолета над саванной служит им кремлевскими курантами и Биг Бенom. Здесь нищий, случайно разбогатев, может заставить родного брата вылизать свои ботинки. Здесь солнце сжигает поля арахиса, и тогда миллионы людей голодают, как голодали их далекие предки, жуют гусениц и траву, умирают в канавах, и гиены разгрызают хрупкие безвитаминные кости. Гиены и вороны здесь питаются энциклопедиями, ибо, когда в Африке умирает старик, с ним исчезает целая библиотека. Накопленная мудрость здесь веками передавалась только через звуки. Потому звук необходим любому ритуалу и стал фетишем.

Тамтам — дитя фетиша. Тамтам будит в человеке прошлое.

Это я узнал на своей шкуре.

Мелькнувшая мысль, а может, и приказ: «Надо снова пережить детство, юность, возмужалость. Надо начать все с азбуки, с барабана на площадях моего сознания» — были не только измышлены, но прочувствованы.

Утром послали на теплоход «Латвия» за 10 кг манной, 20 кг гречи и 30 кг пшена. Вернее, сам вы-звался.

Я люблю болтаться на шлюпках и вельботах. Люблю воду близко. Люблю, когда она бесится и вертится между бортом шлюпки и судном. Даже на мнимое утеснение вода отвечает хуками, апперкотами, свингами и ударами под дых. Своенравное существо вода. Однако, если ее совсем не утеснять, а просто скользить по волнам, чесать их спины винтом или веслом, она только мурлыкает.

Хорошо со шлюпки ощущать, какой ты крошка, пигмейенок среди природы и наверченного поверх природы человеческого мира — причалов, элеваторов, океанских судов.

Много наворотели пигмейнята. И красивого много сделали. Пройди под форштевнем современного судна с бульбсй, посмотри на развал бортов снизу, увидишь на фоне небес ноктюрн или даже фугу.

Акватория порта Дакар огромна. «Литва» стояла в самом далеком закоулке. Мы за гречкой бежали на вельботе полчаса.

Греки гречку придумали, к нам в Крым завезли, сами ее есть давно перестали, а мы жуем и жуем. Слава древним грекам!

«Литва» — пассажир, там бар есть, там на валюту рассчитывал пивка выпить, пока завпрод будет с крупой делишки обделывать.

Подошли к «Литве» — все на ней белым-бело от форменок и кителей. А с другой стороны пирса стоит старенькая подводная лодка. Подлодка приспособлена для гидрографических целей.

Когда я носил военно-морские погоны, нам и не снилась Африка и даже в бреду не слышался рокот тамтамов. . .

У вахтенного офицера, которого вызвали к трапу по знакомой и близкой до слез цепочке: вахтенный у трапа на пирсе — вахтенный на верхней площадке трапа — вахтенный рассыльный — помощник вахтенного офицера — сам вахтенный офицер, — я спросил:

— Уважаемый коллега, нет ли у вас на борту офицеров — выпускников пятьдесят второго года Первого Балтийского высшего военно-морского училища?

Каптри сделал физиономию, о которую разбился бы в пух и перья бронебойный снаряд, и процедил:

— Зачем вы сюда явились и почему интересуетесь такими вопросами?

— За гречкой, — сказал я. — За греческой гречкой. Двадцать килограммов. Попутно надеюсь встретить одноклассника по пшеницу и по манной. Хотя, кажется, в мои времена манной морякам не было положено.

Каптри было лет тридцать. Он взглянул на меня с подозрением и снисходительным сожалением.

Под солидным эскортом я и завпрод были доставлены в каюту директора ресторана «Литвы».

Директор оказался моим читателем. Он, как и вахтенный офицер, но по другому поводу, проявил недоверие. Никкак не укладывалось в его мозгу, что автор «Соленого льда» сидит в его каюте с накладными на гречку. Подозревая однофамильца, он пытал меня вопросами о каком-то приятеле, редакторе издательства в Москве. Я про этого редактора не слышал. Наконец директор сел писать акты на безналичную передачу манной и гречи. Попутно поведал историю своей жизни. Она начиналась в Нахимовском училище под бой барабана, но привела в пищеблок, где он с утра до вечера вынужден был слушать стук ножей и скрип мясорубок.

Рассчитывая использовать почтение читателя к писателю, я попросил у бывшего нахимовца копировальной бумаги. Он стал дрожать от патологической жадности. И предложил не пачку, а всего несколько листков. Пришлось послать своего читателя к его маме и идти к третьему штурману. Тот кофирку дал, но в обмен на три карты побережья Бразилии, которые забыл выписать в Ленинграде, а «Литва» собиралась в Рио.

Без пива и в усталом состоянии я уже шел к трапу, когда встретил Марию Ефимовну Норкину. Как родную тетю увидел! Мы с ней и плавали вместе, и я о ней чуть очерк не написал, когда копался в материалах о морских десантах в Стрельне, и мы с Петей Ниточкиным ее изпод пятнадцатисуточного ареста в Одессе высвобождали, и она у Пети в домработницах жила, когда ее из горничных в морской гостинице уволили по собственному желанию после драки с администраторшей.

— Господи! Ефимовна! — сказал я.

— Черт возьми! Викторич! — сказала Мария Ефимовна.

И мы рухнули в объятия друг другу. А фоном нашей встречи была Африка. И сенегальские пальмы торчали из мазутной, портовой земли. И на пирсе грелись под африканским солнцем негритянские идолы — таинственные, кривоногие, большеухие, длиннорукие, толстобрюхие; и сидели торговцы, ожидая, когда северяне раскошелятся на их сувениры. С таким же успехом они могли ждать здесь полярной пурги или белого медведя.

Последнее соображение высказала Мария Ефимовна. Она велела мне отпустить вельбот и обещала проводить домой по сенегальскому сухопутью. Разве будешь спорить с женщиной, награжденной медалью «За отвагу»?

Я отправил вельбот под командой завпрода и подождал Ефимовну на причале. Ей надо было переодеться.

Старик негр в лохматой шапке-ушанке пытался соблазнить меня чучелом рыбы-шара. Он отдавал товар за флакон одеколона «Шипр». Другие одеколоны, включая тройной, старик отвергал. Из чего ясно становилось, что парфюмерия нужна ему для перепродажи.

Шапка-ушанка на негре меня не удивляла. Я уже знал, что в Дакаре меняются экипажи наших рыбаков. Сюда они летят самолетами в ушанках. Здесь меняют ушанки на идолов. Потом уходят в море. Может быть, все происходит в обратном порядке.

С Марией Ефимовной мы познакомились на Диксоне году в пятьдесят шестом.

Она заменила на моем сейнере кока Васю. Вася имел липовое поварское свидетельство и чуть не довел до дистрофии экипаж.

Мария Ефимовна начала работу с того, что прочитала нам лекцию. Она опиралась на знаменитого французского гастронома Брилья-Саварена, автора книги «Физиология вкуса». В лекции так и мелькали блестящие афоризмы. Например: «Мир — ничто без жизни, а все, что живет, то питается»; «Животные жрут, а человек — ест; но только культурный человек ест сознательно»; «Моя цель — не только поддержание ваших жизней, но и их продление». И т. д., и т. п.

Нам сразу стало ясно, что Мария Ефимовна проис-

ходит из интеллигентной семьи. И действительно, на Дальнем Востоке даже есть мыс, названный в честь ее деда — знаменитого адмирала-гидрографа царских времен.

Во времена гражданской войны семейство развалилось и маленькая Ефимовна выпала из него в Новоладожский женский монастырь. Оттуда ее выудили чекисты, и она попала в детскую колоннию — в знаменитое Болшево.

Кровь деда привела ее к морю. Она плавала во всех возможных для женщины без образования ролях: уборщицей, буфетчицей, поварихой, камбузным рабочим, дневальной, коридорной, офицанткой. Была даже барменшей.

Накануне войны Мария Ефимовна работала на буксирчике «Льдинка». Они раскантовывали большие корабли в тесных углах порта и дальше Кронштадта нос не высовывали.

В сорок первом «Льдинка» стала грозным кораблем Краснознаменного Балтийского флота.

На этой грозе линкоров Машенька Норкина установила примус и при помощи примуса кормила пятерых представителей «черной смерти», как называли наших моряков фашисты.

Капитаном был старик по фамилии Круглый. Высаживали они несчастные десанты, роты «черной смерти» выводили на дорогу к бессмертию. Переставляли буи на фарватерах и шастали по минным полям, как по паркету.

В декабре сорок первого «Льдинка», обросшая льдом, инеем, запорошенная снегом, выбиралась от Сескара в кромешной тьме и метели.

Капитан Круглый знал залив лучше, чем дважды два, и на эту тему прожужжал экипажу обмороженные уши. И здесь вывел «Льдинку» точно в родную бухточку. Ошвартовались к первому попавшемуся катеру. Беспokoить уставших коллег на катере не стали, завели сами веревки и повалились спать.

А у Машеньки керосин кончился, она полезла на катер кока искать или моториста, чтобы разжечь горячим и к утру вскипятить чай.

Машенька заметила, что люк на катере светится. Она еще подумала, что ребята нарушают светомаскировку,

хотя, правда, метель мела во всю ивановскую. Короче говоря, увидела она через люк немецких военных моряков, которые, как и положено морякам, пили шнапс и играли в карты. От этого видения у Машеньки остро перехватило живот, тут она еще вся ознобилась на метельном ветру. И взмолилась про себя: «Спаси меня, богородица, и помилуй!» С беспорядочными молитвами на устах пролезла по катеру, убедилась, что ходовая рубка изнутри с кубриком не соединяется, в машинном отделении никого нет и что выйти фрицы могут только через две дыры — световой люк и палубный люк. Если обмотать заглушки люков снаружи веревкой, то из катера и черт не вылезет. С этим соображением Машенька и прибыла к мирно спящему моречману капитану Круглому.

Старик не проявил того змеиного хладнокровия, которое проявила матрос без класса. Он понял, что залезли они не в родную бухточку, а в какую-то губу, где уже базировались немцы. И острым желанием старика было бежать прямо в исподнем на мостик, отдавать швартовы и попробовать незаметно убраться восвояси.

Но Машенька, пока Круглый натягивал ватные штаны, объяснила свой план: прихлопнуть люками фрицев, отдать швартовы не свои, а катера, и удирать с фрицами под бортом. Немцы по своим сразу стрелять не начнут, даже если и поднимут шухер. В этом была логика. И Круглый, подпоясав брюки и натянув ватник, утвердил план эвакуации.

Счастье оказалось с ними, как чаще всего бывает со смелыми. И капитан Круглый, который, не приволоки он трофейный катер с живыми фрицами, загремел бы в штрафбат, представил матроса без класса Норкину к ордену «Красной звезды». Получила Машенька медаль «За отвагу», чем огорчилась навеки, хотя такая медаль на женской груди, мне кажется, выглядит даже заметнее и уважительней.

«Отвагу» свою Мария Ефимовна носила на парадной одежде постоянно — как брошку.

И на сенегальское сухопутье она сошла при медали, по дороге заметив капитану третьего ранга:

— Ты, пассажир, так пуговицы надраил, что черные очки надо покупать! — И ткнула остолбеневшего пассажира цветным зонтом в пуговицу.

Очки, людей в очках, особенно в темных, Мария Ефимовна не переносит.

На пирсе она вежливо поздоровалась с маленьким человечком.

— Доктор наш. Отличный. Женьке Федоровой в шторм втулку вылотрошил, — объяснила Ефимовна мне.

— Какую втулку, Мария Ефимовна? — спросил я.

— Ясно какую: аппендикс вырезал. Я ассистировала.

Она открыла зонтик, и мы начали прогулку вокруг акватории порта Дакар, защищенного от океанских ветров полуостровом Зеленый Мыс.

— Маленький, а удаленький, — продолжала Мария Ефимовна о докторе. — Поддубного, царствие ему небесное, напоминает. Только ест некультурно. Чавкает так, что в суповой миске щи рябят. Вы куда отсюда?

— Черт знает. Кажется, порт Нуар.

— Плохо. Там, как в Занзибаре, ничего, кроме слоновой болезни, не купишь. Или чесотки. Я после Занзибара Вячеслава Ивановича Овцова — знаешь такого капитана?

— Нет.

— За неделю от чесотки вылечила. Все доктора отказались, а я — за неделю!

Мне можно было не спрашивать, каким лекарством Мария Ефимовна вылечила капитана. У каждого ныне свое хобби. У Ефимовны оно медицинского характера. Ото всех болезней она советует лечиться машинным маслом. Не думайте, что моя старинная подруга невежественная серятина или грязнуля. Нет, на чистоте она просто помешана. Потому, вероятно, по закону контрапункта, по закону противоположностей, которые сходятся, она и обнаружила целительный бальзам. И, действительно, многих, включая меня, вылечивала от различных ячменей, воспалившихся ссадин и даже радикулита.

Последнее время плавать Ефимовну не пускали и по возрасту, и по вредности языка. Работала она на отстойном судне «Клязьма».

Чем только эта «Клязьма» не была! Отопителем, плавзверинцем, общежитием строителей кондитерской фабрики, складом и даже учебным объектом пожарников, которые ее и доконали.

Пока существует судно, на судне есть экипаж. Экипажу положено казенное питание. Значит, есть и

камбуз, и артельный, и буфетчица. А значит: интриги с поваром — есть, споры с артельным — есть, вечерний козел в кают-компании — есть.

Без «козла» Марию Ефимовну не представишь. Играет она классно. Правда, еще и жульничает и передергивает — так веселее. Да и проигрывать терпеть не может. Победитель Марии Ефимовны рискует получить на голову большой ушат не совсем литературных слов. В былые времена молодые штурмана обходили Ефимовну по другому борту. Ее развлечением было уязвлять их морское достоинство по поводу или без него. Но все Ефимовне прощалось, потому что любила она своих соплавателей, как родных детей или братьев.

Нос у Марии Ефимовны утиный. А я заметил, что женщины с утиным носом часто одиноки, но умеют устраивать чужие судьбы по своему вкусу и вовсе даже бескорыстно. Если на бульваре вы увидите троицу женщин, идущих взявшись под ручки, то в центре обязательно окажется с утиным носом, и она будет держать пристяжных, а не они будут держаться за нее.

Мария Ефимовна гнедым коренником галопировала всю жизнь.

— Кем служите на «Литве», Ефимовна? — спросил я.

— Кастеляншей, Викторыч. Сам начальник пароходства пригласил! Иди, говорит, перед пенсией среднюю зарплату округли. Я за тебя в кадрах лично поручусь, говорит... Обожди, Викторыч, грузовики пропустим. Боюсь их после моря...

И я боюсь автомашин на городских улицах несколько дней после возвращения из рейса.

Мы пропустили грузовики со штабелями замороженных тунцов в кузовах. И вышли из порта.

Две сенегалки сидели на земле за воротами. По яркости и красочности одежд они напоминали купчих Кустодиева. Но профессия у них была более древняя.

Пышные африканские Магдалины вызвали в сердце Ефимовны неожиданную реакцию. Она попробовала завербовать их в Россию к моему другу Пете Ниточкину.

— Петр Иванович с ног сбился: домработницу ищет. Ему бы эту пару на свой пищеблок приспособить. Елизавета Павловна за нас с тобой, Викторыч, свечку Никола Морскому поставила бы... — И, удивив меня, который давно Марии Ефимовне не удивляется, заговорила

с африканскими Магдалинами на афро-английском наречии:

— Н'дей йо! Мать моя! Вуд ю лайк ту гоу ту Рашна ту ворк эт ве китчен?

— Джарджефф! Джарджефф! Н'Днай! — радостно сказала та сенегалка, которая была моложе и красивее. И выпустила из неволи цветастой, переливающейся всеми красками тропиков одежду левую грудь. Коричневую, с матовым налетом утреннего винограда грудь. Бледнеющую к соску, чтобы вспыхнуть в нем бутонем гвоздики. Совершенной формы женскую грудь, рядом с которой даже атомная боеголовка или обтекатель космической ракеты покажутся зубилом питекантропа.

А то, что на свет божий была выпущена только одна грудь, а не обе, еще усилило мое потрясение.

На чисто русском языке я почесал затылок и, возможно, даже покраснел. А сенегалка добила меня. Она, улыбаясь улыбкой Джоконды и глядя мне в глаза, подняла руку и прижала пальчиком сосок! И миллион тонн тринитротолуола бабахнули мне между глаз, в мою душу и в моего бога.

Мария Ефимовна поволокла меня в сторону от прекрасных образов и символов простодушной Африки, бормоча:

— Поставила бы мне свечку Елизавета Павловна! Вот кадры — так это кадры! А ты жениться-то не соби-раешься?

— Успокойся, Ефимовна. Собираюсь. Насмотрелся на мусульманский мир и решил даже, что пророк Али прав. Если что и погубит христиан, то это их обычай брать только одну жену.

Мы шли по бульвару Гамбетты, огибая огромный ковш дакарского порта.

Солнце пекло сквозь высокие облака. Редкие деревья были серыми и жидкими. Магазинов не было. Трамваев не было, троллейбусов не было, автобусов не было, такси не было.

Пакгаузы. Мачты и трубы судов над крышами пакгаузов. Пустынь. Пыль на лопухах. И, несмотря на жару, выпить хочется не прохладительного, а как раз горячительного.

— Н-да, — сказала Мария Ефимовна. — Покурим. У тебя какне?

— Польские гвоздики.

— Дожили! У меня «Беломор».

Потом мы похвастались друг перед другом зажигалками и обменялись ими.

— Знаешь, почему «Миргород» у Кубы на банку вылез? — спросила Ефимовна и фыркнула.

— Ну?

— Задал штурманам какой-то шутник-блондин задачу. Назвал два слова: «пузо» и «железо». И предложил найти третье слово с таким окончанием. Ребята извлеклись. День и ночь искали. У помполита всю Большую Советскую Энциклопедию перелистали. Неделю никто нормально не отдыхал. И врезали в камни. И в этот момент капитан вылезает из каюты и вместо «тревога!» орет это самое третье слово!

— Какое?

— Сам найди.

— Не выпускай на меня эту заразу. Нет третьего слова.

— Есть!

— Нет!

— Есть!..

Вот так, вполне может статься, они и спорили, подумал я. А судно шло на камни. Они, конечно, не вслух спорили. И даже не думали о третьем слове. Но зараза сидела где-то и отвлекала от точности решения, раздвигала сознание...

Я думал о психологическом состоянии судоводителей «Миргорода», а сам уже попал на крючок «пуза» и «железа». Есть третье слово с таким окончанием? В нашем могучем языке должно быть! Не может не быть! «Пузо» — «железо» — ...«кургузо»?

Вечно Ефимовна придумает какую-нибудь моряцкую скоророховщину.

— Скучной дорогой ты меня ведешь, — сказал я. — Сенегальская глубинка. Ноги гудят с непривычки.

— Подожди. Есть тут местечко. Там посидим. А вообще, мила только та сторона, где пупок резан.

Она вывела меня на маленькую площадку, совсем безлюдную, окаймленную зарослями кустарников с яркими цветами, которые не пахли. За кустарником был двухсотметровый обрыв. И — океан.

Даль океана была густой синевы, она впитала свободу трех тысяч километров межконтинентального пространства.

От дали и обрывной пропасти кружилась голова.

Внизу, как на фотографиях из космоса, видны были отдельные струи прибрежных течений.

Прибой медлительно взбаламучивал песчаное дно. Изумрудно просвечивала на отмелях каменная постель океана.

По обрыву сползала к узкой полоске белого пляжа широкая городская свалка. Одинокая цепочка следов от босых человеческих ног тянулась вдоль полосы, оставшейся после отлива воды.

И ветер океана. И запах океана.

Когда ты в пространстве океана, он тоже пахнет густо и коварно. Но только на берегу океанский запах можешь понять как следует, потому что в ноздрях он борется с запахом земли и оттеняется им.

Огромность океанского пространства. Ее тоже можно понять и ощутить только с земли. И тот пошляк, который шутил: «Люблю море с берега, а флотский борщ в ресторане», недалеко ушел от величественной истины: только на стыке стихий или идей ощущаешь бездонность мировой красоты.

Мы сели с Ефимовной на самый край обрыва, на теплые камни, в тени рекламного киношита. На щите изнывал от одиночества и желтой пыли облинялый Жан Габен — Жан Вальжан.

— А Поддубный помер, Петр Степанович, — сказала Ефимовна и вздохнула. — Знал такого?

— Фамилию вроде слышал. . .

— Новые кладбища мне решительно не нравятся. Могилы — как огородные грядки, сплошная геометрия, — заявила Ефимовна и швырнула в Атлантику камешек. — И почва глинистая — даже бурьян на такой почве расти не будет. Про цветочки и говорить нечего. Правда, при помощи геометрии я Степаныча нашла быстро. Живой не без места, мертвый не без могилы. . . Мы с ним еще в тридцатые годы сюда, в Дакар, заходили. На «Клязьме».

Рассказывать о прошлом Ефимовна любит, как любит и ходить на кладбища к старым соплатателям, носить на могилки торф, ухаживать за цветочной рассадой. Смерти, мне кажется, она совсем не боится. И часто

повторяет загадочную фразу: «Смерти саваном не ублажишь».

В свои новеллы Ефимовна подпускает элементы чудесного и фантастического — эти средства поэтизации, соответствующие фольклорному мировоззрению морских слушателей.

— Веселый был Петр Степаныч. Жаль, ты его не помнишь. Просил, чтобы его в зимнем пальто и валенках хоронили. Иначе, мол, друзьям-морякам и нести на кладбище будет нечего. Росту в нем было полтора метра, веса меньше трех пудов. А фамилия — Поддубный. Теперешним людям такая фамилия ничего не скажет. Забыли силача, циркового атлета. Петр Степаныч для смеху себя за его сына выдавал. Только был он, когда мы еще вместе плавали, не Петр Степаныч, а третий штурман Петька Поддубный — сорванец и трепач. Организовал на «Клязьме» художественную самодеятельность, — отличные ребята подобрались, способные, веселые комсомольцы. . . Капиталисты в Сингапуре как-то не дали нам угля. Пришлось целый месяц своего угольщика дожидаться. Скучища. И вот первый концерт. Кочегар Фома Иванов — сверхгромадной комплекции мужчина. К каждой руке привязано по венику. Раздет, конечно, до кальсон. И в таком виде Фома плавно так вылетает на трюмный люк, машет вениками-крыльями и вокруг корыта с водой делает круги, изображает птицу. И поет. Голосок у гиганта тоненький был, как у соловушки. Летает он вокруг корыта, машет вениками и поет: «Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит; ей много простора, ей много свободы, луч солнца у чайки крыло золотит. . .» И так он грустно пел, Фома, что даже плакать хотелось. И тут вылез на палубу с ракетным пистолетом Петр Степаныч. Рожа разрисована под свирепого дикаря. Подползает к чайке, целится из пистолета. А Фома все поет и вокруг корыта летает, не видит опасности. Петька Поддубный — трах! — стреляет. Фома хватя себя веником за сердце и падает в корыто. Убил охотник чайку! Все вокруг ногами дрыгают от смеха. . .

Мария Ефимовна с удовольствием закурила новую «беломорину». Кладбищенские воспоминания никак не угнетали ее. Только маленько спать хотелось хранительнице исторических преданий, составительнице родословных, ценительнице традиций прошлого свободного море-

плавания. Так называю я про себя Марию Ефимовну Норкину.

— Да. А пришли во Владивосток — Петька деньги потерял, получку за весь экипаж. Подумать только — с такого рейса вернулись, а он деньги потерял! Загулял по дороге с бичменом, тот и увел портфель. Засел штурманец в кают-компании, голову в грязную тарелку положил и навзрыд рыдает. Бьет себя в грудь и кричит, что на все готов и сейчас сам за борт прыгнет, что жизни ему нет!

— Ведомости тоже стибрили? — спрашиваю тогда я. — Сколько мне насчитано было?

— На тебе ведомости, подавись своими ведомостями, — орет он. А я возьми да и распишись в получении денег. Тут у Петра Степаныча истерика случилась. Слезы даже из ушей полились. Норовил расписать вычеркнуть химическим карандашом. Но вся художественная самодеятельность тоже расписалась, отличные были комсомольцы — не для денег и фарцовки жили, для правильной жизни жили. Увели Петьку в каюту, посадили под замок, чтобы он чего не вытворил. И к вечеру весь экипаж расписался, кроме контры-капитана. Контре ребята собрали полную сумму из своих последних зачек. И стояла «Клязьма» в порту Владивосток тихая, как овечка. Ни одного человека в милицию не забрали — монолитную морально-политическую сознательность матросики проявили. В море капитан стюарда вызвал и вернул через него деньги ребятам. Может, совесть заговорила, может, личного состава застеснялся. И долго потом — несколько лет, до самой войны — то один, то другой из морчанов с «Клязьмы» получал вдруг денежный перевод. Ребята затылки чесали — не понять было, не вспомнить: какая у них добрая тетя нашлась? А это маленький Поддубный долги отдавал. Жена, говорили, от него ушла — надоело ей с хлеба на квас перебиваться. Ясное дело — надоест... После войны он военным остался. Эсминцем целым командовал. Нет, флотом! — закончила Ефимовна, напустила слюны в мундштук «беломорины», послушала легкий гаснущий шумок и выщелкнула окурок в Габена.

Я легко простил ей некоторую гиперболизацию судьбы героя и его возможностей, ибо это естественные черты всякого эпоса.

Самым эпическим творением Ефимовны является новелла о ее соседу по квартире шофере Ване, его жене Вере и товарище Олеге. Эту новеллу я записал когда-то на магнитофон.

— Ну, молот наш Ваня кидал. Даже чемпионом был по молоту. Часто в драки попадал. За справедливость. Влюбился в Верочку — ладненькая такая, небольшого росточка, с характером, культурная. Пока Ваня ухаживал, все его воспитывала: «Не суйте руки в карманы!.. Не сморкайтесь громко!» А братец у нее был Олег — отчаянный хулиган и Ваню не любил. Пригрозили хулиганы Ване, чтобы перестал к Вере ходить — малокультурный, мол, он, а Верка курсы кройки и шитья на пятерку закончила. Ваня наш, конечно, ноль внимания. Один раз ему банок кинули. Он ходит. Другой. Он ходит. Третий. Тут и Ваня не сдержался, хотя человек был удивительной доброты и тишины душевной. Взял этих хулиганов да и постыковал их лбами. Ну, а они ему тогда кирпичом. В больницу пришлось отправить. Навестила его там. Ну никакой у Вани не было злости! Добрый он был человек до самой своей глубины. Велел мне цветов купить и отнести Верочке. Прихожу к ней с розами. Она в слезах сидит и вытаскивает из братца-хулигана колючки. Тот орет во всю глотку. Оказывается, Веруня в него кактус бросила. У нее все окно было в кактусах... Поженились и зажили все вместе — Вера, Ваня и братец ее Олег. Ваня Олега в гараж к себе устроил. Да, добрый он был удивительно. И молчаливый. Со странностями — весь от драк за справедливость в шрамах, а как-то мотор в машину вставляли, мизинчик ему чуть придавили, так он месяц ходил с пальчиком кверху — бюллетенил... Двойня у них родилась. Ваня сразу две пары коньков купил, «снегурочки». И не угадаешь по его здоровенной роже: то ли он шутит, то ли взаправду думает, что новорожденным коньки надо...

Двадцать второго июня шоферов с грузовиками вместе — в военкомат, а оттуда на железнодорожную сортировочную. Часам к семи вечера они уже машины на платформах закрепили. Сидят, кукуют. Домой никого не пустили, ясное дело. Начинают Отечественную в неизвестности. Ваня колбасу жует. Чего-чего, а пожевать он любил.

Там путей на сортировочной было — тысяча, составы перепутались, черт ногу сломит. И вдруг Веруня появляется. Близнецов из-под вагона тащит. Им по пять лет исполнилось. Митька и Витька. «Отец называется! — сквозь слезы говорит Веруня Ване. — Детишек на меня бросил, а сам колбаску кушаешь? И попрощаться-то не пришел! И как тебе кусок-то лезет? Муж называется! Ты когда меня последний раз в кино брал?..» Только Ваня рот утер, чтобы все по порядку объяснить, как дуду и они поехали на фронт. «Обожди! — закричала тогда Веруня вслед эшелону. — Далеко вы от меня не уедете!»

И действительно. Далеко не уехали. В ноябре сорок первого в ужасном душевном и физическом состоянии находятся Ваня и Олег под Москвой в окопе, на самом что ни есть переднем крае. Ваня спит, а Олег в ремне новую дырку прокручивает. И вот вместе с первым снегом падает к ним в окоп сперва Митька, потом Витька, а потом и Веруня заползает собственной персоной. Немцы шевеление заметили, из минометов жажнули. Веруня отдышалась и как зашипит: «Ах ты, такой-сякой! Спишь?! Детей на меня бросил, а сам тут отдыхаешь? Немцы до Москвы дошли, а он нежится!» Ваня проснулся, детишек к стенке окопа прижал, телом заслонил и говорит, как всегда рассудительно: «Тише, Верка! Фрицев напугаешь! И чего с собой сюда ребят тащила? Убить их тут могут ненароком. Табачку-то догадалась прихватить?» — «Он колбасу кушает да спит напропалую, а я ему табак под пулями носи!» — шумит Веруня.

Политрук приполз, интересуется: откуда здесь дамочка и куда смотрит боевое тыловое охранение? Пацаны командирские знаки разглядели и сразу как заверещат: «Мама, писать хотим!» Немцы стреляют, снег и земля дыбом, политрук донесение сочиняет, Веруня близнецов подначивает: «А по-большому хотите?» — «Хотим!» — в один голос орут. Она каску с ближайшего покойничка стащила для этой надобности, начинает окоп обживать. Но политрук в тот раз решительный оказался — эвакуировал Веруню с детишками в тыл. Ну, отстояли они Москву, вперед пошли. Олега к тому времени уже два раза вадело. У Вани на гражданских шрамах — ни одной царапины. В июне сорок второго под Кротовом захватывают дружки вражеского фельдфебеля. Случайно они его живьем получили, тепленького: Ваня в пылу сражения

запал в гранату не вставил и попал этой гранатой фрицу чуть ниже брюха. Бросанием молота он раньше не зря занимался. Фельдфебель после попадания двое суток непрерывно выбалтывал военные тайны, и его не остановить было. И комбат Ване с Олегом лично вручил по бутылке трофейного коньяку.

Перерыв как раз в боях. В баньке дружки попарились, коньячок хлопнули. Сидят товарищи на березовой полянке голые после бани. Из ромашек себе венки сплели. Ваня песню поет: «Эх, Андрюша, нам ли быть в печали?.. В сердце нет ответного огня... Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи промчался ветер, кудри шевеля...»

Останавливается возле них «эмка», вылезает генерал и высаживает Веруню с близнецами, вежливо так высаживает и обходительно. Ваня с Олегом стали как положено. Голые только они, как Адамы. Покачиваются немного с коньяка-то трофейного, но к венкам из ромашек руки как положено суют — честь отдают.

Веруня носом повела и как заголосит: «Посмотрите на него, люди добрые! Детей на меня спихнул, а сам пьянствует!..» И на генерала: «А ты, такой-сякой, куда смотришь?! Ванька всю войну то колбасу жрет, то спит, то теперь и пить вы его здесь выучили! Начальничек! Тебе родина-мать зачем власть дала? Так вы все здесь воюете!» Генерал в свою «эмку» прыгнул — и только пыль завихрилась. А пацаны вокруг отца прыгают, орут: «Здорово, папаня! А у нас немецкий пистоль есть! А мы его сами нашли!» Ваня говорит товарищу, чтобы постерег пацанов, а сам схватил женушку поперек талии и увлек, как Тарзан, в березовую рощу, потому что уже здорово по ней соскучился. Пока они там выясняли отношения, Олег пацанов обезоруживал. Это он все мне сам рассказывал. Близнецы от дяди в драп пустились и вальтером грозят. А заряжен тот вальтер или нет, Олег и не знал, но разоружил все-таки этих разбойников. Через четверть часика Веруня появляется из кустов, помятая и тихая, как овечка, и светится покоем, как богородица. Ваня говорит в приказном порядке: «Не смей больше с собой детишек таскать! Не на курорт ездись». — «А как меня без их на передовую пропустят? — резонно спрашивает Вера. — Они у меня тренированные — вместо пропуска. Как вой поднимут: «Пйсьать хотим!» — святых уноси! Ни один генерал устоять не может — сразу пропуск

пишет». И пригрозила еще Ване, что, мол, если еще раз увидит, что он жрет колбасу, когда весь народ голодает, или, например, спит, или пьянствует, то живо его в штрафбат устроит, потому что война идет нешуточная, а Ванька только и делает, что уклоняется от фронтовых тягот. «А вообще-то, — сказала тогда Веруня напоследок задушевно, — нравится мне, когда от вас французским коньяком пахнет!» И уехала к себе в тыл на генеральской «эмке».

Ну, замкнули Ваня с Олегом кольцо вокруг Кенигсберга. Это уже сорок четвертый шел. Взламывают мощные, долговременные укрепления. Полная вокруг неразбериха — и не понять, где еще немцы сидят, где наши проникли. В какой-то момент для военной хитрости драпанули наши опять на восток и зацепились за медсанбат. Невозможно было дальше драпать, потому как скопилось в санбате, в подвале мармеладной фабрики, три сотни раненых. И вот товарищи легли их защищать. И защищали, пока из роты не осталось полтора десятка человек. Много уже раз и Ваня и Олег с жизнью прощались, а тут и говорить нечего. И все очень хорошие ребята там собрались — доброты необыкновенной. И Ваню там осколок нашел — срезало ему ухо и черепушку задело крепко. Отволол его Олег в подвал, свалил поверх других бедолаг. Бедолаги эти оказались ранеными сандружинницами. Ваня между девчат устроился. Они ему голову бинтуют, он им на конечности индивидуальный пакет разматывает. И все вместе они находятся в стопроцентном окружении, и до смерти уже и не четыре шага, а обыкновенный сантиметр. И вот Ваня у Олега слабым шепотом спрашивает: какое, мол, число? Олег с трудом вспоминает, что с утра было четырнадцатое сентября. Ваня тогда шепчет другу: «Она сегодня быть обещалась...» — «Кто?» — «Верка. На день нашей свадьбы грозилась обязательно быть. Сегодня день свадьбы». — «Лежи спокойно, дорогой товарищ, — успокаивает Ваню Олег. — Никто тебя сегодня здесь не потревожит, кроме фрицев». — «Ты, — говорит Ваня, — хоть и родной брат ей, а Веруню не знаешь. Отодвинь меня от санитарочек подальше, а то как бы чего не вышло, если она нагрянет...» Олег думает, что забредил его корешок — все-таки человеку ухо оторвало и по черепу проехало. Тут потолок наконец завалился от прямого попадания. Олег

глаза прочищает — дым и штукатурка вокруг. И вдруг слышит: «Детей на меня спихнул, а сам с бабами валяется! Да где у тебя стыд-срам, кобель безухий?!» Господи, думает Олег, как война женщин портит, какой у культурной сеструхи лексикон выработался! Неужели с детишками? С ними, с родненькими!.. У Витьки нос перешиблен, Митька на один глаз косит, но сразу к папане подлезли, ластятся: «Здорово, папаня! Мы тебе гостинцев принесли! Пряник на патоке! Настоящий! Ты сразу теперь поправишься!» Как говорится, луч света в темном царстве, потому что немцы в ста метрах к последнему броску готовятся — добрая рота, а наших человек десять всего, кто стрелять еще может. Веруня командует: «Вставайте, дохлые! Вперед, мармеладники! За мной! За родину!» — и полезла в пролом. Ну, Олег ее за подол поймал, назад сдернул, племянников санитаркам сунул, и заковыляли они на фрицев в контрпсихическую атаку... Тут, как в кино, и наши самоходки подоспели. А Веруня сразу к комбату — требовать для Вани штрафбата. Колбасу, мол, Ваня всю войну ел, спал, пьянствовал, а теперь и с бабами начал валяться. И дома, мол, в мирное еще время не семьей занимался, а молоток кидал и ее в кино не брал... Комбат ей про массовый героизм своих подчиненных вкручивает, а Веруня свое: «Ванин пример детей портит!»

— А на крышу рейхстага она к твоему Ване и Олегу не наведывалась? — не выдержал я эпоса Марии Ефимовны.

— Чего не было, того не было! Проспала она конец Берлинской операции. В копне спала. Спирт им несла ко Дню Победы, а как узнала, что капитуляция, сама выпила с радости и в копне уснула. А Витька с Митькой ее караулили. С фаустпатронами круговую оборону держали. Потом легендарили, что один маршал о Веруниных похождениях узнал и поехал ее поглядеть. А близнецы на маршала фаустпатроны нацелили и орут: «Хенде хох! Цурюк!» И уложили его волевым подбородком в лужу. И он лежал, пока Веруня не проснулась и «Отставить!» не скомандовала... Не веришь?

Я сказал, что верю. И подумал, что зря я плаваю за мифами куда-то к черту на кулички. Мифы-то рядом. И кита не надо никакого. И пророка Ионы не надо. Ваня и Веруня. Ну, приврала Ефимовна, конечно. Однако не

все выдумала. От чего-то бывшего оттолкнулась, потому что, как говорится, ветром море колышет, а молвою колышет народ. И хотя финал явно грустнее был в жизни, это по интонации чувствовалось, но убить Верку, Митьку ее и Витьку — невозможное дело. Не она — песчинка, капля протоплазмы в верчении миров и катастроф, а весь мир в ней и для нее. И никаких законов и канонов. Считается, что вечность известна только останкам неизвестных солдат на площадях у негасимого огня. Такая Веру-ня ее тоже знает.

Когда Ефимовна затушила окурок и выщелкнула его в Габена, я вспомнил ее эпическую новеллу, потому что увидел вдруг в этой истории готовый киносценарий. Габен мне помог его увидеть. Габен в роли генерала, который панически бежит от наскоков Веруни.

— Ефимовна, ты в кого окурком стреляешь? Это же великий артист! Знаешь его?

— Габена? Да ты, Викторич, очумел! Да я его живого, как тебя, видела! В Марселе на киносъёмках. Он капитана спасательного судна изображал. . .

— А что он сам моряк, знаешь?

— Ты скоро в моряки и Майю Плисецкую запишешь.

— Он, Ефимовна, был старшиной второй статьи. Он командовал танком в полку морской пехоты в дивизии генерала Леклерка. Он на танкере пересек эту голубую Атлантику в сорок третьем, когда здесь держали верхи немецкие подлодки. Он въехал в Париж на своем танке в тельняшке. И больше всего в жизни он гордился тем, что был старшиной второй статьи, а не офицером. Он, вообще-то, терпеть не может военных. . .

— Я помню тебя в кителе, — сказала Мария Ефимовна. — И хомутики на плечах от погон. Спороть тебе недосуг было. Я их спорола. Ты большим офицером был?

— Совсем маленьким, Ефимовна.

— Ты молодым строгий был. Я тебя даже боялась.

Она мне льстила. Она знала, что я хочу быть строгим, хотя плохо способен к этому. Это потому, что мой дух ленив. Он не терпит напряжений. Идеал моего духа — Обломов. Другое дело, что Обломов нам только снится.

— Как Ваську-то на Диксоне выгнал! Я его до сей поры помню и жалею. Не встречал больше?

— Нет.

Атлантический океан под нами вздувался, притапливал мели, вода теряла зелень, синела — шел прилив.

— Скоро ты будешь дома, — сказала Ефимовна. — Может, успеете к Новому году?

— Вряд ли успеем.

— Двуличный ты человек, — сказала Ефимовна. — И я двуличная. В море хочешь на берег. На берегу хочешь скорее в море.

— Становишься философом, — сказал я. — Повторяешь старые истины. Все мы амфибии.

Несколько недель назад я думал об этом на противоположном берегу Атлантики, на горе Эль-Серро в Уругвае, возле старинной пушки, колеса которой погрузились в землю, лафет растрескался, а на дульном срезе росла ромашка.

Я стоял над таким же обрывом. Внизу канал Интермедно и проход Банко-Чико вели к Буэнос-Айресу кораблики величиной с муху. Кораблики-мухи оставляли за собой медленно расходящиеся веера кильватерного следа. Была тишина. Штиль. Ясное, четкое, но не палящее солнце. Пальмы кивали на величие океанских пространств равнодушно, привычно. Бараны, белые, кудрявые, как бороды древнегреческих философов, бродили вокруг по скалам. С ними вместе карабкались по скалам белые лошади. Белое живое — среди океанской сини и красных цветов незнакомых кустарников. И надо всем — маяк на вершине Эль-Серро.

Белые лошади на уругвайских скалах, белый скелет кита на желтом берегу Анголы, из белого камня кресты на черных берегах Исландии, белые молчаливые фрегаты возле Огненной земли...

Проходят строки волн
По летящей вска...

Я давно свыкся с мыслью, что мы в некотором смысле ведем двойной образ жизни и являемся не более сухопутными, чем морскими существами. Это мысль Страбона. Ее надо понимать так же широко, как слова Эйнштейна: «Все начинается со звезд».

Если не будете специально следить признаки амфибийности вокруг, не заметите их. И тогда мои рассужде-

ния покажутся домыслами мариниста. Но попробуйте искать океан вокруг себя — и найдете даже в Омске. Конечно, искать надо тщательно. Как средней известности писатель ищет в печати свою фамилию.

— Викторыч, у меня к тебе просьба... — тихонько сказала Ефимовна и даже как-то засмушалась.

— Давай.

— Напиши про Степаныча рассказ, а? Как он всю жизнь долги отдавал, а?

— Честно: роман у тебя со Степанычем был?

— Ага, Викторыч.

— А может, выдумываешь?

— А может, и выдумываю. Все равно напиши про него. Если не рассказ, так сказку, ладно?

— Ефимовна, мы с тобой лучше сгромаем кино про Верку, Митьку и Витьку. Кучу денег заработаем. И домик в Стрельне купим.

— Лучше про Степаныча, Викторыч...

Вечером мы отошли на рейд Дакара.

Утром «Литва» снялась на Рио.

Я смотрел из окна каюты в бинокль и углядел Ефимовну. Она на променад-деке стояла и выглядывала меня. На уходящий в прошлое Дакар ей наплевать было.

Среди белых роб матросов-пассажиров Ефимовна четко выделялась черным платьем. Сложенным зонтиком она защищала глаза от солнечного и океанского блеска. И ничем в нашу сторону не махала. Старая морячка знала, как мало шансов увидеть на другом судне товарища за считанные минуты расхождения. Товарищ или спит, или ест, или на вахте, или играет в «шиш-беш».

Я пожелал кастильянше спокойного рейса, и чтобы коридорные не рвали простыни на тряпки, и чтобы старпом вовремя составил акт на списание прожженных сигаретами пассажиров наволочек.

Прощай, моя старая гевель, как называют здесь, на старой африканской земле, хранительниц традиций, тех традиций, которые существуют только устно, как существуют у нас поваренные советы по приготовлению какой-нибудь царской пасхи. Прощай, моя старинная подруга, к простым словам твоим, составительница

родословных безвестных людей, наверное, иногда было бы так полезно прислушиваться королям. . .

«Литва» пробурлила мимо ровный кильватерный след и скоро стала бликом среди других океанских бликов. И слова моей прощальной тирады улетели вслед за ней. И где-то там упали в волны.

Первый, кто найдет их, попадет в рай, — так заканчивают сенегальцы свои сказки.

НАШ КОК ВАСЯ

(Из книги «Камни под водой»)

После демобилизации из Военно-морских сил я работал в экспедиции по перегону рыболовных судов на Дальний Восток через арктические моря. И вот принимал однажды в должности капитана малый рыболовный сейнер на судостроительном заводе в Петрозаводске.

Был 1956 год. Неразбериха в экспедиции царила страшная. Дизельное топливо, например, которое переправляло нам рыболовное министерство, захватила себе Карело-Финская республика и отдала сельскому хозяйству: их тракторам пахать было не на чем; теплые обмундирование доставали чуть ли не в Одессе. Словом, то одно, то другое, то третье...

Голова кругом идет, и очень ругаться хочется. А тут еще кока у нас нет, и приходится водить команду несколько раз в день на берег, в столовую.

Этим всем и воспользовался старший помощник, чтобы уговорить меня взять в рейс коком того беспалого Ваську.

— Кок, сами знаете, сегодня вещь дефицитная, — сказал мне старпом. — Кока надо брать за жабру и тащить на пароход. А вы отказываетесь. Нельзя таким разборчивым быть, товарищ капитан. Всякий дефицит всегда за жабру хватать надо.

Старпом у меня был хороший. Молодой, правда, и не очень грамотный, но умение хватать вовремя развито в нем было чрезвычайно. Помню, когда мы уже пришли в Беломорск, чиф (так на морском жаргоне зовут старшего помощника) однажды ночью три автомобильных покрышки где-то стащил. Из таких покрышек самые хорошие кранцы получаются, а кранцев на судне у нас не доставало.

Заботливый был старпом. Тут ничего не скажешь. Ему за эту заботливость и «мешок завязали» накрепко. Да еще грубоват был, на глотку очень сильный. Матросы между собой звали старпома горлопаном.

Вот он мне и сказал, что этого Ваську надо брать за жабру, пока другие этого не сделали. Я объясняю Василию Михайловичу, что кок больно молодой и никогда не плавал в море. К тому же уголовник — год в тюрьме просидел. Совпадение у него еще такое нехорошее: на руке нет двух пальцев, а фамилия Беспалов.

Старпом ударил себя кулаком в грудь и говорит:

— То, что Беспалов, это ничего. Его Васей зовут. Тезка он мой. А это что-нибудь да значит. Мальчишка? Да. Против факта не попрешь. Но уже в три геологические экспедиции съездил. Желание работать ну прямо-таки крупными буквами у него на морде написано. Боевой, в общем, парень. А в тюрьму по неопытности попал и молодости. В цирке был как-то. В первом ряду сидел. А на манеже — тигры. У одного хвост из клетки высунулся и вот по опилкам извивается. Вася за хвост ухватил, на руку его намотал и ждет: что дальше будет? Тигр сперва удивился. Потом стал на свою укротительницу зубами щелкать. А Вася все держит. Скандал получился. Васю за хулиганство и уекли на годик. Интересный он парень. И характер в нем есть, как видите...

Ну что тут скажешь? Действительно, симпатичный вроде парень.

Вызвал я его к себе в каюту для обстоятельного разговора.

Входит парнишка в замызганной спецовке, смущается, переступает рваными ботинками и старается не смотреть мне в глаза.

— Сколько у тебя, морской бродяга, классов? И какова твоя специальная подготовка?

— Да я еще не морской бродяга. Хочу только. А классов чуть меньше пяти.

— Что ж так мало?

— Не удалось у меня с учебой, — говорит. И впервые мне в глаза посмотрел. Открытый взгляд, чистый. — Батьку, — говорит, — немцы убили. Матка состарилась чего-то рано очень. И все болеет, болеет. Хворь из нее вовсе не уходит лет уже десять, как война случилась.

Сестренка зато у меня уже в седьмой класс ходит. А я вот подрабатываю. Давно уже подрабатываю.

Ну, я, как это начальству в таких случаях и положено, говорю, что ученье — свет, а неученье — тьма, и надо всем учиться.

Он сразу согласился, что это правильно, и стал про-
сить:

— Я учиться когда-нибудь буду. А пока вы меня на работу примите. Как вернусь с вашего плавания, может, сразу куда-нибудь и учиться пойду — на курсы какие-нибудь. Возьмите меня. Возьмите в море.

— Ну, а пальцы свои где оставил? — спрашиваю.

Он вздохнул, потеревил вихры, потом махнул рукой: мол, была не была.

— Проиграл, — говорит, — в карты.

— Так-так. Это уже в колоннии, что ли?

— Там. Из-за фамилии. Чтобы в соответствие привести. Заставили урки.

— Зачем же ты, Вася, тигра за хвост трогал? Нехорошо ведь это. Аморально как-то.

— Трудно мне вам рассказать, — говорит Вася. — Не умею я хорошо рассказывать.

— Нет, — требую, — сядь вот сюда на диванчик и съясни. Мне очень интересно знать.

Вася сел, расстегнул воротник. Я дал ему папироску.

— Скучно мне тогда было как-то так, знаете. Скучно, товарищ капитан. Вот и все.

— Как так: все?

— Ну, вернешься из экспедиции домой. А там все скучно так, кисло как-то. Матка болеет. Ругает, что денег мало присылал, что непутевый я у нее народился. Верка все клянчит чего-нибудь. Ребята-дружки поразьехали или учатся. Отстал я от них, отвык. А учиться... ну не лезет ничего в башку, товарищ капитан. И получается, будто кто окошко в комнате заколотил. Вот я и... Получилось как-то так...

— Все понятно, — говорю я. — А теперь отвечай мне честно. Значит, как вышел ты из тюрьмы, тебя на прежнюю работу не взяли? Вот ты на северный перегон и подался. Здесь, мол, всех берут, люди нужны. Так?

— Так, товарищ капитан. Они — геологи мои — алмаз ищут. Секретное это дело. И не берут меня. Мораль-

но я разложился, — так мне объяснили. А я хочу путешествовать. Я с детства хочу путешествовать.

— Готовить-то умеешь?

— Умею я, товарищ капитан. Очень даже хорошо готовлю, — сказал Вася быстро и убедительно. — И щи, и кашу, и лепешки.

Вечером я стоял на палубе, глядел на онежские сумерки и думал о том, что до отхода остается двое суток. Впереди длинные переходы, трудное плавание во льдах, а дух у меня уже не тот, чтобы всему этому радоваться. Я и не заметил, как рядом очутился наш новый кок. Он стоял в той же позе, что и я — нога на кнехте, локти на леере, — и тоже смотрел, как сгущаются над водой сумерки. Не люблю я смотреть на такие вещи с кем-нибудь вместе.

— Товарищ капитан, у меня труба дымит, — сказал мой новый кок и сплюнул за борт.

— Ну, — сказал я, — и что?

— Дымит у меня труба, товарищ капитан.

— Наверное, надо прочистить.

— А и верно! — почему-то обрадовался кок и поддернул свои новые синие штаны. Старпом уже выдал ему робу.

Я ушел на берег и вернулся поздно. Там от города до судостроительного завода километров пять. Автобус не ходил: весенняя грязь по колено. Пришлось пешком. Ботинки после этого похода можно было в местный краеведческий музей ставить.

Пробираюсь я от трапа к себе в каюту мимо камбуза, слышу — там железо звякает. Вот, думаю, прав старпом: молодой кок, но старательный. Трубу чистит даже ночью.

Ранним утром кто-то стал дергать меня за ногу. Открыл глаза и вижу, что это наш судовой механик.

— Что вы, — говорю, — спятили, что ли, механик?

— Полундра, — отвечает. — Разобрал ваш угловник весь пароход на части. И клотик с мачты отвинтил уже, и киль теперь начинает из шпангоутов выбивать.

— Вы, Роман Иванович, в своем уме?

— В своем. В своем собственном. — И смотрит на меня, как тюлень на белого медведя: с тоской и злобой. Надо сказать, Роман Иванович был очень недоволен своей судьбой. Он думал, что по солидным годам, по солидному опыту его на какой-нибудь большой пароход назна-

чат, а его засунули ко мне на сейнеришко. Вот он и злился на все вокруг и раздувал все неполадки. Как говорят — нездорово их преувеличивал. Ну, думаю, и сейчас преувеличивает. Не мог мальчишка за одну ночь весь сейнер разобрать на части. Невозможно это.

— Разобрал ваш новый кок пароход на части, на мелкие кусочки, — повторяет механик со злорадством. — Из водопроводной трубы на камбузе теперь бьет артезианский фонтан!

— Воткните, — говорю, — в артезианский фонтан пробку и не мешайте мне отдыхать. Ваше это дело — забивать пробки, а не мое.

— Конечно! Ваше-то только их выковыривать.

— Это уж намек какой-то нехороший. Идите, забейте пробку, а днем мы еще побеседуем. Сами вы подписывали приемочный акт, сами принимали такой пароход, который за два часа мальчишка может на части разобрать.

Тут механик еще посердился немного и ушел. А я прислушался — и, действительно, вдруг слышу: шумит где-то вода, сильно так шумит.

Еще потонем прямо здесь, у причала, думаю. Обидно как-то: прямо у причала потонуть в грязной воде.

Быстренько встал, оделся, прихожу на камбуз. А там дымовые и всякие другие трубы на полу лежат. Только одна плита и цела. На плите кок сидит. Увидел меня и облизывается от возбуждения.

— А вы, — говорит, — товарищ капитан, неправы были. Вовсе даже и не надо было трубу чистить. Я теперь, как разобрал все, то и понял. Это просто наверху крышка есть в трубе. Чтоб дождь и снег не попадал. Так она, эта крышка, наполовину прикрыта была. Вот и дым.

— Какого же лешего ты другие трубы трогал? — спрашиваю я у кока.

— Раньше-то, в поле, все проще было, — оправдывается он. — Там костерчик разведешь — и все тут. А здесь устройство. Я его изучал на практике.

В это время появился старпом.

— Войдите, — просит, — в коковое положение, не сердитесь на него. Я знаю, что вам давеча механик наговорил про Васюку. А я вам скажу, что выхлопные газы из главного дизеля вместо атмосферы почему-то на камбуз попадают, так это механику ничего...

И пошел-поехал на Романа Ивановича говорить всякие штуки. Не любили они друг друга почему-то.

В общем, пришлось до самого выхода в море камбуз отремонтировать и команду кормить по-прежнему на берегу в столовой.

А Васька, чтобы показать, как он старается, все сложные обменные комбинации с продуктами устраивал. Мы последние дни ходили от причала к причалу: то воду брали, то топливо, то балласт. И приходилось стоять рядом с разными судами. Вот Вася это и использовал. Еще швартовые не закрепили, а уже слышно:

— Эгей, дядя! Ползи сюда поближе! — кричал наш кок соседнему коку. — Ползи, ползи сюда. Успеешь миски помыть.

— Чего ты гавкаешь, щенок? — отзывался какой-нибудь поседевший над кастрюлями повар. — Чего ты, щенок, гавкаешь?

— Дядь, ты случаем раньше в ресторане не работал?

— Да, а что? — спрашивал повар и, вытирая руки, спешил к борту. Ибо каждый корабельный кок работал когда-нибудь в первом классе ресторана и любит вспомнить об этом.

— А в каком ресторане, дядя?

— В «Приморском» во Владивостоке.

— Ух ты! В «Приморском»! Это хорошо. А томатный соус у тебя есть?

— Есть, а что?

— Давай на томатный сок менять?

Кругом собирались матросы. Они у меня были совсем молодые — курсанты из средней мореходки, практиканты. Приходил и старпом. Внимательно (как бы не проделшевил чего кок) слушал, потирал небритые щеки. Василий Михайлович твердо верил, что небритые мужчины нравятся девушкам больше. Правда, в море, где девушек нет совсем, он еще реже беспокоил себя бритвой.

В перебранке и торговле проходил час. Потом Вася тащил к себе на камбуз бутылку томатного соуса и от радости напевал что-нибудь.

Занятный он был парень, Васька. И пел задушевно. Особенно удачно у него получалось: «Я — цыганский барон! У меня много жен...» Но что бы Вася ни пел, песня

ему в работе не помогала. То клейстер из фигурных макарон у нас на обед, то тюрю из сушеной картошки.

Он очень старался приготовить что-нибудь поприличнее, наш новый кок, часто показывал всем свое свидетельство об окончании поварской школы в Ленинграде. Мне даже стало казаться, будто он не кончал ее. Плохо еще было, что Вася не имел привычки к морю, и когда у Святого Носа прихватило нас хорошим штормом, так даже клейстер из фигурных макарон он не смог приготовить. То у него все сгорит, то перевернется, то плитку чаем зальет, и угли уже не раздуты. Двое суток мы только консервы и сухой хлеб ели. Сам же Вася вообще ничего не мог взять в рот. Тяжело он переносил море — едва ноги передвигал. Но моряк мог бы из него получиться. Душевные данные для этого были у Васи: в койку он не лез — прятаться под одеяло от своей слабости не хотел. Чуть живой ползет по трапу в кубрик к матросам.

— Ребята, — хрипит, — а что я вспомнил сейчас! Очень даже веселая история. Посмеетесь, может быть.

В кубрике выбрасывает от качки ящики из рундуков и мигает свет. А Вася уцепится за поручни на трапе и рассказывает слабым голосом:

— Вот был у нас в экспедиции один парень. Двухлетнего оленя сшибал с ног. Зайдет с бока, как фуганет оленю плевком в морду! Тот брык — и с копыт долой. И не шевелится больше. Это, значит, нервный шок называется. Здорово, ребята? Или вот еще случай. . .

Ну, ребята и заулыбаются. Будто не было бессонных ночей, промокших сапог и сырых простынь на койках. А пока Васька про оленя рассказывает, у него в кастрюльках только пепел остается.

Но ребята не злились на него за плохой харч. Любили его ребята. Не знаю за что, а полюбили. И прощали многое — и сухомятку, и тюрю из сушеной картошки.

Да, так вот. Поддаваться морю Вася не хотел. Боролся со слабостью. Дым из камбузной трубы задувало ко мне на мостик и в самую непогоду. Но одного дыма мало. Дымом не пообедаешь. Механик делал мне по десять сцен на дню.

— Что ваш кок коптит? Только пачкает небо этот уголовник. А я есть хочу! Я в том уже возрасте, когда

надо питаться регулярно. Мне по договору нормальная пища положена, а где она? Где пища, я вас спрашиваю?

— Вы же видите, — растолковываю ему, — кок прилагает усилия. А это и есть главное. Кок даже по ночам не выходит из камбуза.

Вася действительно по ночам в камбузе сидел. Это однажды сослужило нам хорошую службу.

Я еще на стоянке механику говорил, что надо грузовую стрелу смайнить до самого трюма и закрепить в лежачем положении намертво. А Роман Иванович уперся и говорит: «Нет!» Показывает мне заводской чертеж, на котором походное положение стрелы указано под сорок пять градусов к мачте.

— Если заводские инженеры так решили — значит, точно, — говорил мне механик: он авторитетам очень сильно верил.

Ну вот, когда у Святого прихватил нас норд-ост, то оттяжки у стрелы не выдержали и лопнули. Тяжелый стальной блок стал с борта на борт по воздуху летать, и вся стрела тоже. Вася той ночью сидел у себя в камбузе и все пытался сварить что-нибудь. Вдруг по стенке камбуза как ахнет этот блок. От удара краска и пробковая изоляция посыпались Васе за шиворот. Васек чувствует: случилось что-то неладное. Выбрался из камбуза. Ночь мокрым ветром насквозь полна. Пена через низкий фальшборт хлещет. Волна с полубака накатом идет по палубе. Тучи над головой летят так быстро, будто ими из пушки выстрелили. Свист и грохот вокруг. В такую кутерьму и бывалый матрос не сразу поймет, в чем дело. Но Вася понял. Подскочил к машинному люку — он ближе всего от камбуза расположен, — крикнул механику, что стрелу сорвало, а сам полез к мачте. Как его блок не угробил — это только Вася да тот блок знают.

Механик потом рассказывал, что, когда он вылез из машинного отделения, Вася уже по стреле карабкался. А стрела с борта на борт перекадывалась, и от креплений оттяжечных осталось одно только воспоминание.

— Щенок беспалый! — заорал Роман Иванович. — С ума ты съехал, что ли? Сейчас за борт улетишь, стерва!

А Вася и ответить механику на грубые слова ничего не мог — так Васе на стреле трудно держаться было. Добрался он до конца стрелы, съехал по тросу на блок, об-

хватил его. Тут и я вышел на палубу. Вижу, летает по воздуху наш новый кок и время от времени кричит что-то совсем вроде нецензурное. А механик все хочет Васю за ногу ухватить, но никак это у него не получается.

— Вот видите, — кричу я механику, — неправы вы, Роман Иванович. Нужно было опускать стрелу до самого низа, а потом уже крепить. Я вам сколько раз говорил об этом! А вы все заводским авторитетам поклоняетесь...

Потом мы поймали кока за ноги, на блок набросили петлю и стрелу закрепили.

Механик после этого случая еще больше настроился против Васи. Будто это кок был виноват в том, что оттяжки у стрелы не выдержали и Роман Иванович оказался неправ.

Вскоре кончился у нас запас печеного хлеба, который мы взяли в Беломорске, и надо было Васе печь новый хлеб. Но к этому делу кок отнесся как-то странно.

— Может, вместо хлебушка лучше жарить лепешки? — спрашивал он у старпом. Старпом к тому времени уже начал косо поглядывать на Васю. За продукты отвечал он, старпом. А перерасход продуктов уже большой. В непогоду кормили команду консервами. По тридцать рублей старыми деньгами в день обходилась эта пища на каждого человека, — консервы вещь дорогая. А положен арктический паек по двенадцать рублей. Естественно, что насторожился мой старпом.

— Какне, — говорит, — лепешки? Ты что, Беспалов, твердо решил оставить меня при расчете совсем без монеты? На лепешки ведь надо уйму масла и все прочее. А нам еще три месяца в морях болтаться. Пеки хлеб. И не шути больше так. Чтобы выдал завтра первую плавку, и все тут. А то вот, — и кулак показывает.

На следующий день приходит Вася ко мне на мостик. Ветер начал стихать, море успокаиваться. Но Вася стоит и весь дрожит.

— Товарищ капитан, невозможно сейчас хлебушек печь. Поверьте мне, товарищ капитан. Я же так... так стараюсь... Я... Я все лучше хочу как... А в духовке кирпичи повываливались от шторма этого, и горит хлебушек, как только его туда сунешь. А старпом «пеки» говорит, и все тут.

— Вася, давай честно, ты вообще-то умеешь выделывать хлеб?

Вася стоит, беспалую руку сует под мышку, греет. Лицо у него серое, мешки под глазами набухли и отливают голубиным пером.

— Умею, — говорит, — делать хлеб. — А сам смотрит куда-то в небо. И такую тоску я почувствовал в нем тогда. — Нужно, — говорит, — глины огнеупорной, чтобы замазать кирпичи обратно.

— Ну, ладно, — отвечаю. — Придем вот скоро на остров Вайгач. Станем в бухте Варнека. Там достанем глины. Вечером к земле подойдем. Это для моряков всегда большое событие. Вот и укрась его вкусным ужином. Доставь ребятам маленькую радость. Работа-то в море, сам видишь, трудная, мокрая, грязная.

— Если б я... если бы я, товарищ капитан... — Но не договорил тогда Вася, вздохнул и полез с мостика вниз.

Пришли на Вайгач. Я стал под борт к флагманскому судну, договорился насчет бани для команды, отправил людей за глиной для духовки, а коку приказал идти готовить на камбуз флагмана, чтобы не терять времени.

За ужином собралась вся моя команда. После бани все чистые, довольные. Один трудный этап пути уже остался за кормой.

Вася занял на другом судне хорошего хлеба. На следующей стоянке — у Диксона — обещал отдать. И сам ужин у Васи получился просто великолепный. Сухую картошку он, видно, пропустил через мясорубку и напек из нее то ли котлетки, то ли пирожки. И залил все это томатным соусом. Красиво выглядит в мисках и вкусно. Сварил еще уху из трески с клецками и кисель на третье.

Шумят ребята мои, радуются. Наконец-то, мол, Васька проявил свои таланты, это ему морская встряска мозги поставила на место.

И хотя за иллюминатором хмурое небо и дождь лупит, но у нас в кают-компании хорошо, весело. За тем ужином вдруг почувствовал я, что есть у меня на сейнере команда. Не просто люди разные — мотористы, матросы, — а команда. Сбило их, сшило, спаяло море. Радостное такое чувство от этого. Даже механик размяк и рассказал веселую историю про одного своего знакомого, который якобы написал труд о родимых пятнах и их роли

в жизни красивой женщины и хотел получить за этот труд звание кандидата наук.

Все смеялись. Один кок мрачный ходил. Только спрашивал у всех: «Добавить? Добавить?»

Через день выбрали якоря и двинулись дальше. Только прошли Югорский Шар — и сразу во льды попали. Полоса тяжелых льдов миль в сорок. Ледокола с нами еще не было, и мы в этих льдах мучились целые сутки. Промерз я, стоя на мостике, изнервничался.

«... Бьют нас льды, а Вася рад. Во льдах не качает, волны нет. Печку отремонтировали на Вайгаче, и Вася печет хлеб. И все мы, как на его возню посмотрим, так сердцем теплеем, хотя вокруг и тяжелые льды. Однако старпом время от времени подбадривает кока.

— О-кэй! — кричит. — О-кэй, Васек, нажаривай хлебушек!

Старпом любил беседовать по-английски.

Вышли наконец на чистую воду. Я спустился с мостика, вымылся и — обедать. В кают-компании все готово к обеду, и хлеб на деревянном подносе лежит посреди стола. Я здорово хотел есть. Ну и, не дожидаясь супа, отломил краюшку. А механик сидит против меня и смотрит очень внимательно.

От той краюшки у меня глаза полезли на лоб. Явственно я это почувствовал.

— Что, капитан, откушали хлебца? — спрашивает меня механик.

— Откушал, Роман Иванович, — шепотом отвечаю я.

— И я, — говорит, — тоже. — И задышал часто-часто.

— Не раскисайте, — говорю, — товарищ старший механик. Моряк вы или нет?

Механик тыльной стороной ладони вытирает со лба пот.

— Я, — бормочет, — умру сейчас.

— Вам, — говорю, — видно, совсем уже плохо, Роман Иванович, раз вы до таких мыслей начали подниматься.

Потом он немного пришел в себя, открыл глаза, а в глазах у него люта я ненависть, и говорит:

— Убью я его. Убью Ваську.

А Вася суп несет и, на свою беду, робко так, но все же спрашивает про хлеб: как, мол, ничего?

Роман Иванович взвизгнул, схватил ложку и запустил

ее в кока. Васек присел на корточки, поставил суп на пол и — шмыг в двери.

Стармеха матросы оттащили в каюту, кажется, на руках. Он и говорить ничего не мог больше — икота на него напала.

Мне не до обеда стало. Пошел к себе и лег.

Поспал немножко и проснулся, как всегда просыпаюсь — внезапно, будто лопнула в койке пружина и воткнулась в спину.

Плескало за бортом Карское море. От воды несло холодом. Я побродил по палубе. Металл кое-где уже порыжел от ржавчины. В ватервейсе у камбуза валялось несколько щепок и пустая консервная банка. Я толкнул дверь и заглянул в камбуз.

Вася сидел на полене возле плиты и смотрел на огонь. Привязанные проволочками кастрюли висели на стенках, покачивались. Пахло чадом и газами от дизеля.

— Я не умею печь хлебушек, — сказал Вася. — И ужин на Вайгаче не я готовил, а Семен Семенович с флагамена. Я готовить плохо умею. И свидетельство поварское у меня липовое. Ребята сделали.

— Так мне и казалось, — сказал я.

— Вы меня на Диксоне выгоните? — спросил Вася и стал подгрести к плите мусор.

— Если замена будет, — сказал я.

— Может, я быстренько научусь, а?

— Не знаю, — сказал я. — Это ведь не так уж просто.

— Да. Не так уж просто, — повторил Вася тихо. — Как ребята тогда котлеткам картофельным радовались... И вы радовались.

— Радовался, но не только котлеткам.

— Хорошо, когда люди радуются, — пробормотал Вася. — Или смеются.

— Это так, — сказал я.

— Может, ребята на меня не очень сердятся, а?

— Дружище Вася, нам еще долг путь. Может стать, кто-нибудь и не вернется из него. Он трудный, наш путь. Матросы не понимают этого. Они еще слишком молоды. Я понимаю за них. Людям придется много работать. Людям будет трудно там, впереди, во льдах. Их надо хорошо кормить. Надо быть повариным асом, чтобы готовить в этих условиях вкусную пищу.

— Я понимаю, — сказал Вася и зачем-то потрогал пальцем подошву ботинка.

— Ты учись. На будущий год найди меня в Ленинграде. Я тебя в другой рейс возьму. Слышишь? Учись обязательно.

— Спасибо, спасибо. И простите меня. А коком я стану. Тут десять классов иметь не обязательно. Может, таким образом и утрясется моя судьба. Хорошо тогда за ужином было... И плавать буду, путешествовать...

На Диксоне старпом нашел другого повара — Марию Ефимовну Норкину. Была она тогда дамой полной. Двух Вась из Ефимовны в те времена можно было бы выкроить запросто.

— Хватка у нее есть, — сказал мне старпом. — Это точно. Я пробовал ее потрогать, так она меня такхватила! До сих пор ухо потрескивает. Морячина насквозь соленая. В сорок пятом «Рылеев» у Борнхольма подорвался на mine. Так она на нем буфетчицей плавала. В Швецию их вельбот вынесло. Опытная баба...

— Я те дам «баба»! — сказала наш новый кок, перелезая через борт. — Я те дам «баба», заяц нечесаный!

Стармех, увидев нового кока и услышав ее первую тираду, заулыбался радостно и даже перекрестился, а потом сказал мне тишком:

— Эх, Виктор Викторович! Сколько мне ваш Васька крови и желудочного сока испортил, подлец такой! Желудок не крематорий, а? Огнеупорной глиной вместо хлеба кормил. Да. Вредитель он закоренелый. Ведь и трубы разобрал тогда, чтобы не выгнали его еще на стоянке. Да. Я вас, Виктор Викторович, попрошу: штаны я ему решил подарить. Хорошие они еще совсем. Великолепные просто штаны. И китель тоже. А то костюм у него, так сказать, слабый. Ехать-то отсюда далеко. Вообще, молодой этот Васька и неустроенный какой-то. Так вы вот передайте ему, пожалуйста...

Тоскливо пасмурное небо в Арктике, будь оно неладно. Кажется, никогда больше солнце не пробьется к земле. Тучи над Диксоном, как серая, мокрая вата, льнут к самой воде, задевают скалы.

Ледокол тремя сиплыми гудками позвал нас за собой

и медленно побрел к выходу из бухты. Черный дым из труб ледокола стлался над водой.

Из трубы нашего камбуза дым шел тоже.

Вася стоял на краю причала. Плакал. Фанерный чемоданчик он отнес подальше от воды. Холодный ветер порывами задувал с моря. Чемоданчик под напором ветра покачивался. Вася плакал и локтем закрывал лицо.

Вся моя команда топталась вдоль борта. Механик выглядывал из машинного люка, морщился.

— Отдавайте скорее швартовы, старпом! — приказал я. — Отдавайте их скорее, черт вас всех побори!

ПОД ВОЙ ТРЕХГЛАЗЫХ ХОБОТОВЫХ

Древние греки очень ценили пение цикад, и, как известно, Анакреон написал оду в честь цикад.

Словарь Брокгауза и Ефрона

Из Дакара мы снялись на Касабланку. Был ранний вечер. Штиль. Заходящее солнце вдавливается в океан, прогибает огромной пылающей тяжестью горизонт.

Золото в голубом.

Остров Горе. Он действительно пропитан горем черных рабов — здесь был пересыльный пункт невольников, но название острова ничего общего с нашим «горем» не имеет. Просто одинаково звучит.

Ночью усиливающийся ветер. Какая-то непонятная, чуточку сумасшедшая радиограмма от матери. Уже запредельно она соскучилась. «Соскучилась» не то слово. Когда старая женщина, думая о ежедневной возможности смерти, ждет сына после семи месяцев рейса — это уже не скука.

Дурные телепатические подергивания души. Страх. Нервы. Вдруг заметил в передней грани ковша Большой Медведицы что-то раздражающее — третью звезду! Что за чертовщина? Долго тряс головой, зажмурив глаза, как лошадь, у которой застряла в глотке краюха черствого хлеба. Наконец искоса опять глянул на Медведицу. Третья звезда сместилась! Спутник! Идет по меридиану прямым курсом на Полярную. Медленная деловитая звездочка. Я выругался. И понял, что путешествие для меня продолжается только внешне. Внутренне оно закончилось. И потому бесит даже невинный спутник. И не хочется в Касабланку.

После вахты видел очередной сон. Третий штурман Женя — скрытый юморист, осторожный выгадыватель, тщательный судоводитель, уклончивый тип — ворует

где-то старинные книги и приносит их мне штука за штукой в подарок. И я знаю, что дурно брать ворованное, но нет сил не брать. Отчетливо запомнились названия книг и их внешний вид: «Воспоминания моряка о старой Москве», сборник на старорусском о гибели судов, огромные фолианты (коричневые) с акварелями шедевров мировой архитектуры. И на всех книгах: «Издание Присыпина». Причем этот неведомый Присыпин только что помер, а его книжный склад и грабят разные Женн. В том же сне я ел черешню. Цветущий сад, черешня, я хожу между деревьев и рву черешню. . . Жадность к книгам была во сне нездоровая, трясущаяся, дух перехватывающая, подленькая. Откуда вдруг такое? Долго думал и вспоминал разное мелочное недавнее. Вероятно, такое книжное приснилось по ассоциации с Базуновым. Был такой книгоиздатель — мой дальний и древний родственник. На его фамилию натолкнулся недавно в примечаниях к Достоевскому.

Вышли из тропиков, быстро холодеет.

Вечером приказ повернуть на сто восемьдесят, идти обратно в Дакар, там встретиться с теплоходом «Ладогалес», дать ему топлива. Мы уже в тысяче миль от Дакара. Туда тысячу, обратно тысячу. Во сколько обойдется тонна топлива?

Противно возвращаться. Опять вытаскиваешь из нижнего ящика штурманского стола отработанные карты, стираешь плохой резинкой старые курсы, прокладываешь новые по изношенной бумаге. Как бы аккуратно ни относиться к карте, она даже после одной-единственной прокладки теряет невинность, перестает излучать девическое обаяние. А у наших карт на бородавках уже седые волоски выросли.

Опять отмель Арген, опять с калейдоскопической быстротой мелькают с левого борта названия африканских государств. Много их. Опять остров Горе и мыс Зеленый.

Двадцать восьмого декабря подошли к Дакару. Территориальные воды Сенегала шесть миль. Стали на внешнем рейде в семи милях от береговой черты, вне зоны досягаемости властей.

Ждем «Ладогалес».

Ребята из экспедиции вылезли на палубу — повальное загорание, свальный грех с солнцем. Часами ползают вокруг надстроек, прячась от резкого ветерка с океана, и жарятся. За полгода все загорели, конечно. Но нормально загорели, по-человечески. А надо снегшибательно. Зачем? Чтобы удивлять на январских слякотно-снежных улицах бледных ленинградцев. Такими предвкушениями полны души научных сотрудников, этим они и живы.

Умный Мериме заметил, что игра в домино — прообраз и школа мелкой политики. Теперь ясно, почему «Козел» — морская игра. Без мелкой политики в экипаже не просуществуешь. Но у нас уже и в «козла» давно не играют: слишком интеллектуально, утомляет. Из развлечений только «шиш-беш» осталась. Азартная штука, азиатская.

Перед ночной вахтой проснулся от скрипа, скрежета и ора цикад. Они верещали SOS, заплутавшись в стальном лабиринте судна. Отвратительные жуки-жужелицы. Они умудрились проникнуть в каюту сквозь задраенное стекло и запертые двери. Одного я обнаружил быстро. Он сидел возле настольной лампочки. Лампочка создавала жуку иллюзию самого жаркого времени дня, хотя было двадцать три часа пятьдесят минут. Этого иллюзиониста я накрыл полотенцем и, вздрагивая от страха и отвращения, вытряхнул в коридор. Отвратительный жук с большой головой и огромными глазами. Он бултыхался в полотенце, новорожденный Геракл, а не насекомое! На обнаружение и эвакуацию второго времени оставалось мало. Он хитро замаскировался или замимикрировался. И поверхностный обыск не дал ничего. А я уже опоздал на вахту минуты на четыре — редкий для меня случай.

Надо было еще обязательно сполоснуть физиономию. После вечернего сна телесной и духовной свежести в моряке не остается ни на грош.

Склоняясь над умывальником, я буквально оглох от близкого скрипа, скрежета и ора цикады. Самец сидел в шпигате умывальника! Оттуда торчали его усы. Вытаскивать мокрого жука из шпигата было слишком тяжело моим интеллигентным нервам. Кроме того, я признаю только честную игру. Жуку надо было дать возможность доказать свое жизнелюбие, мужество и изво-

ротливость. Я слегка прикрыл шпигат пробкой и оставил течь из крана маленькую струйку воды. Если жук выберется на свободу при таких обстоятельствах, он заслужил право на жизнь — так я решил. И помчался на мостик. Опоздание было уже около шести минут.

— Прости, бога ради, Женя, задержали форсмажорные обстоятельства! — объяснил я третьему штурману.

— Чего такое?

— Цикаду ловил.

— Пролезла в каюту?

— Ага.

Он фыркнул над школьной тетрадкой, в которую заносил очередную туфту под названием «Дневник рейса».

Евгений Николаевич Чернецов вслух фыркал редко. Он был скрытым юмористом. Я обнаружил его юмор в «Дневнике рейса». Среди официального, серьезного, ответственного текста, отражающего нашу работу по обследованию небесных объектов в Южном полушарии, там времени от времени попадались посторонние слова. Например: «На якоре рейда Каргадос. Симпатичной рыбы нет. 08.20. Сменили место якорной стоянки. Рыбы тоже нет». Или: «Снялись из порта Лас-Пальмас в Атлантический океан. Отоварка плохая, но лучше, чем в Гибралтаре».

Евгений Николаевич твердо верил в то, что «Дневник рейса» не будет прочитан ни единым человеком на свете, кроме него самого. Он ошибся. Этот документ хранится в моем письменном столе. За 29.12 отмечено: «Подошел т. х. «Ладогалес». Сдаем излишек топлива. Приняли на борт 10567 сверчков».

Судно кишмя кишело вопящими жуками.

Оказывается, «Ладогалес» вез копру и другие ароматные товары для кондитерской промышленности. Запах кокосов привлек цикад. Они облепили «Ладогалес» на подходе к Дакару. А теперь распределились равномерно между «Ладогалесом» и нами.

Я вышел из штурманской рубки в отвратительном хрусте — цикады гибли под подошвами. Свежепокрашенные спасательные вельботы напоминали арену Колизея, усеянную распятыми христианами. Жуки вlepлялись в непросохшую краску и вопили предсмертные псалмы. Боцман Гри-Гри должен был утром сойти с ума. Ему предстояло шкрябать вельботы и красить по новой.

В ночи под правым крылом мостика хрипло ругался

мой коллега — вахтенный помощник «Ладогалеса»: Я перегнулся через леер и пожелал ему традиционной «спокойной вахты». Он поднял голову и ответил тем же. «Ладогалес» был меньше «Невеля». Их пеленгаторный мостик был ниже нашего крыла.

Приятно стоять вахту, когда рядом другое судно, новые люди, чужие голоса. Даже вой цикад не так ужасен — на миру и смерть красна.

Между бортами-бегемотами копошилась слабая зыбь, поскрипывали кранцы.

Была полночь. Огни Дакара полукольцом охватывали рейд.

Ни коллеге, ни мне нечего было делать. Только коротать время. Нас на несколько часов связали пуповины топливных шлангов.

— Откуда идете? — спросил я коллегу.

Он поднялся на пеленгаторный мостик, чтобы быть ко мне поближе. Мы обменялись сигаретами, изучая лица друг друга, убедились в том, что не встречались раньше, и тихо разговорились.

Они прошли на восток Северным путем и должны были вернуться на запад тоже через Арктику, но ледовая обстановка оказалась тяжелой, дальше Амбарчика они не пробилась, едва успели выбраться за мыс Дежнева. Поработали на востоке, взяли копру в Индонезии и шли домой югом. Устали, конечно. Мастер простыл на Диксоне, когда ездил там на рыбалку. Его скрючило. Спит на горячем песке. Характер у мастера всегда был не ахти, а в скрюченном виде стал еще хуже. Еду ему готовят отдельно, а ест это, отдельно приготовленное, он при всех в кают-компани. И еще кряхтит, хватается за поясницу. . .

Я спросил, не заходили ли они в бухту Варнека, когда двигались на восток. Оказалось, что заходили, стояли там в ожидании ледоколов. Лед в Ю-шаре и Карских Воротах набило ветром по самую завязку. Коллега навестил кладбище Варнека. С моей легкой руки на это кладбище моряки совершают экскурсии, когда торчат на Вайгаче. Кладбище растет не шибко. Пополнилось только ненкой, заморозившей на Ледяном берегу под Бахусом, да ненцем, сгоревшим в собственном доме по-трезвому.

Когда я слушал про Арктику на рейде Дакара, мне

так и мерещился за бортом таинственный шепот вайгачевских ненцев: «Пирта есть? Есть пирта?»

Слова «Амбарчик», «Ю-шар», «мыс Дежнева» вздымали из жизненной дали лохмотья воспоминаний, муть ассоциаций, отработанные настроения.

Но я молчал о них. Штурман с «Ладогалеса» был моложе меня и многого не понял бы, начни я вспоминать при нем далекую правду.

Ничто за мой век так не изменилось по своему духу, как Арктика. Ее одомашнили, как овцу или барана. Укротили, как клодтовских коней. Опошлили, как львов Юсуповского дворца в Крыму.

Арктика была огромной. Теперь она сжалась и продолжает сжиматься, как шагреновая кожа.

Раньше в огромной Арктике все знали друг друга, как жители одной деревеньки.

Семейное чувство, арктическое братство было знакомо даже сезонникам-грузчикам в полярных портах.

Не только Кренкеля знали все, но и Кренкель знал всех.

Казалось, люди плывут или летят не на разных кораблях и самолетиках, а на одном, форштевень которого — мыс Дежнева, корма — остров Вайгач, бухта Варнека, мыс Болванский Нос.

Всегда хвастаюсь северным и арктическим прошлым.

Однажды в Польше, в порту Гданьск, я попал на банкет в честь великого польского праздника. На банкете оказались две пани, дочь и мама, прекраснее которых я не видел даже на далеком острове Маврикий. Я ухаживал, используя опыт Хлестакова и Милого друга, то есть и за той и за другой. Обихаживая полячек, я заострил язык до змеиного жала. И танцевал все танцы, не умея танцевать ни одного. Ни черта не помогало растопить лед в сердцах панночек. И тогда я вспомнил Арктику. Я сообщил дочке, что, если она выйдет за меня замуж, я увезу ее на Северный полюс. Эта пошлятина тоже не сработала. Тогда я поместил на полюсе звероводческую ферму. На ферме я был заведующим. Там мы разводили белых медведей, чтобы предохранить зверей от вредного влияния окружающей среды в век НТР. Белые медведи были ручные. В дни великих праздников мы повязывали белым медведям черные форменные галстуки. . .

Здесь младшая панночка не выдержала и рухнула в мои объятия. И мать повисла у меня на шее. Они обе ради меня готовы были на все. От такой победы моя голова закружилась. И я уронил ее, голову, в клубничное мороженое, в котором и заснул. И снилась мне, естественно, Арктика, айсберги и белые медведи: И все это правда. И я получил воспаление лобных пазух. И не записал даже адреса красавиц. . .

Эту байку я рассказал вахтенному штурману «Ладогалеса» под вой трехглазых хоботовых — у цикад три глаза, и принадлежат они к этому слоновому отряду.

— Н-да, — глубокомысленно сказал коллега. — Если радость на всех одна, на всех и беда одна.

Он имел в виду цикад. Его слова показались мне где-то слышанными. Даже померещилось, что это я сам их когда-то написал или сказал. Но я ошибся. Это слова из песни к кинофильму «Путь к причалу», а написал их Григорий Поженян. Слова послужили основой популярного анекдота, который оказался слишком заквыристым для глаз и ушей одного моего старшего товарища, и потому я его здесь не привожу. Однако именно анекдот дал толчок для воспоминаний о работе над сценарием «Путь к причалу».

СЦЕНАРИСТЫ И РЕЖИССЕРЫ В МОРЕ

Началом киноэпопеи можно считать момент, когда режиссер Георгий Данелия, знаменитый ныне фильмами «Я шагаю по Москве», «Не горюй!», «Тридцать три», «Совсем пропавший», и режиссер Игорь Таланкин, знаменитый ныне фильмами «Чайковский» и «Дневные звезды», отправились вместе со мной в путь к причалу арктической бухты Тикси.

Вернее, в далекий путь отправились тогда только Таланкин и я. Неважно, по каким обстоятельствам, но Гия обострил отношения с бортпроводницей и за минуту до старта покинул самолет полярной авиации в аэропорту Внуково. Конечно, мы могли бы договориться со стюардессой, но гордыня забушевала в режиссерской душе с силой двенадцатибалльного шторма, и он выпал из самолета с высоко поднятой головой, оставив в моем кармане деньги и документы, в багажном отделении вещи и в хвостовом гардеробе теплую полярную одежду из реквизита «Мосфильма».

Было 03.09. 1960 года.

В Москве было жарко.

Мы взлетели. И я увидел внизу на огромной пустыне столичного аэродрома маленькую фигурку в ковбойке. Фигурка не махала нам вслед рукой.

Мы с Таланкиным мрачно молчали, ибо чувствовали себя предателями. Вероятно, нам следовало покинуть борт самолета вместе с Гией.

Мы с Таланкиным как раз работали над сценарием фильма о мужской дружбе. О том, как товарищ спешит к товарищу по первому зову на противоположную сто-

тону планеты. А в нашем собственном поведении явно сквозило некоторое двуличие.

С Внуковым удалось связаться только через сутки с Диксона. Радисты сообщили, что на трассе Великого Северного пути обнаружен странный грузин. Он собирал хлебные огрызки на столах летной столовой то ли в Амдерме, то ли в Воркуте. Но не это потрясло полярников. Их потрясло, что грузин пробирался через Арктику в рубашке.

Обратите внимание: Георгий Николаевич не вернулся домой, чтобы прихватить денюжат и пальтишко. Он продолжал демонстрировать вселенной неукротимую гордыню. Возможно, правда, что короткое возвращение домой и неизбежная встреча с мамой по разным причинам не устраивали молодого, но уже знаменитого режиссера. Отступать он не любит. Он одиноким голодным волком догонял нас.

Уже тогда я понял, что работать над сценарием с Даниелией будет трудно, что он будет держаться за свои точки зрения с цепкостью лемура, который вцепился в кочку.

Мы воссоединились в Тикси.

Аэродром там был далеко от поселка, машину из капитана морского порта было не выбить, к самому прилету Гии мы опоздали, в аэропортовском бараке его не было, и мы уже собрались уезжать, когда выяснилось, что вокруг давно пустого самолета кто-то бегает. Бегал Гия — согревался: снежные заряды налетали с Ледовитого океана.

Он сразу, но сдержанно высказал в наш адрес несколько соображений. Затем замкнулся в себя и в привезенную нами меховую одежду.

07.09. 1960 года на ледокольном пароходе «Леваневский» мы отправились в Восточный сектор Арктики, с целью снабжения самых далеких на этой планете островных полярных станций.

Редкий для меня случай — в рассказе «Путь к началу» у главного героя боцмана Росомахи существовал прототип. Это был мичман Росомахин. Мы плавали с ним на спасателе в 1952—1953 годах. Мы с ним не только плавали, но и тонули 13 января 1953 года, у камней со скупердяйским названием Сундуки в Баренцевом море,

на восточном побережье острова Кильдин, севернее рейда с веселым названием Могильный.

Мы спасали средний рыболовный траулер № 188. Но тень «Варяга» витала над этим траулером. Он спастись не пожелал. Он нормальным утюгом пошел на грунт, как только был сдернут с камней, на которые вылетел.

Аварийная партия разделилась на две неравные части. Одна часть полезла на кормовую надстройку, другая на задирающийся к черным небесам нос — траулер уходил в воду кормой. Я оказался на кормовой надстройке и наблюдал оттуда за волнами, которые заплескивали в дымовую трубу. Рядом висел на отличительном огне мичман Росомахин.

Температура воды — 1°, воздуха — 6°, ветер 5 баллов, метель, полярная ночь, огромное желание спасти свою шкуру любой ценой.

И когда подошел на вельботе капитан-лейтенант Загоруйко, я заорал и замахал ему. Я решил, что первыми надо снимать людей с кормовой надстройки, ибо нос будет дольше торчать над волнами. Я очень глубоко замотивировал решение. В корме — машина, наиболее тяжелая деталь — раз; чем глубже уходит в волны корма, тем труднее снять с нее людей, так как вокруг надстройки куча разных шлюпбалок, выгородок и другого острого железа — два; в носовом трюме нет пробоин, и там образовалась воздушная подушка — три, и т. д. и т. п.

И тогда прототип моего литературного героя спас мне душу. Он заорал сквозь брызги, снег, и ветер, и грохот волн, что я щенок, что командиры аварийных партий и капитаны уходят с гибнущих кораблей последними. Если бы не его вопль, я попытался бы отбыть с траулера одним из первых, как нормальная крыса, и навсегда потерял бы уважение к самому себе, не говоря уже об уважении ко мне следователя и прокурора.

Таким образом, каждое предложение Данелли по изменению чего-то в боцмане Росомахе ранило мою спасенную когда-то Росомахиным душу. Кто это собирается что-то изменять в моем рассказе? Режиссер, человек, который видел море только с сочинского пляжа? Человек, который даже не знает, где остров Кильдин и где Гусиная земля? Какое право он тогда имеет снимать фильм о погибшем в море спасателе?

Я, конечно, не показывал своих чувств Гии, но он о них догадывался. И, кроме того, как настоящий режиссер, понимал необходимость войти в материал самому.

И тогда было принято решение отправиться на судне в Арктику и писать сценарий в условиях, наиболее близких к боевым.

На «Леваневском» мы оказались в одной каюте. Гия на верхней койке, я на нижней. И полтора кубических метра свободного пространства возле коек. Идеальные условия для проверки психологической совместимости или несовместимости. Плюс идеальный раздражитель, абсолютно еще не исследованный психологами, — соавторство в сочинении сценария.

Если в титрах стоит одно имя сценариста, то — по техническим причинам. Мы на равных сценаристы этого фильма.

Уже через неделю я люто ненавидел соавтора и режиссера. Кроме огромного количества отвратительных черт его чудовищного характера он приобрел на судне еще одну. Он, салага, никогда раньше не игравший в морского «козла», с первой партии начал обыгрывать всех нас — старых, соленых морских волков!

Психологи придумали адскую штуку для того, чтобы выяснить психологическую совместимость. Вас загоняют в душ, а рядом, в других душевых — ваши друзья или враги. И вы должны мыться, а на вас льется то кипяток, то ледяная вода — в зависимости от поведения соседа, ибо водяные магистрали связаны.

Так вот, посади нас психологи в такой душ, я бы немедленно сварил Георгия Николаевича Данелия, а он с наслаждением заморозил бы меня.

И это при том, что и он и я считаем себя добрыми людьми! Почему мы так считаем? Потому, что ни он, ни я не способны подвинуть себя на каторгу писательства или режиссерства, если не любим своих героев. У Гии, мне кажется, нет ни одного Яго или Сальери. Его ненависть к серости, дурости, несправедливости, мещанству так сильна, что он физически не сможет снимать типов, воплощающих эти качества.

Гия начинал в кино с судьбы маленького человеческого детеныша, которого звали Сережей. И в этом боль-

шой смысл. Полезно начать с детской чистоты и со светлой улыбки, которая возникает на взрослых физиономиях, когда мы видим детские проделки. Знаете, самый закоренелый ненавистник детского шума, нелогичности, неосознанной жестокости — вдруг улыбается, увидев в сквере беззащитных в слабости, но лукавых человеческих детенышей.

При всей сатирической злости в Данелии есть отчетливое понимание того, что сделать маленькое добро куда труднее, нежели большое зло, ибо миллионы поводов и причин подбрасывает нам мир для оправдания дурных поступков.

Когда я писал о боцмане Росомахе, то любил его и давно отпустил ему любые прошлые грехи.

Когда Гия решил делать фильм по рассказу, перед ним встала необходимость полюбить боцмана с не меньшей силой. Но поводы и причины любви у меня и у Гии были разные, так как люди мы разного жизненного опыта. Надо было сбалансировать рассказ и будущий фильм так, чтобы мне не потерять своего отношения к меняющемуся в процессе работы над сценарием герою, а Гии набрать в нем столько, сколько надо, чтобы от души полюбить.

Сбалансирование не получалось.

Уже на восьмой день плавания мы перестали разговаривать. В каюте воцарилась давящая, омерзительная тишина. И только за очередным «козлом» мы обменивались сугубо необходимыми лающими репликами: «дуплюсь!», «так не ставят!», «прошу не говорить с партнером» и т. д.

Точного повода для нашей первой и зловещей ссоры я не помню. Но общий повод помню. Гия заявил в ультимативной форме, что будущий фильм не должен быть трагически-драматическим. Что пугать читателей мраком своей угасшей для человеческой радости души я имею полное право, но он своих зрителей пугать не собирается, он хочет показать им и смешное, и грустное, и печальное, но внутренне радостное. . .

— Пошел ты к черту! — взорвался я. — Человек прожил век одиноким волком и погиб, не увидев ни разу родного сына! Это «внутренне радостно»?!

Он швырнул в угол каюты журнал с моим рассказом.

— Это тебе не сюсюкать над беденьким сироткой

Сереженькой! — сказал я, поднимая журнал с моим рассказом. — Тебе надо изучать материал в яслях или, в крайнем случае, в детском саду на Чистых прудах, а не в Арктике. . .

Вокруг «Леваневского» уже давно сомкнулись тяжелые льды.

Гия взял бумагу и карандаш. Когда Гия приходит в состояние крайней злости, он вместо валерьянки или элениума рисует. Он рисует будущих героев, кадрики будущего фильма или залихватски танцующих джигитов. В хорошем настроении он может набросать и ваш портрет. Все мои портреты, изображенные Гией, кажутся мне пародиями или шаржами. Правда, я никогда не говорил ему об этом. Я просто нарисовал его самого с повязкой — бабским платочком — на физиономии. Получилось, на мой взгляд, очень похоже, хотя один глаз я нарисовать не смог.

Происхождение повязки таково.

Севернее Новосибирских островов в Восточно-Сибирском море есть островок Жохова. Это около семьдесят пятого градуса северной широты. На островке полярная станция, свора псов и два белых медвежонка, принятых в собачью компанию на равных.

Два года к острову не могли пробиться суда. Станция оказалась на грани закрытия. «Леваневский» пробился. Началась судорожная, торопливая выгрузка. Конечно, работали и Данелия, и Таланкин. Работали как обыкновенные грузчики. Только выгрузка была необыкновенная. Судно стояло далеко от берега.

Ящики с кирпичом, каменный уголь, мешки с картошкой, тяжеленные части ветряков из трюмов переваливались на понтон, катерок тащил понтон к берегу среди льдин, затем вывалка груза на тракторные сани, оттаскивание грузов к береговому откосу. . . Работа и днем и ночью при свете фар трактора.

Понтон не доходил до кромки припая. И часто мы работали по пояс в месиве из воды, измельченного льда и деска со снегом.

Покурить удавалось, только когда понтон застревал во льдах где-нибудь на полпути к острову. В эти редкие минуты мы собирались у костров, собаки и мишки подходили к нам, мы играли с ними, возились, фотографиро-

вались с медвежатами. И каждому хотелось оказаться на фотографии поближе к зверюгам.

Быть может, оттуда, с далекого острова Жохова, мы привезли острейшее желание вставить в сценарий какого-нибудь зверюгу. И в фильме появился мишка, но сейчас не о том.

Работая в береговом накате, Гия простыл и получил здоровенную флегмону несколько ниже челюсти. О своем приобретении он молчал, продолжая выволакивать из ледяного месива ящики с печным кирпичом.

Он, по-видимому, получал мрачное наслаждение от сознания, что вскоре умрет от заражения крови, а я весь остаток жизни буду мучиться укорами совести, ибо не понял его тонкой лирической души. Оснований для возможной смерти было больше чем достаточно. На судне не было врача. Был только косою фельдшер. До ближайшей цивилизации — бухты Тикси или устья Колымы — восемь градусов широты, то есть четыреста восемьдесят миль. Никакие самолеты сесть на остров или возле не могли. О вертолетах не могло идти и речи. А флегмона на железé под подбородком не лучше приступа аппендицита.

Когда она по размеру достигла гусиного яйца, температура самоубийцы достигла сорока градусов Цельсия. Кажется, я ночью услышал, что мой враг-соавтор бредит или стонет сквозь сон.

Занятная сделалась мина у фельдшера, когда мы с Игорем Таланкиным приволокли к нему Гию и он увидел эту жуткую флегмону. Резать надо было немедленно. Новоканна не было. И в отношении антисептики дело обстояло хуже некуда. Чтобы перестраховаться, фельдшер засадил в центр опухоли полный шприц какого-то пенициллина, и я с трудом удержал в себе сознание и устоял на ногах.

Гия сидел в кресле ничем не привязанный и молчал, только побелел и ощерился. И все время, пока фельдшер тупым скальпелем кромсал его, он продолжал молчать. А после операции решительно встал с кресла, чтобы самостоятельно идти в каюту. Ему хватило ровно одного шага, чтобы отправиться в нокдаун.

Старший помощник капитана Гена Бородулин (сейчас он капитан, и дай ему господь всегда счастливого плавания!) выдал пациенту стакан спирта, хотя на судне

уже давно, даже в дни рождений, пили только хинную настойку.

А на следующее утро, выволакивая из ледяного мешка очередной мешок с мукой, я увидел рядом перебинтованного режиссера, запорошенного угольной пылью, под огромным ящиком с запчастями ветряка...

Вы думаете, Гино геройство помогло нам найти общий язык? Черта с два! Я не какой-то там хлюпик. Конечно, я высказал в общей форме похвалу его мужеству и умению терпеть боль, но когда на Земле Бунге мы отправились на вездеходе охотиться на диких оленей, я захватил единственный карабин, а ему досталась малопулька. Я вцепился в карабин, как молодожен в супругу. И на все справедливые требования стрелять в оленей по очереди отвечал холодным отказом.

Никаких оленей мы не обнаружили, вездеход провалился под лед, вытащить его не удавалось, вокруг была ослепительная от снега тундра и лед Восточно-Сибирского моря, вернее, лед пролива Санникова. Шофер-полярник предложил пострелять из карабина ради убийства времени в консервную банку. И мы долго стреляли, а Гия расхаживал взад-вперед по тундре и делал вид, что все происходящее его не интересует, что стрелять из карабина в банку ему ни капельки не хочется и что теперь он до карабина никогда в жизни не дотронется.

Патронов оставалось все меньше. Мы мазали отчаянно — замерзшие, на ветру, возле наполовину затонувшего вездехода. Когда патронов оставалось три штуки, моя гуманитарная составляющая не выдержала. Я отправился к врагу-соавтору и протянул карабин. Его грузинско-горская сущность тоже не выдержала. Он сказал, что я та еще сволочь, что он никогда не пошел бы со мной в разведку и так далее, но руки его непроизвольно протянулись к карабину.

И он всадил все три патрона в эту дурацкую банку! И потом с индифферентным видом продолжал расхаживать взад-вперед по тундре. И вид у него был индюшечий, так как он изображал полнейшее равнодушие к своей победе, как будто был чемпионом мира по стрельбе, а не обыкновенным начинающим режиссером и бывшим неясно каким архитектором!

Вот в такой жуткой психической обстановке происходили роды сценария «Путь к причалу»!

Соавтор обыгрывал меня в домино, демонстрировал суровое мужество, лучше меня стрелял из карабина. Оставалось — попасть в хороший шторм. Я не сомневался, что бывший архитектор будет травить на весь ледокольный пароход «Леваневский» от фор- до ахтерштевня.

21.10. 1960 года радист Юра Комаров принес радиogramму.

— Ребята, — сказал Юра, — вам тут, очевидно, шифром лупят. Так вы вообще-то знайте, что шифром в эфире можно только спецначальникам. . .

Текст, пройдя океанский эфир, выглядел так: «ЛЕВАНЕВСКИЙ ДАНЕЛИЮ ТУЛАНКИНУ КАПЕЦКОМУ ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕРЖА ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ МОЛОДЕЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ КАННАХ ВОЗМОЖНА АКАПУЛЬКА».

Итак, «Серж» победно распространялся по глобусу, улыбался зрителям на берегах довольно далекого от родителей Средиземного моря, а Гию и Игоря начинала нетерпеливо ожидать в гости знойная Мексика.

«Красивая жизнь» — скажет 99,999% людей на планете.

И правильно скажут. Только путь к причалам этой жизни не бывает красивым. И это не в переносном, а в прямом смысле.

«Леваневский» угодил не в хороший шторм, а в нормальный ураган.

И было это как раз в тех местах, где штормовал и погибал наш герой боцман Росомаха — в Баренцевом море, недалеко от острова Колгуев.

Правда, в ураган угодил я. Данелия и Таланкин бросили писателя на произвол судьбы на Диксоне. Они опаздывали в Мексику и должны были лететь домой на самолете, а я оставался на ледокольном пароходе «Леваневский», чтобы отметить командировочное в Архангельске, прибыв туда морским путем.

— Такого количества SOSов не слышал даже Ной! — изрек наш радист Юра Комаров, пытаясь обедать на четвереньках в кают-компани. В кресла залезать было опасно — их вырывало с корнем.

А скоро подумать вплотную о SOSе пришлось и нам — волнами заклинило руль или что-то сломалось

в рулевой машине. На палубе были понтоны, катера, вездеходы, огромные автофургоны — радиолокационные станции, то есть судно было перегружено и центр тяжести его находился не там, где положено, а черт знает где. Но SOS давать оказалось бесполезно. Никто не мог успеть к нам, кроме ледокола «Капитан Белоусов», который штормовал в сутках пути.

За эти сутки я точно осознал разницу между писателем и режиссерами: когда режиссер разгуливает по Мексикам или Парижам, сценарист изучает жизнь, как говорится, «на местах». Ну, с этими несправедливостями мы давно смирились. Привычка к подобным обидам передается сценаристам уже генетически. А вот когда старик «Леваневский» разок лег на левый борт градусов на тридцать пять, когда он задумался в этом положении, решая, стоит ли ему обратно подниматься или спокойнее будет опуститься в мирную и вечную тишину, или лучше просто-напросто стряхнуть со своей шкуры все понтоны, катера и передвижные радиолокационные станции, вот в этот момент, который, правда, был отчаянно красив, ибо шторм сатанел над морем Баренца при безоблачном, чистом черном небе и полной луне, и гребень каждой волны, которая перекатывала через «Леваневский», был просвечен лунными лучами и сверкал люстрами Колонного зала — вот в этот момент я затосковал по соавтору.

Мне хотелось поделиться с ним красотой мира.

Ведь все художники болезненно переносят одинокое наслаждение красотой без близких им по духу людей.

И когда «Леваневский» стремительно и, казалось, бесповоротно повалился на левый борт, и в ходовой рубке вырвало из пенала бинокль, и он пронесся сквозь тьму рубки со снарядным свистом и разбился в мелкие брызги, а мы висели кто где и не могли понять, что это такое просвистело и взорвалось в рубке ледокольного парохода. И когда потом мы полезли с Геной Бородулиным на палубу, чтобы проверить крепления понтона, и обтягивали крепления при помощи ломов и «закруток», а понтон под нами ездил по палубе и нависал над забортным пространством. И когда от чрезмерного физического перенапряжения и качки мне стало обыкновенно дурно и меня вывернуло в ослепительные волны, и холодный пот

мешался на моем лице с не менее холодными брызгами, — я все вспоминал и вспоминал жаркую, жирную Мексику и все отчетливее понимал разность режиссерской и сценаристской судеб.

Утро было тоже довольно хреновое.

«Леваневский» дрейфовал в дыру между островом Колгуев и мысом Канин Нос. Юра Комаров время от времени появлялся в ходовой рубке и сообщал о чужих несчастьях. Сведения о чужих бедах каким-то чудом утешают попавшего в беду человека. Норвежское рыболовное судно было покинуто командой возле мыса Коровий Нос и превратилось в «летучего голландца» (так называются на официальном морском языке брошенные экипажем суда). И теперь всем судам давали предупреждение на предмет возможного столкновения с ним в горле Белого моря.

Нам было еще далеко до горла Белого моря и столкновения с «летучим голландцем». Юра Комаров разглагольствовал в рубке о том, что самым мелодичным, музыкальным и красивым из всех соединений точек и тире является сочетание SOS. Три точки, три тире и еще три точки — просто прелесть, они пахнут Чайковским.

18.10. 1960 года, около полудня, мы увидели ледокол «Капитан Белоусов». Самого ледокола мы, конечно, не увидели. Был только снежно-белый широкий смерч. Брызги вздымались вокруг ледокола, который шел к нам, чтобы оказать нам чисто моральную, но — помощь (чисто моральную потому, что завести в такой шторм буксир, «взять за ноздрю», как говорят моряки, нас было совершенно невозможно). «Капитан Белоусов» качался так, что тошно было даже глядеть в его сторону.

У ледоколов нет бортовых килей, и днище им инженеры делают яйцеобразным, дабы при ледовой подвижке они, как нансеновский «Фрам», вылезали на лед. Судно без бортовых килей и с яйцом вместо брюха качается на волне безобразным и удивительным образом.

На «Капитане Белоусове» восемьдесят процентов экипажа не было способно трудиться. На ледоколах привыкают плавать во льдах, а во льдах не может быть волны, и ледоколышки отвыкают от голубого и волнового простора и укачиваются быстро и всерьез.

«Белоусов» заложил вираж вокруг «Леваневского».

Капитаны обсудили по радиотелефону положение и

пришли к выводу о бессмысленности каких бы то ни было мероприятий со стороны «Белусова». Нам следовало самим отремонтировать рулевое, то есть самоспасаться. И тут к рации позвали Капецкого.

— Кинокорешки-то тебя в беде не бросили. Тоже пришли. Спасители, — сказал капитан. — Данелия на связь просит. Короче только!

Я услышал:

— Привет, Вика! Ты, говорят, затравил «Леваневский» от киля до клотика? — орал режиссер сквозь вой и стон шторма.

О юморе в философской литературе написано много. Этой проблемой занимались и Гегель, и Спиноза. Теперь занялся Данелия. Из различных составляющих юмора — сатирической, иронической, грустной, черной и смешной — я выделил бы у него добродушную составляющую. Но это только в его произведениях, а не в жизни.

— Тебя чего-то не видно на мостике! — надрывался мой соавтор. — Ты лежишь там, что ли? Я по тебе соскучился!

И за что этого инквизитора любят коллективы съемочных групп? Только из подхалимажа они его любят.

— Сволочи! — заорал я. — Почему вы здесь? Почему не в Акапульке? Думаешь, ваши призы не возьмут в комиссионный магазин на Арбате? Не плюй в колодец. . .

— Самолеты не вылетают с Диксона — погода! — объяснил он. — Мы с Игорьком ящик портвейна спостили летчикам, а они все равно не полетели. А тут вы руль потеряли. . .

— Не руль, а просто вышло из строя рулевое. Как себя чувствуешь? — проорал я с тайной надеждой.

— Мы с капитаном портвейн допиваем!

— Тогда впитывай впечатления. Шапку снимите! Здесь, под нами, мичман Росомахин! Здесь и наш боцман рубил буксир! Как понял?!

— Ясно! Понял! Натуру будем снимать прямо здесь! В Арктике! Я точно решил!

— С ума сошел?!

— Главное — правдивость! — изрек в эфир Данелия. Дорого потом обошлась любовь к правдивости и под-

линности; Ведь мы, действительно, опять полетели в Арктику и на Диксон! И ухлопали уйму денег и, главное, времени, ибо все пришлось переснимать в довольно далеком от Полярного круга Новороссийске и во дворе «Мосфильма». Не зря наш директор Залпштейн, человек рассудительный и осторожный, полностью облысел, а те волоски, которые у него остались за ушами, поседели.

— Главное — правдивость! И потом шторм будет на экране очень красив! Кровь из носу, мы снимем красиво! Понимаешь? Красота поможет проходимости! Она приглушит трагедийность! Как понял?

Я ему двадцать раз излагал, что художники делятся на две категории: умеющих создавать красоту на полотне, бумаге или пленке и при этом еще производить социальный анализ, исследовать сущность характера. И на умеющих уловить мгновение красоты в правдивом облике, но без анализов и синтезов. Ведь сама правда, данная в эстетическом восприятии, способна возмещать умственный многослойный анализ. Последних я называю художественными антифилософами и к ним отношу Гию.

— Ты никогда не будешь мыслителем! — заорал я. — Тебе всегда будет дороже летний дождик и босая девушка на мокром асфальте, нежели ее социальные корни!

— Пошел ты сам босыми ногами к...

— Пошел ты!!!

Радиотелефон работает на УКВ. Ультракороткие волны распространяются прямолинейно. Они не огибают круглого бока Земли, на пределе видимого горизонта уходят в космос. Таким образом, наш разговор и сейчас мчится сквозь Вселенную к далеким галактикам. Он мчится уже четырнадцать лет. Скоро какие-нибудь инопланетные существа примут наш разговор и засядут за расшифровку. И у них значительно обогатится интеллект, словарный запас и углубится непонимание специфики взаимоотношений сценариста и режиссера...

— Тебе надо читать умные книги, а не резаться в «козла» день и ночь! — орал я под занавес. — Ты «корову» пишешь через «а»! А лезешь в писатели! Ваши дурацкие сценарии никогда не будут произведением искусства! Даже бог и сатана, запустив в производство мир, выкинули сценарий в преисподнюю!

— А — Ты никогда не будешь драматургом! — орал он. — Ты знать не знаешь, о чем пишешь в своих дурацких книгах! А в драматургии надо знать! Твоего кока Васю введем в сценарий: молодость сработает на оптимизм. . .

И мы ввели кока Васю в сценарий. . .

Переполненный арктическими воспоминаниями, я в три утра попрощался с вахтенным штурманом «Ладогалеса». И ненадолго заменил собою носовую и кормовую швартовые команды «Невеля» — отдал с кнехтов все шприги и все продольные концы.

«Ладогалес» оставался на рейде Дакара, а мы, заполнив его танки топливом, отвалили на Касабланку вторично.

Опять я определился по острову Горе, сняв радаром пеленг на него и дистанцию. Затем сдал ходовую вахту старпому, попил чаек в столовой команды и отправился в каюту.

Мы шли в ночном океане на север, домой. И дорога из дальней превращалась в близкую.

Фибры моего существа предвкушали тихие радости: койку со свежим бельем, молниеносный процесс раздевания, нырок под простыню, ровный шумок кондишена с потолка, сонную сигарету и сонное разглядывание надоевшей до смерти карты-схемы, висящей в ногах.

На карте-схеме была изображена в масштабе один к десяти миллионам по сорок четвертой параллели Африка с Мадагаскаром. И проложены были все наши курсы вокруг черного континента с моими комментариями на соответствующие даты.

Особое удовольствие я предвкушал от того, что завтра-послезавтра предстояло с этой картой-схемой опасных от мин и стрельб районов расстаться и перейти на следующую карту-схему, то есть увидеть в ногах койки Европу и отчий дом.

Это большое удовольствие — иметь возможность видеть на карте конечную точку пути и каждый день на двести пятьдесят дугowych минут приближаться к ней.

Я открыл дверь в каюту и остолбенел.

Мутные волны прокатывались взад-вперед по каюте.

Слабо просвечивало сквозь волны красное дно — ковер. И равнодушно, монотонно шумел маленький Ниагарчик — из крана в умывальник и из умывальника в водоем каюты.

Пейзаж водоема украшала сенегальская газель — она колыхалась на волнах в центре.

В «Пути к причалу» я волей автора заставил одного героя выпрыгнуть из койки в каюту, заполненную водой. Герой орал: «Полундра! Тонем!» и бегал на четвереньках. Потом вышибал из двери нижнюю аварийную филенку лбом.

Я же прыгнул в водоем прямо в сандалетах — чикаться не было времени: под диваном хранились запасные часы, барографы, бинокли, звездный глобус и другие ценности.

Только перекрыв кран, я понял причину аварии. Проклятая цикада! Она уступила струйке воды и провалилась в трубу умывальника. Пробка, которой я прижал цикаду, — дурацкая сентиментальность и интеллигентская мягкотелость! — стала на место. И всю вахту вода текла в каюту.

Я заметался в мутных волнах, как танцующий джинн — так называют в районе Марокко смерчи.

Воды в каюте было не меньше полутонны. Я было решил открыть окно и вычерпывать воду графином, но ветер дул в мой борт и загалкивал брызги обратно в окно, вернее, в мою физиономию. Тогда я, забыв о всех законах физики, попытался внедрить в практику человечества нечто схожее по бессмысленности с перпетуум-мобиле. Опустив резиновый шланг в водоем, я сосал из шланга грязную воду и опускал обсосанный кончик в умывальник. Ассоциации, связанные с автомобилем.

Бензин так извлекается из того, что выше, в то, что ниже.

Я же упрямо пытался заставить жидкость совершить противоположный маневр.

То сквозь плеск воды, то сплетаясь с ним в жуткий, неземной, галактический стон, орали цикады: они десятками вползали в каюту через распахнутое окно.

И вдобавок ко всему я ощутил сильный запах хлора, от которого начинало тошнить и кружилась голова.

В рундуке под койкой была спрятана банка хлорной извести. Ею я выбеливал кораллы, собранные на необи-

таемых островах Индийского океана. Теперь известь вступила в бурную реакцию с водоемом.

Впору было надевать противогаз. Но он оказался затопленным вместе с банкой извести. И химикалии из противогазной коробки уже принимали участие во всеобщей реакции.

Я ощутил пещерное одиночество среди несущегося сквозь ночную Атлантику теплохода, среди чужого сна и чужих снов.

Нелепо было будить и звать на помощь верных штурманов. Невозможно было рассчитывать на неверных, то есть на матросиков. Они ныне не встают даже по авралу, чтобы зачехлить вельбот в шторм, если не пообещаешь им оплату за внеурочную работу.

И я принял безумное решение: извлечь из каюты ковер, оттащить его на ют и там вздернуть на леер. Я рассчитывал на то, что ковер впитал значительную часть жидкости и ее уровень сразу и резко понизится. Но я не догадывался о том, сколько весит ковер, впитавший полтора ста литров воды. А весит он сто семьдесят килограммов. Мой же вес в годы расцвета — шестьдесят шесть.

И бедный бес под кобылу подлез.

Впереди была дорога через коридор, усталый сухим ковром, сквозь две двери, трап на палубу, тридцать метров по скользкой стали и еще один трап.

Провести малый рыболовный сейнер Северным морским путем — детские игрушки по сравнению с таким путешествием.

Уже к концу коридора ковер из неодушевленного предмета превратился в сознательную бестию. Эта бестия мокрыми лапами обволакивала меня и тянула к своему центру тяжести, как спрут к знаменитому клюву. Эта бестия дала мне подножку в дверях, снисходительно дала под зад на палубе и, когда я ее спустил с последнего трапа, шуранула к борту на очередном крене — судно уже сильно покачивало.

Я погнался за ней, с омерзением хрустя цикадами. Они сотнями ползали по палубе.

Затем ковер из бестии-спрута превратился в самолет. Под действием встречного ветра ему хотелось взмыть над Атлантикой. Я обмотал ковер-самолет вокруг кормовой лебедки.

К этому моменту из танцующего джинна я превратился в обыкновенную мокрицу, ибо потерял юмор и распустил юни.

Сидя возле трепыхающегося на швартовой лебедке грязного ковра, среди раздавленных умирающих цикад, я вдруг четко понял, что никакой повести о сумасшедшем специалисте по радиоэлектронике не напишу, что никогда мой герой не повторит, тернистого пути пророка Ионы, ибо символика мифов мне не по душе и не по зубам. И что сам я просто-напросто прячусь в стальном корабельном чреве от сложностей обыкновенной жизни.

ПРЕСНЫЙ ЛЕД У ОСТРОВА ВАСИЛИЯ

Вернемся мы, доверим судно тросам,
Оставив дали даль, туман — туману,
ветер альбатросам. . .
(Из песни)

«**М**инное ЛК «Сибиряков». Море всем судам. Сообщению датских лоцманов обнаружена и уничтожена мина вблизи фарватера № 36 также некоторое количество мин находится районе Багеровен».

«ЛК «Киев» дрейфует у ледовой кромки ожидания подхода судов видимость 10 миль маловетрие лед 10 баллов нилас зпт сморози зпт воздух минус 8».

От каждого слова этих радиограмм уже крепко пахнет домом, а от имен ледоколов пахнет Арктикой.

Ночью четвертого января замигали первые маяки Европы. Они тоже кажутся домашними, как огоньки пригорода. Испания встречается в Европе. Украшает карту Гвадалквивир. Скучает в застойном пьянстве городок Херес, оделась туманом Гренада. . . А вот и Севилья — мощный радиомаяк. Можно хватануть радиопеленгатором, но нет большой нужды: вот-вот откроется Сан-Висенти. Открылся, замигал. Отлично. Мы больше доверяем своему правому глазу, нежели радиоволне и рамочной антенне. . . Сохранилась ли в Севилье тюрьма, где Сервантес зачнил Дон-Кихота?

По трансляции объявляют о сдаче судовых книг в библиотеку. Расстаюсь со Стендалем, Мериме, Байроном, двухтомником Конрада.

Нашу общественную библиотекаршу зовут Сима. Как-то я попросил ее написать заметку в стенгазету и дал тему: «Культура — библиотека — книга». Сима промучилась месяц. И наконец написала одну фразу: «Книги помогают против грусти по дому и маме». На словах она добавила, что против грусти ей помогают еще собаки. Молоденькая Сима была главной хозяйкой нашего бесхозного Пижона.

Суровый капитан Конрад тоже боролся с морским одиночеством и тоской Большого Халля без опоры на живых попутчиков. О них он вспоминает чаще всего для того, чтобы отметить гнусную, мелкую склонность к стяжательству, обезображивающую историю человеческого духа и географических открытий. В море Конрад не бывал одинок только потому, что находился в обществе великих деятелей и мыслителей прошлого. Море усиливало в нем ощущение прошлого, оживляло память обо всех подвигах, которые были совершены человеческой мудростью и отвагой среди океанских зыбей. И Джеймс Кук и Дэвид Ливингстон делили с Конрадом одиночество ночных вахт и дневных снов.

И я знаю, что польско-английский моряк и писатель действительно не был одинок, действительно шагали с ним из угла в угол по шканцам эти большие люди. Не ради красного словца он признался в этом, немного принизив живых попутчиков и соплавателей.

Маяки великих людей не скрываются для нас за горизонтом или за очередным мысом. Их можно включить в любой миг, не заказывая по радио и не оплачивая в валюте через банк в Лондоне.

Маяками назвал Бодлер Рубенса, Леонардо, Микеланджело, Гойю. Воплями назвал их полотна.

Эти вопли титанов, их боль, их усилья,
Богохульства, проклятья, восторги, мольбы —
Дивный опиум духа, дарящий нам крылья,
Перекличка сердец в лабиринтах судьбы.

То пароль, повторяемый цепью дозорных,
То приказ по шеренгам безвестных бойцов,
То сигнальные вышки на крепостях горных,
Маяки для застигнутых бурей пловцов.

И свидетельства, боже, нет высшего в мире,
Что достоинство смертного мы отстоим,
Чем прибой, что в веках нарастает все шире,
Разбиваясь о Вечность пред ликом твоим.

К концу длинного рейса все чаще поминаешь великих, становишься законченным начетчиком. Как всякому наркоману, тебе все больше нужно дивного опиума их духа, чтобы устоять на ногах в повседневности.

К концу длинного рейса попутчики превращаются в соседей по коммунальной квартире и раздражают куда

чаще, чем хотелось бы. Ты вспомнишь о них на берегу, когда затянется отпуск. Тогда опять увидишь в них отличных моряков и верных товарищей. А в конце длинного плавания испытываешь одиночество. И только маяки великих светят тебе. И тебе надо все больше их света. И они дают его столько, сколько способна впитать твоя уставшая душа. И плевать ты хотел на упреки в слабости и несамостоятельности — это правда, как я знаю ее.

Пятого прошли Лиссабон. Дождик накрапывал, покачивало. Зарева над городом не видно было. Обычно его далеко видно. И всегда вспоминается Алехин. Он похоронен здесь, здесь в последний раз слушал скрипку спившегося эмигранта: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...»

Стучат машинки, крутятся арифмометры, шебуршит бумага — готовим отчеты, подбиваем бабки.

В ночь на шестое огибаем мыс Финистерре — границу Бискайского залива. Южный ветер в одну минуту изменился на северо-восточный, ударил до восьми баллов. Скорость упала до семи узлов. Сильная килевая качка. Из шумной пены без всякого добродушия подмигивает дядя Посейдон: «Что, паренек, к старому Новому году хочешь домой поспеть? Фиг тебе, паренек...» И — бах — разваленная форштевнем волна вздымается десятиметровым фонтаном. Но чайки не улетают к берегу, держатся большой плавной стайей возле носа на ветре. Значит, шторм не должен быть долгим. Вот если дельфины собираются в большие компании и резвятся, хулиганят особенно шумно, то шторм будет долгим и крепким. Косатки тоже указывают на шторм. Они неоглядно уходят от береговой полосы, высоко прыгая...

Когда торопишься домой, начинаешь присматриваться и к биометеорологическим признакам погоды. Так некрасиво называется поведение живых тварей на ученом языке.

Бискай штормит нынче при чистом и ясном небе. Днем от сини небес и вод даже резь появляется в глазах. И белые барашки, белые чайки среди рыловской синевы и ветренности. Весел шторм при ясном небе, хотя есть в таком шторме нечто противоестественное. Вот тринадцать месяцев назад, когда мы везли русские осиновы

рощи неукротимым сардам, здесь естественный штормяга бандитствовал. От зюйд-веста, в хмури, в низких тучах, в грозах.

Много корабликов — и встречных и поперечных. Интереснее жить на море-океане, когда вокруг коллеги качаются, окунают носы в синие волны, стряхивают шумливую пену с ржавых бортов. Вот лайнер несется. Вот крохотный рыбачок становится дыбом на каждой зыбине, торопится доставить отцов к детишкам в поселок на Финистерре. Вот танкерюга прет напролом, его такая зыбь и не качнет. С каждым разойтись надо, каждый внимания требует. Но мы в океанах соскучились по коллегам, редко встречали их. И теперь быстрее отваливает за корму очередная вахта, наполненная работой и напряжением.

Чайки не соврали. К утру седьмого Бискай замирился и стих. Идем по четырнадцать миль. В полдень записывается в журнал траверз острова Уэссан. Этот остров — верстовой столб, от которого начинается и заканчивается океанское плавание, то есть плавание с надбавкой к зарплате двадцати процентов. Прощайте, проценты!

По рубке сквозит уже холодом, даже морозцем. Сапоги боцманюга все еще зажимает. Пришлось разорвать на куски остатки обтрепанного всеми ветрами мира вымпела Академии наук и сделать из его материи портянки. Обычная судьба материи списанных флагов. Она из хорошей, чистой шерсти делается — чтобы не мялась, и сохла быстро, и не гнила. Нет лучших портянок. Особенно хорошо это знают моряки со спасателей в северных морях. И мне пришлось в жизни кутать ноги остатками флагов самых спесивых держав. Судьба символов и в литературе и в жизни довольно неожиданно заканчивается. Но я выбалтываю интимные моряцкие секреты. Надо придержать язык. А то ненароком расскажешь, что акт на утопленную в таких-то координатах, как отслужившую свой срок, пиротехнику ты составил, но... несколько симпатичных сигнальных ракет залезли в чемодан, спрятались в грязном белье, вместо того чтобы погрузиться на океанское дно. Ракеты неожиданно вынырнут, если мы успеем домой к старому Новому году, и подсветят крыши любимого города в торжественный час полуночи. . . Нет, на такие поступки мы, конечно, уже не способны. Мы не способны превращаться в мальчи-

шек-курсантов. Мы честно решали каждый месяц по обязательной задаче на маневрирование судов в конвое. Мы не снимали со стола стекло, не укладывали стекло на ручки кресла, не подсовывали под стекло лампу-переноску, не расстилали на стекле бумажку с решенной уже схемой, не накрывали эту бумажку чистой бумажкой, не обводили просвечивающие контуры корабликов. Нет, мы, умудренные жизнью дяди, так не делали. Странно только, что все кораблики в наших конвоях так удивительно похожи друг на друга. . .

Ла-Манш миновали при сносной погоде. Порывами задувал французский ветерок нароз. А в Северном море он решил отбежать к югу и юго-востоку, чтобы опять врезаться по зубам. Чистых девять баллов. Затитикали вокруг SOSы. Бедствуют, конечно, главным образом здешние рыбаки. Мелкое Северное море в шторм кипит и булькает самым беспорядочным образом. Вряд ли на его нефтеносном дне есть свободное от могил местечко.

Из Ла-Манша на Кильский канал можно идти двумя путями: под берегом или открытым морем. Берег мог прикрыть от ветра, но карты восемь месяцев не корректировались, а навигационная обстановка здесь меняется каждый день. Конечно, мы обязаны были весь рейс только и делать, что корректировать весь тысячный комплект карт. И конечно, это невозможно было. Потому решили держаться дальше от берегов Бенилюкса.

Дорога по фарватерам среди старых и новых минных полей. Шторм срывал мины с насиженных мест. Минные предупреждения сыпались, как из рога изобилия. И видимость паршивая.

Выходили к поворотному бую Большой Пит около двух ночи. Я проглядел дырки в линзах бинокля и на экране радара, но Пит прятался среди волн и мокрой тьмы. Сперва я ласково называл его Пипом, просил похорошему перестать играть в прятки, бросить валять дурака, мигнуть мне хоть разок. Пит не обнаруживался. Тогда я начал его поругивать. Пожелал заболеть традиционной английской хворью — подагрой, посулил ему вечно замкнутую жизнь, мрачное и тяжелое сосредоточение в себе, которое его погубит, увлечет на дно этого

паршивого Немецкого моря. Пит продолжал прятаться, а мы уже прошли точку поворота. Я обозвал буй «лордом хранителем печати», ибо мне кажется, что нет на свете должности с более дурацким названием, и мы повернули по счислению, разуверившись в бескорыстном служении Большого Пита морякам. Вообще-то все это мелочь, обычная вещь — буй проваливается на волнении в такие глубокие ямы, что иногда пройдешь совсем рядом и не увидишь. Но окрепшее к концу плавания суеверие кольнуло душу. Почему Пит не отозвался на добрые слова, на знакомый зов? Быть может, он намекает мне на что-то в будущем? Быть может, судьба подает знак, что мне больше никогда не заворачивать возле Пита на свидание с доброй, работающей лодшадью Гемзой?

Тяжелая была ночь. Плавающий маяк Р-12 на штатном месте отсутствовал. Он возник из штормовой мути там, где должен был колыхаться маленький буй Р-11. Пришлось даже застопорить машины, чтобы разобраться в обстановке. Гельголанд едва прощупывался в радар. Кое-как определились по нему и пошли дальше, извиваясь среди минных полей. Границы полей на карту наносят с порядочным запасом. И краешек задеть не опасно, но, черт возьми, неприятно. Наконец обнаружился плавмаяк Везер. Возле него отстанвались на якорях штук сорок судов. У Эльбы-1 тоже было очень много судов, но не на якорях. Муравейник, разворошенный девятибалльным ветром. Никому не хотелось лезть в балтийские проливы при зюйд-осте и в морозном тумане. Все стремились в аккуратный уют Кильского канала, и лоцмана не справлились.

С рассветом отдали якорь на рейде Брунсбютельгов. Мне такое название без разбега не произнести.

Из Эльбы несло лед — от берега до берега ледяная грязная каша. А мы отвыкли от тех шуток, которые лед иногда вытворяет. Отдали якорь, как положено, на соответствующем заднем, потравили цепь, взяли на стопора. «Невель» продолжает идти вперед! Якорь уже где-то за кормой, а мы продолжаем идти вперед. Дается средний назад. Потом полный назад — первый раз за весь рейс. Наш скобарь упрямо продолжает идти вперед! Мистика, чертовщина! С бака докладывают, что горит и оплавляется стопор. Оказывается, цепь давным-давно

смотрит в нос, мы тянем якорь по грунту, пытаюсь идти задним ходом с такой же скоростью, с какой лед несет из Эльбы. Движение льда вдоль борта от носа к корме мы принимали за движение судна вперед. Причем психоз был массовый — три человека на мостике одинаково обманулись. Конфуз. Такой неприятный, что никто не решился даже сострить.

Рассвет мутный. Солнце встает в густом морозном тумане. Фиолетовая чайка мечется и кричит над кофейным, грязным льдом. Колотун. Обмерзшие буксиры. Черные деревья на берегу. Ограда из колючей проволоки по откосу над сваями. Зимняя серая безнадежность в широке льдин, в медленном течении Эльбы. Пароходные гудки звучат глухо, падают с крыши небес капли сгустившегося тумана и острые снежинки.

Долго без дела мерзну на мостике. И опять вспоминаю Пита. Почему он не пожелал мне счастливого возвращения?

Фриц-лоцман слезает за борт со своим баульчиком. Черт бы побрал аккуратные баульчики.

Снег под черными деревьями. Солнце сквозь деревья. Домики из красного кирпича, островерхие. Черт бы побрал островерхие домики.

Обмерзшие стенки шлюзов, а вместо свай — глыбы льда. Суровая зима нынче в Европе. Или мы слишком отвыкли от холода?

Сотни черных трупиков сенегальских цикад валяются на палубе и хрустят под сапогами. А в моей каюте цикада все еще верещит — не сдохла.

— Швартовым командам по местам!

Входим в шлюз, швартуемся. И льдины входят вместе с нами.

Бурлит среди льдин коричневая вода, поднимается. И мы поднимаемся вместе с ней. В нашей компании француз из Деклюза, испанец и датчанин. Все выше и выше над Эльбой, над черными деревьями, красным солнцем. Далеко видно. Домишки, засыпанные снегом. Сине-серые тени от холмов. Телеграфные столбы с изоляторами. Снеговые заструги на откосах канала, пожухлая трава торчит из снега, рыжая, с метелочками.

Приятно все это. Приятны тихие тона после ярких красок тропиков.

Только встречные суда неприятно выглядят — сильно обледенели коллеги. Мы смотрим на них, как приговоренный, который по дороге к лобному месту видит дроги с телами уже умолкнувших на веки веков своих дружков. В Балтике девять баллов и минус восемь градусов.

А здесь ныряют между льдин старинные знакомцы — лебеди.

Кингстоны, конечно, забиваются ледяным крошевом в самый неподходящий момент. Греется главный двигатель. Стопорим. Течение неумолимо разворачивает судно поперек канала. Шесть минут нервотрепки и чужого диспетчерского лая по радиотелефону. Чуть не сталкиваемся с поляком. На фок-мачте поляка висит матрос и отвязывает порыжевшую новогоднюю елку — рождество уже позади.

На берегу бродит лошадь, большая, желтая, копытами выковыривает из-под снега траву или просыпанное сено. Смотрю на нее в бинокль, вспоминаю экватор и болтовню с Нептуном. Хороший зверь лошадь, даже упитанный немецкий битюг. . .

- Дид слоу ехид!
- Йес, дид слоу ехид!
- Слоу ехид!
- Йес, слоу ехид!

Поплыли. . .

Синеет вечер, а мы все еще скользим рядом с домами, не тронутыми лыжной полями, соснами. . . «АУДОРФ» — вспыхивает среди вечернего сумрака светящаяся неонм вывеска какого-то местечка. Склад леса на берегу. . . башня. . . сторожевые катера с оранжевыми параванами. . . паромные переправы. . .

В Хольтенау я увенчал свои торговые успехи, купив две пачки табаку, три открытки и десять пачек жевательной резинки за пятьсот испанских песет — они сохранились у меня еще с Канарских островов.

Ленинградский торговый порт. Тяжелый, свинцовый рассвет над Невой, над ремонтирующимися судами в устье Фонтанки, над Сально-Буянским каналом, над цехами Балтийского завода.

Огромные буквы на фронто́не завода: «БОЛЬШИМ КОРАБЛЯМ — БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!» Призыв звучит для нас юмористически. Плы́вите, мол, ребята, дальше, нечего вам здесь толкаться. А нам хочется совершить миниатюрное плавание — с середины Невы к пассажирскому причалу Васькиного острова. Но нет буксиров.

За кормой 38 000 миль. Это 1,7 экваториальных круга. Последнюю ночь мы отчаянно бились во льдах, чтобы сэкономить минуты, ошвартоваться пораньше, и — нет буксиров. Нет для нас и швартовщиков на родном причале. Ждать три часа. Забавное положение. Смотрят на нас с Васильевского острова встречающие, поверившие прогнозам диспетчера, замерзают на ледяном ветру, ничего понять не могут. И мы им ничего не можем объяснить: связь на короткие дистанции сложное дело. С Луной связаться проще.

Медленно, как январский рассвет, шевелится лед. Девять тридцать утра. Все не спавшие ночь, злые. Голова потрескивает. Мне особенно задержка обидна. После двенадцати — на вахту. А стояночная вахта — сутки. Подменных штурманов не будет, это мы уже знаем.

Убираю в футляры бинокли. Из пяти три разбито. Кто их разбил? Фантомас их разбил. Ничего особенного нет в том, что человек в шторм уронил бинокль, но никто не признался в грехе. Сами собой разбились бинокли. И секундомеры сами собой поломались. И у секстана сам собой отлетел верньер. Нечистая сила, черт возьми. Лупа вот — хорошая, штурманская, двухкратного увеличения — в футляре. Напишем, что в ужасный ураган, при крене девяносто градусов я ее разбил. Заплатим за свою неловкость три рубля сорок копеек штрафа. И возьмем лупу на память об экспедиционном судне «Невель». Как-то не очень я в этот раз привязался к судну. Не выдавить скупую мужскую слезу при мысли о скорой разлуке.

В шкафчике метеоприборов валяется консервная банка с питьевой водой. Четыреста шестьдесят граммов. «Не пейте в первые сутки! Собирайте дождевую воду, заполняйте ею все имеющиеся в Вашем распоряжении емкости (полиэтиленовые мешки из-под карамели и т. д.). Консервированную воду используйте в самом крайнем

случае. Для получения воды сделайте в крышке банки два прокола». Это возьмем на память об архипелаге Каргадос-Карахос и погибшем «Аргусе». На память о мифе, который распорол днище на рифе. . .

В каюте приобщаю лупу и банку к морским дарам. Картонки и ящики набиты битком. Из пальмовых веток и экзотических цветов получился шуршащий веник. Серенький. Время уже высосало краски. Но главное не в красках. Паломник — от слова «пальма». С пальмовой ветвью возвращались люди из святых мест к родному порогу. И я поддерживаю традицию мирных паломников. А в душе? . . Как там дела с тревогой по поводу бессмысленности жизни? Все так ли тягостно непонимание прошлого и отчуждение от будущего? Способен ли я представить будущее? Или оно исчезает в настоящем, в мелькании ерунды? Одно я знаю точно: если в молодости движение сквозь пространство дарило мне смысл, радость осознанной жизни, то теперь я это утратил.

Последние кабельтовы нас тащат кормой вперед. Портовый буксирчик молотит винтом в ледяной каше. Трос стонет. И вполне может лопнуть. Согласно правилам техники безопасности, при буксировке и швартовых операциях в месте, где работают надраенные тросы, не должно быть посторонних. Мои матросы из кормовой швартовой партии довольны. И я доволен. Мы первыми приближаемся к причалу. Мы стоим у лееров, косимся на стонущий буксирный трос и уже помахиваем рукавицами маленьким человеческим фигуркам на острове Василия, на Васькином острове. Льдины шумят под кормой. На флагштоке развевается огромный флаг. Я случайно нашел в кладовке такую крейсерскую громадину. Пожалуй, полотнище подошло бы и линкору. Флаг победно стреляет, осеняя швартовую партию.

Оглядываю корму. Отсюда началось знакомство с «Невелем». С кладбищенской загородки, сделанной из металлолома для бабушки четвертого механика. Загородку я принял за клетку от акул для подводных работ. Потом корма превратилась в лобное место — здесь матросы убивали скуку, убивая акул. Так и стоит перед глазами первая жертва — акула из Гвинейского залива. Она лежала на раскаленной палубе, опутанная тросами, распластав плавники, похожая сверху на нерпу. Ей

вырубали из пасти крюк с приманкой. Из жабр шла кровавая пена. Когда ее переворачивали с брюха на спину за хвост, она начинала биться и ощеривала развороченную пасть. Потом в спинном плавнике ей вырубали дыру, в дыру пропустили трос, к тросу привязали деревянный ящик. Потом ломami вытолкали акулу за борт. Все старались ударить ее, сунуть в пасть доску, ткнуть в незакрывающиеся глаза. . . Ни одному человеку, кроме меня, не казалось все это диким и мерзким. Но и я скоро привык и глядел на происходящее с некоторым даже любопытством. . .

— Ба! Ребятки, а где приходные лозунги?

Нет лозунгов. Забыли про них. Не хватило пороха на игру, на шутки. Ленъ было малевать аршинные слова, крепить их на заиндеветших бортах. А жаль. Хорошие были придуманы лозунги: «С акульим приветом, родственнички!», «В море — горе, на берегу — жена! Ланца-дрицца-а-цаца!», «Теперь попадем к тещам, как кур в ошип!», «В загоревшем теле — сгоревший дух!», «Двести десять дней — как одна ночь!».

— Расчехляй вьюшки! Готовь веревки! Бросательные достали? Кранцы за борт! Отставить кранцы! Лед у нас будет вместо кранцев пока! Берегись буксира!

Смерзшиеся стальные швартовые раскручиваются с вьюшек. Сотни черных цикадных трупов вываливаются из тросов, хрустят под сапогами. Они кажутся особенно черными, негритянскими среди инея и снега.

Является Пижон. Дрожит от холода. Просовывает морду за леера, смотрит на медленно приближающийся причал. Бесстрашно-глупый хвост молотит по буксирному тросу.

— Пижон, соблюдай технику безопасности!

Легкий толчок. Приехали. Прикоснулись к родной земле, васильевским камням, граниту близкой набережной Лейтенанта Шмидта. Еще один круг замкнулся на круги своя. Родные лица на причале кажутся малознакомыми. И некоторая российская стеснительность с обеих сторон. И пограничники с автоматами уже стали к корме и носу. Однако, минуя погранзаставу, голубая четвертинка мелькнула в январском морозном туманчике.

— Все здоровы?

— Все здоровы!

— Ну, слава богу!

— Не простудись!

— Давно ждете?

— Так в диспетчерской сказали, что вы в девять швартуетесь. . .

— Буксиров не было. . .

Мы довольно долго возимся со швартовыми. Лед мешает поджечь корму. Колотун. Поземка крутит по необъятной Гаванской площади, по асфальту. Виден троллейбус. Симпатичный, как лошадь.

В каюте быстро переодеваюсь. Приятно надеть черную форму на чистое, беленькое белье. Приятно швырнуть ватник в угол.

Забираю папку с документами и спускаюсь в каюткомпанию к таможенникам. Молодая женщина в сером костюме кажется красивой, несмотря на налет обычной для таможенников зловещей официальности.

На дальнем конце стола устроились пограничные начальники. Пахнет солдатами — сапогами, ремнями, шинелями. Мы все еще за границей, хотя и прижались к острову Василия.

— Знакомы? — спрашивает женщина в сером.

— Конечно, — говорю я, вспоминая приход из Лондона, нехватку вискозы и модельной обуви. Кажется, тогда с нами работала и эта молодая красивая.

— Скажите честно, контрабанда есть? По вашему частному мнению?

Меньше трех часов она «трясти» не будет. Знаю я уже ее тщательность в досмотрах. Догадаются родные уйти с причала, с мороза, с ветра куда-нибудь в кафе или будут толкаться три часа на снегу?

— Думаю, контрабанды нет. Двухгодичная норма — восемьдесят метров ткани. Исаакий закатать можно, — говорю я.

— А косынок много брали? — устало спрашивает красивая.

Говорить за экипаж я не собираюсь. Никто меня на это не уполномочивал.

— Чужая душа и чужая жена — потемки. Вас Валентина Николаевна зовут?

— Да.

Она погружается в бумаги. Я закрываю глаза и погружаюсь в себя. И сразу начинает мельтешить перед глазами лед. Льдины закруживаются в вальсе после удара в борт, лезут друг на дружку, крошатся, опадают. . . Лед, подсеченный прожектором ледокола, черный ночной лед, синий рассветный лед, грязный, невский, мелкобитый. Малосольный финский, крепко соленый кильский, пресный кронштадтский. . . После ледовой проводки такое верчение и мелькание в закрытых глазах сохраняется на несколько суток. Как мотив навязчивой песенки.

. . . Морской лед преснее морской воды. . . Замерзая, вода расстает с частью соли, но никогда не забывает о потере и готова вернуть ее. . . «Мы пришли, ковыляя во мгле, мы к родной притащились земле, бак пробит, хвост горит. . .» Полная чепуха лезет в голову.

— Спать хотите?

— Есть немного. Я вам еще нужен?

— Нет пока.

Поднимаюсь в каюту и ложусь на диванчик. Дверь, как положено, оставляю открытой. Чемодан и пакеты с морскими дарами тоже во вскрытом состоянии. Паспорт моряка лежит на столе и тоже открыт. С фотографии паспорта смотрит в потолок идиотским фотографическим взглядом мой двойник. Я вдруг вспоминаю времена, когда рядом с фото, согласно международным правилам, в мореходке красовался оттиск большого пальца. Навсегда осталось прикосновение чужой руки, она твердо сжимает твою, сует твой родной палец в чернильную подушку, потом прижимает к обведенному рамкой месту в паспорте, потом палец не отмыть. . .

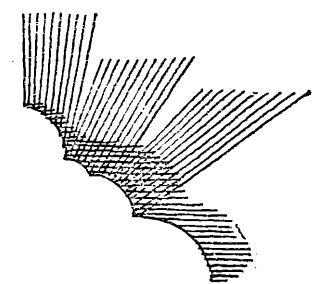
Ну, скажи мне, море, навсегда я прощаюсь с тобой? Сейчас мне тошно даже подумать о тебе, море. Мне тошно думать о том, что послезавтра будет смотр, отчетные собрания, замерзшие блоки не провернутся, спасательный вельбот будет не спустить, журналы гидрометеонаблюдений окажутся заполненными не по форме, хронометры не примут в навигационную камеру на проверку, так как единственный мастер гриппует; каждый береговой человек, явившись на судно, будет корчить начальника и делать гадости, а сделать тебе гадость ему ничего не стоит. . . Ну, а что ждет на берегу, если посмотреть трезвыми еще пока глазами? Питерская зима, мать сразу заболит — она всегда болеет, как только я вернусь до-

мой. В аптеку буду ходить за лекарствами. Лекарств нуж-
ных не будет. Деньги улетучатся с эфирной скоростью...

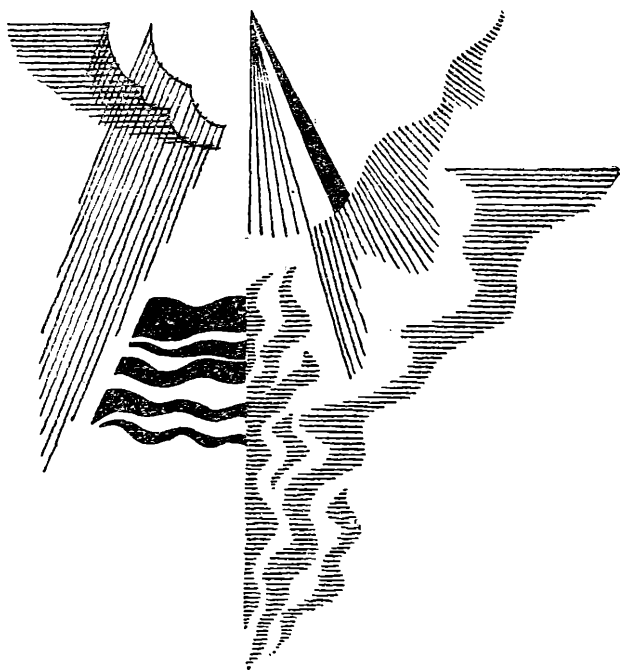
Господи, чудится или нет?.. Едва слышное стенание
цикады из-под дивана! Вот уж кому сейчас действительно
тошно, так это сенегальской цикаде, ей сейчас так тош-
но, как будет тошно последнему человеку на замерзаю-
щей Земле через миллион лет. А мне стыдно стонать.

Просто я устал.

Конец морских записок



РАССКАЗЫ В ПУТИ



ПЕТР НИТОЧКИН К ВОПРОСУ О ПСИХИЧЕСКОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ

(Из книги «Среди мифов и рифов»)

Накануне ухода в это плавание у меня была прощальная встреча с Петром Ивановичем Ниточкиным. Разговор начался с того, что вот я ухожу в длительный рейс и в некотором роде с космическими целями, но никого не волнует вопрос о психической несовместимости членов нашего экипажа. Хватают в последнюю минуту того, кто под руку подвернулся, и пишут ему направление. А если б «Невель» отправляли не в Индийский океан, а, допустим, на Венеру и на те же девять месяцев, то целая комиссия ученых подбирала бы нас по каким-нибудь генетическим признакам психической совместимости, чтобы все мы друг друга любили, смотрели бы друг на друга без отвращения и от дружеских чувств даже мечтали о том, чтобы рейс никогда не закончился.

Вспомнили попутно об эксперименте, который широко освещался прессой. Как троих ученых посадили в камеру на год строгой изоляции. И они там сидели под глазом телевизора, а когда вылезли, то всем им дали звания кандидатов и прославили на весь мир. Здесь Ниточкин ворчливо сказал, что если взять, к примеру, моряков, то мы — академики, потому что жизнь проводим в замкнутом металлическом помещении. Годами соседствуешь с каким-нибудь обормотом, который все интересные места из Мопассана наизусть выучил. Ты с вахты придешь, спать хочешь, за бортом девять баллов, из вентилятора на тебя вода сочится, а сосед интересные места наизусть шпарит и картинки из «Плейбоя» под нос сует. Носки его над твоей головой сушатся, и он еще ради интереса спихнет ногой таракана тебе прямо в глаз. И ты все это терпишь, но никто твой портрет в газете не печатает и в космонавты записываться не предлагает, хотя ты про-

являешь гигантскую психическую выдержку. И он, Ниточкин, знает только один случай полной, стопроцентной моряцкой несовместимости. . .

— Ссора между доктором и радистом началась с тухлой селедки, а закончилась горчичниками. Доктор ловил на поддев пикшу из иллюминатора, а третий штурман тихонько вытащил леску и посадил на крючок вонючую селедку. Доктор был заслуженный. И отомстил. Ночью вставил в иллюминатор третьему штурману пожарную пипку, открыл воду и орет: «Тонем!» Третий в исподнем на палубу вылетел, простудился, но за помощью к доктору обращаться категорически отказался. И горчичники третьему штурману поставил начальник рации. Доктор немедленно написал докладную капитану, что люди без специального медицинского образования не имеют права ставить горчичники членам экипажа советского судна, если на судне есть судовой врач; и если серые в медицинском отношении лица будут ставить горчичники, то на флоте наступит анархия и повысится уровень смертности. . . Радист оскорбился, уговорил своих дружков — двух кочегаров — потерпеть, уложил их в каюте и обклеил горчичниками. И вот они лежат, обклеенные горчичниками, как забор афишами, а вокруг радист ходит с банкой технического вазелина. Доктор прибежал, увидел эту ужасную картину и укусил радиста за ухо, чтобы прекратить муки кочегаров. Они, ради понта, такими голосами орали, что винт заклинивало. . .

Ниточкин вздохнул, вяло глотнул коньяка, вяло ткнул редиску.

— Упаси меня бог считать подобные случаи на флоте чем-то типичным, — продолжал он. — Нет. Наоборот. Как правило, доктора кусаются редко, хотя они от безделья черт знает до чего доходят. Меня лично еще ни один доктор не кусал, а плаваю я уже двадцать лет. Я хочу верить, что барьеров психической несовместимости вообще не существует. Конечно, если, например, неожиданно бросить кошку на очень даже покладистую по характеру собаку, то последняя проявит эту самую психическую несовместимость и может вообще сожрать эту несчастную кошку. Но это не значит, что нельзя приучить собаку и кошку пить молоко из одной чашки.

Неожиданность Петиных ассоциаций всегда изумляла меня.

Когда я жил в маневренном фонде, в квартире, где жило еще восемнадцать семейств, меня как-то навесил Ниточкин. Войдя в кухню и оглядывая даль коридора, он сказал:

— Пожалуй, это одно из немногих мест на планете, где везде ступала нога человека.

И вот теперь его вдруг понесло к кошкам.

— Лично я, — повторил Ниточкин с раздражением, — кошек не люблю. Но даже очень грязного кота или кошку в стиральной машине мыть не буду. Даже по пьянке, хотя такие случаи в мире и бывали.

Моя нелюбовь к котам и кошкам имеет в некотором роде философский характер. Я их не понимаю. А все, что понять не можешь, вызывает раздражение. И еще мне в котах и кошках не нравится их умение выжидать. Опять же эта их коренная черта меня раздражает потому, что сам я выжидать не умею и по этому поводу неоднократно горел голубым огнем. Особенно это касается моего языка, который опережает меня самого по фазе градусов на девяносто, вместо того чтобы отставать градусов на сто восемьдесят.

Так вот, понять кошачье племя дано, как я убежден, только женщинам. Женщины и кошки общий язык находят, а для нас, мужчин, это почти невозможное дело. В чем тут корень, я не знаю, а может быть, даже боюсь узнать.

Слушай внимательно о нескольких моих встречах с необыкновенными котами. Нельзя сказать, что эти коты совершили что-либо полезное для человечества — такое, о чем иногда приходится читать. Например, помню из газет, что один югославский кот бросился на огромную двухметровую гадюку и загрыз ее, спасая хозяйку — девочку, которая учила уроки в винограднике, а гадюка подползла к ней по лозе сверху, бесшумно. И вот этот югославский кот загрыз гадюку. Причем сбежавшиеся на шум жители югославской деревни — а там все жители городов и деревень бывшие партизаны, — так вот, все бывшие партизаны не осмелились броситься на помощь коту, который сражался с гадюкой один на один, — такая эта гадюка была ужасная. Кот, победив гадюку, скромно отошел в сторону и стал отдыхать.

Или еще мне приходилось читать, как немецкие кошки предупреждали людей о приближении таинственных несчастий и привидений. У немецких кошек шерсть обычно становится дыбом, когда они видят своим внутренним взором привидение. Интересно, правда, у какого немца шерсть не станет дыбом, если он увидит привидение? Вот только у совершенно лысого немца она не встанет.

Еще много приходилось читать и слышать, что британские коты предчувствуют смерть хозяйки. Но даже если это и так, то ничего хорошего здесь, как мне кажется, нет: о таких штуках, как смерть, лучше узнавать от доктора.

Русский кот-дворянка по кличке Жмурик ничего полезного для человечества не совершил, но врезался в мою память. Он прыгнул выше корабельной мачты, а был флегматичным котом.

Прибыл он к нам в бочке вместе с коробками фильма «Укротительница тигров» по волнам океана, как царь Додон или царь Салтан — всегда их путаю. В бочке котенок невозмутимо спал и, как говорится, ухом не вел — ни когда спускали бочку в волны с другого траулера, ни когда швыряло ее по зыбям, ни когда поднимали мы ее на борт.

За такую невозмутимость его и называли Жмуриком, что на музыкальном языке означает «покойник».

Был он рыж. Был осторожен, как профессиональный шпион-двойник: получив один-единственный раз по морде радужным хвостом морского окуня, никогда больше к живой рыбе не приближался. Когда начинали выть лебедки, выбирая трал, Жмурик с палубы тихо исчезал и возникал только тогда, когда последняя, самая живучая рыбина в ватервейсе отдавала концы.

Прожил он у нас на траулере около года нормальной жизнью судового кота — лентяя и флегмы. Но потом стремительно начал лысеть, а ночами то жалобно, то грозно мяукать.

Грубоватый человек боцман считал, что единственный способ заставить Жмурика не орать по ночам — это укротить ему хвост по самые уши. Тем более что у лысого Жмурика видок был, действительно, страшноватый. Однако буфетчица Мария Ефимовна, которая была главной хозяйкой и заступницей Жмурика, сказала, что всё дело

в его тоске по кошке. И командованием траулера было принято решение найти Жмурику подругу.

Где-то у Ньюфаундленда встретились мы с одесским траулером. Двое суток они мучили нас вопросами о родословной Жмурика, выставляли невыполнимые условия калыма и довели Марию Ефимовну до сердечного припадка. Наконец сговорились, что свидание состоится на борту у одесситов, время — ровно один час, калым — пачка стирального порошка «ОМО». Родословная Барракуды — так звали их красавицу — нас не интересовала, так как Жмурик должен был, как мавр, сделать свое дело и уходить.

Я в роли командира вельбота, Мария Ефимовна и пять человек эскорта отправились на траулер одесситов. Жмурик сидел в картонной коробке от сигарет «Шипка». Вернее, он там спал. Пульс восемьдесят, никаких сновидений, никаких подергиваний ушами, моральная чистота и нравственная готовность к подвигу. Но на всякий случай я взял с собой пятерых матросов, чтобы оградить Жмурика от возможных хулиганских выходов одесситов — с ними никогда не знаешь чем закончится: хорошей дракой или хорошей выпивкой.

Мы немного опаздывали, так как перед отправкой было много лишних, но неизбежных на флоте формальностей. Например, часть наших считала неудобным отправлять Жмурика на свидание в полуголом, облысевшем виде. И на кота была намотана тельняшка, на левую лапу прикрепили детские часики, а на шею повязали черный форменный галстук. Я был категорически против украшения. Не следует обманывать слабый пол, даже если его представителя зовут Барракудой. Со мной согласилось большинство, и Жмурик поехал к Барракуде старомодно обыкновенный.

Накануне Жмурику засовывали в пасть вяленый инжир и шоколад, — впрочем, перечислить все моряцкие глупости и пошлости я не берусь. Приведу только слова наказа, которые проорал капитан с мостика: «Жмурик, так тебя и так! Покажи этой одесситке, где раки зимуют!» Каким образом Жмурик мог показать Барракуде зимовку раков, скорее всего не знал даже наш бывалый и скупой на слова старый капитан.

И вот после неизбежных формальностей мы наконец отвалили.

Рядом со мной сидела помолодевшая и посвежевшая от волнения, мартовских брызг и сознания ответственности Марся Ефимовна. В авоське она везла коллеге на одесский траулер пакет «ОМО» лондонского производства. А на коленях у нее была картонка со Жмуриком. Я уже говорил, что кот спокойно спал. Он как-то даже и не насторожился от всей этой суеты, которая напоминала суету воинов перед похищением сабинянок. Здесь коту помогала врожденная флегматичность, к которой бывают, как мне кажется, склонны и рыжие мужчины: рыжие и выжидать умеют, и прыгать внезапно.

К сожалению, меня не насторожила обстановка на борту одессита. Просто я другого и не ожидал. Вся носовая палуба кишмя кишела одесситами. Между трюмами было оставлено четырехугольное пространство, обтянутое брезентовым обвесом на высоте человеческого роста. Оно напоминало ринг. Барракуда была привязана на веревке в дальнем от нас конце ринга. Она оказалась полосатой, дымчатой, обыкновенного квартирно-коммунального вида кошкой. Не думаю, что ее невинность, даже если о невинности могла идти речь, стоила такой дефицитной вещи, как пачка «ОМО» лондонского производства.

Как всегда в наши времена, при любом зрелище вокруг толкалось человек двадцать, что было явно нескромно, — но чего можно ожидать от одесских рыбаков в такой ситуации? Чтобы они все закрылись в каюте и читали «Хижину дяди Тома»? Ожидать этого от одесситов было бы по меньшей мере наивным. Поэтому я спокойно занял место, отведенное для нашей делегации, и сказал, что времени у нас в обрез.

И вдруг Жмурик показал, где зимуют раки. И показал он это место не только Барракуде, но и всем нам.

Когда картонку поставили внутрь ринга на стальную палубу и когда кот сделал первый шаг из коробки и увидел Барракуду, то не стал выжидать и сразу заорал.

У одного известного ленинградского романиста я как-то читал про козу, которая «кричала нечеловеческим голосом». Так вот, наш Жмурик тоже заорал нечеловеческим голосом, когда первый раз в жизни увидел одесситку с бельмом на глазу.

От этого неожиданного и нечеловеческого вопля все мы, старые моряки, вздрогнули, а один здоровенный одес-

сит уронил фотоаппарат, и тот полыхнул жуткой магниевой вспышкой.

Долго орать Жмурик не стал и, не закончив вопля, подпрыгнул над палубой метра на два строго вверх. У меня даже возникло ощущение, что кот вдруг решил стать естественным спутником Земли, но с первого раза у него это не получилось. И, рухнув вниз, на стальную палубу, он сразу запустил себя вторично, уже на орбиту метра в четыре. Таким образом, неудача первого запуска его как бы совсем и не обескуражила.

Надо было видеть морду Барракуды, ее восхищенную морду, когда она следила за этими самозапусками нашего лысого, флегматичного Жмурика!

Я знаю, что мы не используем и десяти процентов физических, нравственных и умственных способностей, когда существуем в обыкновенных условиях. И что совсем не обязательно быть Брумелем, чтобы прыгать выше кенгуру. Достаточно попасть в такие обстоятельства, чтобы вам ничего не оставалось делать, как прыгнуть выше самого себя, — и вы прыгнете, потому что в вашем организме заложены резервы. И Жмурик это демонстрировал с полной наглядностью. Просто чудо, что он не переломал себе всех костей, когда после третьего прыжка рухнул на палубу минимум с десяти метров.

Я никогда раньше не верил, что кошки спокойно падают из окон, потому что умеют особым образом переворачиваться и группироваться в полете. Теперь я швырну любого кота с Исаакиевского собора. И он останется жив, если при этом на него будет смотреть потаскуха-одесситка Барракуда.

Труднее всего передать то, что творилось вокруг ринга. Моряки валялись штабелями, дрыгая ногами в воздухе, колотя друг друга и самих себя кулаками, и, подобно Жмурику, орали нечеловеческими голосами. Такого патологического хохота, таких визгов, таких восхищенных ругательств я еще нигде и никогда не слышал.

Когда Жмурик без всякого отдыха ринулся за облака в четвертый раз, стало ясно, что пора все это свидание прекращать, что траулер перевернется, а матросня лопнет по всем швам. Капитан-одессит говорить тоже не мог, но знаками показывал мне, чтобы мы брали кота и отваливали, что он прикажет сейчас дать воду в пожарные

рожки на палубу, чтобы привести толпу в сознание, что необходимо помнить о технике безопасности.

Ладно. Каким-то чудом мне удалось засунуть под падающего уже из открытого космоса Жмурика картонную коробку из-под «Шипки». Потом мы все навалились на крышку коробки и попросили у одесситов кусок троса, потому что Жмурик и в коробке пытался запускать себя на орбиты в разные стороны, продолжал мяукать, и выть, и крыть нас таким кошачьим матом, что сам кошачий бес вздрагивал.

Боцман-одессит дал нам кусок веревки, взял за эту веревку расписку — так уж устроены эти боцмана, — и мы поехали домой, какие-то оглушенные и даже как бы раздавленные недавним зрелищем.

Жмурик притих в коробке: очевидно, он пытался восстановить в своей кошачьей памяти мимолетное видение Барракуды, которая растаяла как дым, как утренний туман, без всякой реальной для Жмурика пользы.

Через неделю Жмурик оброс волосами, как павнан. И старая рыжая, и новая черная шерсть били из него фонтаном. И весь его характер тоже разительно изменился. Услышав грохот траловой лебедки, он мчался на корму, садился у слипа и хлестал себя хвостом по бокам — точь-в-точь мусульманин-шиит. И когда трал показывался на палубе, Жмурик бросался в самую гущу трепыхающейся рыбы, и ему было все равно, кто там трепыхается — здоровенный скат или акула.

И если тебе, Витус, когда-нибудь попадался в рыбных консервах черно-рыжий кошачий хвост, то это был хвост нашего Жмурика, отхваченный ему под самый корешок рыбой-иглой возле тропика Козерога.

Вскорости после потери хвоста он лишился левого уха, и пришлось закрывать его в специальной будке, чтобы он не портил рыбу и не погиб сам в акулей пасти.

И тут мы получили странную радиограмму от одесситов: «Сообщите состояние Жмурика зпт степень облысения тчк. Судовой врач Голубенко».

Мы ответили: «Облысение прекратилось зпт кот оброс зпт как судовое днище водорослями тропическом рейсе тчк Привет Барракуде». И сразу пришла следующая радиограмма: «Факт обрастания Жмурика умоляю занести судовой журнал тчк Работаю кандидатской двтч лечение

облысения электрошоком тчк Подавал на Жмурика тридцать три герца сорок вольт при четырех амперах».

Итак, мы узнали, почему Жмурик чуть было не превратился в естественный спутник Земли. Но сам-то кот не мог об этом узнать. Он, очевидно, считал, что тридцать три герца исходили не от листа железа на палубе, а от Барракуды. И он свирепо возненавидел всех кошек. Однако это уже другая история. Она не имеет прямого отношения к мировой научно-технической революции.

А ты, Витус, должен зарубить себе на носу, что в основе этой революции лежит радио, но с ним связаны и неожиданности. Гриша по кличке Айсберг, например, исчез с флота в результате одной-единственной радиограммы своей собственной жены: «Купи Лондоне бюстгальтеры размер спроси радиста твоя Муму».

Тайна переписки, конечно, охраняется конституцией — все это знают. Но если некоторая утечка информации происходит и сквозь конверты, то в эфире дело обстоит еще воздушнее. Такая радиоутечка подвела Гришу Айсберга.

Гриша приходит в кают-компанию чай пить. Там стармех сидит и тупо, но внимательно смотрит на бюст одного великого человека, в честь которого было названо их судно.

Только Гриша хлеб маслом намазал, стармех начинает сетовать, что бюст великого человека уже изрядно обтрепался, потрескался, износился и надо обязательно заказать другой, новый бюст и для этого снять со старого бюста размеры, но можно, вообще-то, и не снимать, потому что радист, наверное, их и так знает.

Гриша спокойно объяснил стармеху, что его жена в магазине «Альбатрос» познакомилась с женой их радиста, жены подружились, часто встречаются и что у них одинаковый размер бюстов, но он, Гриша Айсберг, страдает тем, что не помнит никаких чужих размеров, даже свои размеры он не помнит, а у радиста все размеры записаны, и потому его, Гриши, жена и радировала, чтобы он взял нужный размер у радиста. Все понятно и ничего особенного.

— А кто тебе сказал, что я чего-нибудь не понимаю? — изумленно спросил стармех.

Гриша чай попил и пошел на вахту. Поднялся в рубку. Там третий штурман жалуется старпому, что в картохра-

нилище полки не выдвигаются и надо заставить плотника сделать новые полки, а размеры плотник пусть спросит у радиста, потому что радист знает их на память.

Гриша спокойно объяснил старпому и третьему, что его жена познакомилась в «Альбатросе» с женой радиста, жены подружились, часто встречаются, потому что живут рядом, что у них бюсты адекватные, а он, Гриша, не знает размеры, всегда забывает их, и когда рубашку покупает, то каждый раз шею ему измеряют холодной рулеткой; а у радиста в записной книжке есть все номера его, то есть радиста, жены, а так как эти номера одинаковы с номерами его, Гриши, жены, то жена и прислала такую радиограмму, и здесь он, Гриша, не видит ничего особенного.

— А кто тебе сказал, что мы видим? — спросили у него старпом и третий.

В обеденный перерыв электромеханик вместо заболевшего помполита сообщает по трансляции, что судно в настоящий момент проходит берега королевства Бельгия; что это небольшая страна, которая полностью помещается в Бенилюксе, но точные ее размеры он сейчас сообщить, к сожалению, не может, так как они записаны у радиста, а радист в данный момент на вахте и записная книжка находится при нем.

Вечером на профсоюзном собрании Гриша попросил слова. И сказал, что говорить он будет не по теме собрания, что по судну распространяется зараза, которая мешает ему работать, что ничего особенного нет в том, что его жена познакомилась в «Альбатросе» с женой радиста, что они потом подружились, так как живут близко, что у их жен одинаковые размеры, а он, Гриша, не знает никаких размеров, не может их запомнить, путает часто и привозит жене неподходящие вещи; поэтому она и послала ему радиограмму, в которой просит узнать размер бюстгальтера у радиста, потому что радист знает точные размеры, и что он, второй помощник капитана, пользуется тем, что тут сейчас собрался весь экипаж, и хочет всех разом обо всем этом информировать и на этом поставить точку.

Предсудкома берет слово и горячо заверяет Гришу, что никто никакой заразы не распространял, ничего не начинал, ничего особенного нет в том, что другой мужчина знает размер бюста твоей жены, такое у всех может

случиться, ведь все понимают, как тяжело переживают жены, когда привезешь ей хорошую заграничную вещь, а вещь не лезет или, наоборот, болтается как на вешалке. И если у радиста записаны размеры, а бюсты их жен адекватны, то это очень хорошо и удачно получилось у них с радистом, такое совпадение экипаж может только от всей души приветствовать, и пусть Гриша работает спокойно.

Всю следующую неделю к Грише, который выполнял общественную нагрузку, консультируя заочников средней школы по математике, приходили матросы и мотористы с просьбой объяснить вывод формулы «пи-эр-квадрат». Есть Гриша перестал и вздрагивал даже при упоминании мер длины, а, как известно, грузовому помощнику без этих мер обойтись совершенно невозможно.

Последний штрих, который увел Гришу с флота, заключался в том, что на подходе к Ленинграду он увидел на ноке фока-рея серый бюстгальтер, поднятый туда на сигнальном фале, причем фал был продернут до конца и обрзан.

Так они и швартовались под этим непонятным серым выпелом. И только через несколько часов один отчаянный таможенник-верхолаз смог на фока-рей добраться, потому что таможенники не имеют права оставлять без досмотра и бюстгальтер — вдруг в него валюта зашита? Но оказалось, что ничего в бюстгальтере зашито не было и весь он вообще представлял собой сплошную дыру, ибо принадлежал раньше дневальной тете Клаве, которая давным-давно использовала его как керосиновую тряпку... Тетя Клава, как ты понимаешь, не имеет никакого отношения к научно-технической революции. И ты, Витус, тоже, как это ни прискорбно, не имеешь к ней отношения. Не ощущается в тебе находчивости, ты уже стар и туповат, хотя, может быть, неплохо образован для среднего судоводителя. Не бывать нам уже технократами, — мрачно закончил Ниточкин. — А ты откуда сейчас прибыл?

— Петя, ты сегодня не в своей тарелке. Я уже говорил. Прилетел из Новороссийска. Сорвался с фумигации. Первый раз в жизни чемодан укладывал с противоголом на морде. И все равно чуть дуба не врезал. И куртку забыл нейлоновую, и справочник капитанский, и кактус.

— С кактусом в самолет не пускают. Я пробовал, — сказал Ниточкин. — А как идут дела в Новороссийске?

— Сдуло им почву в море. Иллюминаторы после боры отмыть невозможно.

— И я в этом Новороссийске как-то попал в плохой сезон. И вот случаем продали нам сердобольные женщины трех кур. Вернее, двух кур и петуха. Жили мы в гостинице для моряков — тоже на фумигации, — кухонного инвентаря нет, жевать хочется ужасно. Двух кур мы лишили жизни, одну разодрали на куски и засунули в электрический чайник. Другую подготовили к этому мероприятию, а петуха посадили в шкаф живым, чтобы он не прокис раньше времени.

Пока первая курица кипела в чайнике, мы успели надраться в предвкушении курятины. Потом мы ее съели, засунули в чайник следующую и все заснули. Пока мы спали, вода из чайника выкипела и по коридорам понесло запахом жареной курицы, у всей остальной морской братии слюнки потекли. . . Но дело не в этом, а в том, что по гостинице уже давно был объявлен розыск двух девиц — чьих-то «невест». Ребята из морской дружбы перепрыгивали этих девиц по номерам, подвалам и чердакам уже неделю, и администрация с ног сбилась. Даже немецких овчарок приводили. Но ребята не поскупились на трубочный табак и засыпали им все щели. Овчарки чуть было своих собственных руководителей не перекусали. И вот наша судовая администрация и гостиничная администрация делают очередной неожиданный налет.

Входят они в наш номер. Видят, из чайника дым идет, в шкафу что-то трепыхается, мы все спим, а над нами пух летает и перья. Ну, ясно, что в шкафу девицы спрятались. Собрали свидетелей, понятых — все как положено. . . Знаешь состояние человека, который совсем уже собрался чихнуть? Уже и глаза закрыл, и нос сморщил, и весь уже находился в предвкушении блаженного, желанного чиха, — ан нет, не чихнулось! Вот такое, вероятно, пережили члены поисковой комиссии, когда из шкафа петух вместо девиц выскочил и закукарекал.

Мы глаза продрали, но ничего понять не можем: вокруг много начальства, из чайника черный дым валит, и среди всего этого беспорядка петух летает и кукарекает. . . Смешно, но именно через этот случай я узнал, что

такое полная, стопроцентная психическая несовместимость...

У меня училище наконец закончено было, диплом в кармане, а меня за этого петуха еще на один рейс — плотником, да еще артельным в придачу выбрали. И загремел я в тропики на казаке «Степане Разине» — питьевую воду мерить и муку развешивать.

Ладно. Гребем. Жара страшная. Взяли на Занзибаре мясо. Что это было за мясо — я и сейчас не знаю, может быть зебры. Или такое предположение тоже было — бегемота. И вот это старшего помощника, естественно, тревожило. И он старался подобрать к незнакомому мясу подходящую температуру в холодильнике, то есть в холодной артелке. Каждый день в восемь тридцать спускался ко мне в артелку, нюхал бегемотину и смотрел температуру. И так меня к своим посещениям приучил — а пунктуальности он был беспримерной, — что я по нему часы проверял.

Звали чифа Эдуард Львович, фамилия — Саг-Сагайло.

Никогда в жизни я не сажал людей в холодильник специально. Грешно сажать человека в холодильник и выключать там свет, даже если человек тебе друг-приятель. А если ты с ним вообще мало знаком и он еще твой начальник, то запирать человека на два часа в холодильнике просто глупо.

Еще раз подчеркиваю, что произошло все это совершенно случайно, тем более что ни на один продукт в нашем холодильнике Саг-Сагайло не походил. Он был выше среднего роста, белокурый, жилистый, молчаливый, а хладнокровие у него было ледяное. Мне кажется, Эдуард Львович происходил из литовских князей, потому что он каждый день шею мыл и рубашку менял. Вот в одной свежей рубашке я его и закрыл. И он там в темноте два часа опускал и поднимал двадцатикилограммовую бочку с комбижиром, чтобы не замерзнуть. И это помогло ему отделаться легким воспалением легких, а не чахоткой, например.

Конфуз произошел следующим образом. У Сагайлы в каюте лопнула фановая труба, он выяснял на эту тему отношения со старшим механиком и опоздал на обнюхивание бегемотины минут на пять.

Я в артелке порядок навел, подождал чифа — его нет и нет. Я еще раз стеллажи обошел — а они у нас были

в центре артелки, — потом дверью хлопнул и свет выключил. Получилось же как в цирке у клоунов: следом за мной вокруг стеллажей Эдуард Львович шел. Я за угол — и он за угол, я за угол — и он за угол. И мы друг друга не видели. И не слышали, потому что в холодной артелке специально для бегемотины Эдуард Львович еще вентиляторы установил и они шумели, ясное дело.

— Ниточкин, — спрашивает Эдуард Львович, когда через два часа я выпустил его в тропическую жару и он стяхивал с рубашки и галстука иней. — Вы читали Шиллера?

Я думал, он мне сейчас голову мясным топором отхватит, а он только этот вопрос задал.

— Нет, — говорю, — трудное военное детство, не успел.

— У него есть неплохая мысль, — говорит Саг-Сагайло хриплым, морозным, новогодним голосом. — Шиллер считал, что против человеческой глупости бессильны даже боги. Это из «Валленштейна». И это касается только меня, товарищ Ниточкин.

— Вы пробовали кричать, когда я свет погасил? — спросил я.

— Мы не в лесу, — прохрипел Эдуард Львович.

Несколько дней он болел, следить за бегемотиной стало некому — я в этом деле плохо соображал. Короче говоря, мясо протухло. Команда, как положено, хай подняла, что кормят плохо, обсчитывают и так далее. И все это на старпоме, конечно, валится.

Тут как раз акулу поймали. Ну, обычно наши моряки акуле в плавнике дыру сделают и бочку принайтовят или пару акул хвостами свяжут и спорят, какая у какой первая хвост вырвет с корнем. А здесь я вспомнил, что в столице, в ресторане «Пекин», пробовал жевать второе из акульих плавников — самое дорогое было блюдо в меню. Уговорил кока, и он акулу зажарил. И получилось удачно — сожрали ее вместе с плавниками. Два дня жрали. И Эдуард Львович со мной даже пошучивать начал.

А четвертый штурман, сопливый мальчишка, вычитал в лоции, что акулу мы поймали возле острова, на котором колония прокаженных. И трупы прокаженных выкидывают на съедение местным акулам. Получалось, что бациллы проказды прямым путем попали в наши желудки. Кое-кого тошнить стало, кое у кого температура

поднялась самым серьезным образом, кое-кто сачкует и на вахту не выходит под этим соусом.

Капитан запрашивает пароходство, пароходство — Москву, Москва — главных проказных специалистов мира. Скандал на всю Африку и Евразию. И Саг-Сагайле строгача вlepили за эту проклятую акулу.

Вечером прихожу к нему в каюту, чтобы объяснить, что акул любых можно есть, что у них невосприимчивость к микробам, они раком не болеют. Я все это сам читал под заголовком: «На помощь, акула!» Чтобы акулы помогли нам побороть рак. И что надо обо всем этом сообщить в пароходство и снять несправедливый строгач.

Эдуард Львович все спокойно выслушал и говорит вежливо:

— Ничего, товарищ Ниточкин. Не беспокойтесь за меня, не расстраивайтесь. Переживем и выговор — первый он, что ли?

Но в глаза мне смотреть не может, потому что не испытывает желанья мои глаза видеть.

Везли мы в том рейсе куда-то ящики со спортивный инвентарем, в том числе со штангами. Качнуло крепко, несколько ящиков побилось, пришлось нам ловить штанги и крепить в трюмах. А я когда-то тяжелой атлетикой занимался, дай, думаю, организую секцию тяжелой атлетики, а перед приходом в порт заколотим эти ящики — и все дело. Капитан разрешил. Записались в мою секцию пять человек: два моториста, электрик, камбузник. И... Саг-Сагайло записался.

Пришел ко мне в каюту и говорит:

— Главное в нашей морской жизни — не таить чего-нибудь в себе. Я, должен признаться, испытываю к вам некоторое особенное чувство. Это меня гнетет. Если мы вместе позанимаемся спортом, все разрядится.

Ну, выбрали мы хорошую погоду, вывел я атлетов на палубу, посадил всех в ряд на корточки и каждому положил на шею по шестидесятикилограммовой штанге — для начала. Объяснил, что так производится на первом занятии проверка потенциальных возможностей каждого. И командую:

— Встать!

Ну, мотористы кое-как встали. Камбузник просто упал. Электрик скинул штангу и покрыл меня матом. А Саг-Сагайло продолжает сидеть, хотя я вижу, что си-

деть со штангой на шее ему уже надоело и он хотел бы встать, но это у него не получается, и глаза у него начинают вылезать на лоб.

— Мотористы! — командуя ребятам. — Снимай штангу с чифа! Живо!

Он скрипнул зубами и говорит:

— Не подходить!

А дисциплину, надо сказать, этот вежливый старпом держал у нас правильную. Ослушаться его было непросто.

Он сидит. Мы стоим вокруг.

Прошло минут десять. Я послал камбузника за капитаном. Капитан пришел и говорит:

— Эдуард Львович, прошу вас, бросьте эти штучки, вылезайте из-под железа: обедать пора.

Саг-Сагайло отвечает:

— Благодарю вас, я еще не хочу обедать. Я хочу встать. Сам.

Тут помполит явился, набросился, ясное дело, на меня, что я чужие штанги вытащил.

Капитан, не будь дурак, бегом в рубку и играет водяную тревогу. Он думал, чиф штангу скинет и побежит на мостик. А тот, как строевой конь, услышавший сигнал горниста, встрепенулся весь — и встал! Со штангой встал! Потом она рухнула с него на кап машинного отделения, и получилась здоровенная вмятина. За эту вмятину механик пилил старпома до самого конца рейса...

Ты не хуже меня знаешь, что старпом может матроса в порошок стереть, жизнь ему испортить. Эдуарда Львовича при взгляде на меня тошнило, как матросов от прокаженной акулы, а он так ни разу голоса на меня и не повысил. Правда, когда я уходил с судна, он мне прямо сказал:

— Надеюсь, Петр Иванович, судьба нас больше никогда не сведет. Уж вы извините меня за эти слова, но так для нас было бы лучше. Всего вам доброго.

Прошло несколько лет, я уже до второго помощника вырос, потом до третьего успел свалиться, а известно, что за одного битого двух небитых дают, то есть стал я уже более менее неплохим специалистом.

Вызывают меня из отпуска в кадры, суют билет на самолет: вылетаю в Тикси немедленно на подмену — там третий штурман заболел, а судно на отходе. Дело при-

вычное — дома слезы, истерика, телеграммы вдогонку. Добрался до судна, представляюсь старпому, спрашиваю:

— Мастер как? Спокойный или дергает зря? — Ну, сам знаешь эти вопросы. Чиф говорит, что мастер — удивительного спокойствия и вежливости человек. У нас, говорит, буфетчица — отвратительная злющая старуха, въедливая, говорит, карга, но капитан каждое утро ровно в восемь интересуется ее здоровьем.

Стало мне тревожно.

— Фамилия мастера?

— Саг-Сагайло.

Свела судьба. И почувствовал я себя в некотором роде самолетом: заднего хода ни при каких обстоятельствах дать нельзя. В воздухе мы уже, летим.

Не могу сказать, что Эдуард Львович расцвел в улыбке, когда меня увидел. Не могу сказать, что он, например, просиял. Но все положенные слова взаимного приветствия сказал. У него тоже заднего хода не было: подмена есть подмена. Ладно, думаю. Все ерунда, все давно быльем поросло. Надо работать хорошо — остальное наладится.

Осмотрел свое хозяйство. Оказалось, только один целый бинокль есть, и тот без ремешка. Обыскал все ящики — нет ремешков. Ладно, думаю, собственный для начала не пожалею, отменный был ремешок, в Сирии покупал. Я его разрезал вдоль и прикрепил к биноклю. Нельзя, если на судне всего один нормальный бинокль — и без ремешка, без страховки. Намотал этот проклятый ремешок на переносицу этому проклятому биноклю по всем правилам и бинокль в пенал засунул.

Стали сниматься. Саг-Сагайло поднялся на мостик.

Я жду: заметит он, что я ремешок привязал, или нет? Похвалит или нет? Ну, сам штурман, знаешь, как все это на новом судне бывает. Саг-Сагайло не глядя, привычным капитанским движением протягивает руку к пеналу, ухватывает кончик ремешка и выдергивает бинокль на свет божий. Ремешок, конечно, раскручивается, и бинокль — шмяк об палубу. И так ловко шмякнулся, что один окуляр вообще отскочил куда-то в сторону.

Саг-Сагайло закрыл глаза и медленно отсчитал до десяти в мертвой тишине, потом вежливо спрашивает:

— Кто здесь эту самостоятельность проявил? Кто эту сыромятную веревку привязал и меня не предупредил?

Я догнал окуляр где-то уже в ватервейсе, вернулся и доложил, что хотел сделать лучше, что единственный целый бинокль использовать без ремешка было опасно...

Саг-Сагайло еще до десяти отсчитал и говорит:

— Ничего, Петр Иванович, всяко бывает. Не расстраивайтесь. Доберемся домой и без бинокля. Или, может, на ледоколах раздобудем за картошку.

И хотя он сказал это вежливым и даже, может быть, мягким голосом, но на душе у меня выпал какой-то осадок.

Дали ход, легли на Землю Унге.

Эдуард Львович у правого окна стоит, я — у левого.

Морозец уже над Восточно-Сибирским морем. Стенело. Погода маловетренная. И в рубке тихо, но тишина для меня какая-то зловещая.

Все мы знаем, что если на судне происходит одна неприятность, то жди еще двух — до ровного счета. Чувствую: вот-вот опять что-нибудь случится. Но стараюсь волевым усилием отвлекать себя от этих мыслей.

Через час Саг-Сагайло похлопал себя по карманам и ушел с мостика вниз.

— Плывите, — говорит, — тут без меня.

Остался я на мостике один с рулевым и думаю: что бы сделать полезного? А делать ровным счетом нечего: берегов уже нет, радиомаяков нет, небес нет, льдов пока еще тоже нет. В окна, думаю, дует сильно. Надо, думаю, окно капитанское закрыть. И закрыл.

Ведь какая мелочь: окно там закрыл человек или, наоборот, открыл, но когда образуется между людьми эта психическая несовместимость, то мелочь вовсе не мелочь.

Так через полчаса появляется Эдуард Львович и, попыхивая трубкой, шагает своими широкими, решительными шагами к правому окну, к тому, что я закрыл, чтобы не дуло.

Я еще успел отметить, что когда Саг-Сагайло старпомом был, то курил сигареты, а стал капитаном — трубку завел. Только я успел это отметить, как Саг-Сагайло с полного хода высовывается в закрытое окно. То есть высунуться-то ему, естественно, не удалось. Он только втыкается в стекло-сталинит лбом и трубкой. Из трубки ударил столб искр, как из паровоза дореволюционной

постройки. А я — тут уж нечистая сила водила мой рукой — перевожу машинный телеграф на «полный назад». Звонки, крик в рубке, и попахивает паленым волосом.

Потом затихло все, и только слышно, как Саг-Сагайло считает: «...восемь, и девять, и десять». Потом негромко спрашивает:

— Петр Иванович, это вы окно закрыли? Разве я вас об этом просил?

А я вижу, что у него вокруг головы во мраке рубки возникает как бы сияние, такое, как на древних иконах. Короче говоря, вижу я, что Эдуард Львович Саг-Сагайло вроде бы горит. И находится он в таком вообще наэлектризованном состоянии, что пенным огнетушителем тушить его нельзя, а можно только углекислотным.

Я ему обо всем этом говорю. И мы с рулевым накидываем ему на голову сигнальный флаг: других тряпок в рулевой рубке, конечно, и днем с огнем не найдешь.

Потом я поднял трубку, открыл капитанское окно и тихо забился в угол за радиолокатор. А Саг-Сагайло осматривается вокруг и время от времени хватается за обгоревшую голову. Наконец спрашивает каким-то не своим голосом:

— Скажите, товарищ Ниточкин, мы назад плывем или вперед?

И тут только я понимаю, что телеграф продолжает стоять на «полный назад».

Минут через пятнадцать после того, как мы дали нормальный ход, Эдуард Львович говорит:

— Петр Иванович, вам один час остался, море пустое; я думаю, вы без меня обойдетесь. Я чувствую себя несколько нездоровым. Передайте по вахте, чтобы меня до утра не трогали: я снотворное приму.

И ушел, потому что, очевидно, уже физически не мог рядом со мной находиться.

И такая меня тоска взяла — хоть за борт прыгай. И он человек отличный, и я только хорошего хочу, а получается у нас черт знает что. Ведь не докажешь, что я все из добрых побуждений делал; что в холодильнике его случайно закрыл; что штангу действительно на шею кладут, когда в атлеты принимают; что в окно дуло и ветер рулевому мешал вперед смотреть; и что я свой собственный, за два кровных фунта купленный ремешок загубил, чтобы

бинокль застраховать... Не объяснишь, не докажешь этого никому на свете.

На следующий день все у меня валилось из рук в полном смысле этих слов. Чумичка, например, за обедом шлепнулась обратно в миску с супом, и брызги рыжего томатного жира долетели до ослепительной рубашки Эдуарда Львовича. Он встал и молча ушел из кают-компании.

Спустился я в каюту и попробовал с ходу протиснуться в иллюминатор, но Мартин Иден из меня не получился, потому что иллюминатор, к счастью, оказался маловат в диаметре. Был бы спирт, напился бы я. И пароход чужой, пойти не к кому, поплакаться в жилетку, излить душу. Хотя бы Сагайло на меня ногами топал, орал, в цепной ящик посадил, как злостного хулигана и вредителя, — и то мне бы легче стало...

А он на глазах тощает, седеет, веко у него дергается, когда я в поле зрения попадаю, но все так же говорит: «Доброе утро, Петр Иванович! Сегодня в лед войдем, вы повнимательнее, пожалуйста. Здесь на картах пустых мест полно, промеров еще никогда не было, за съемной навигационной обстановкой следите, ее для себя сезонные экспедиционники ставят, и каждый огонь, прошу вас, секундомером проверяйте».

И знаешь, как сказал Шиллер, с дураками бессильны даже боги. Ведь я уже опытным штурманом был, черт побери, а как упомянул Эдуард Львович про секундомер, так я за него каждую секунду хвататься стал — от сверхстарательности. Звезда мелькнет в тучах на горизонте, а у меня уже в руках секундомер тикает, и я замеряю проблески Альфы Кассиопеи. Пока я Кассиопею измеряю, мы в льдину втыкаемся и белых медведей распугиваем, как воробьев.

Штурмана, знаешь, народ ехидный. Вид делают сочувствующий, сопонимающий, а сами, подлецы, радуются: еще бы! — каждую вахту третьего штурмана на мостике можно вроде как цирк бесплатно смотреть, оперетту, я бы даже сказал — кордебалет! Тюлени и те из полыньи выглядывали, когда я на крыло мостика выходил.

Ну-с, пробиваемся мы к северному мысу Земли Унге сквозь льды и туманы. Вернее, пробивается капитан Саг-Сагайло, а мы только свои вахты стоим. Вышли на види-

мость мыса Малый Унге, там огонь мигает. Я, конечно, хвать секундомер. Эдуард Львович говорит:

— Петр Иванович, здесь два съемных огня может быть. У одного пять секунд, у другого — восемь.

А я только один огонь вижу. Руки трясутся, как с перепоя. Замерил период — получается пять секунд. Дай, думаю, еще раз проверю. Замерил — двенадцать получается. Я еще раз — получается восемь. Я еще раз — двадцать два.

Эдуард Львович молчит, меня не торопит, не ругается. Только видно по его затылку, как весь он напряжен и как ему совершенно необходимо услышать от меня характеристику этого огня. Справа нас ледяное поле поджимает, слева — стамуха под берегом сидит, и «стоп» давать нельзя: судно руля не слушает.

— Эдуард Львович, — говорю я. — Очевидно, секундомер испортился или огни в створе. Все разные получаются характеристики.

— Дайте, — говорит, — секундомер мне, побыстрее, пожалуйста!

Дал я ему секундомер. Он вынимает изо рта сигарету (после случая с закрытым окном Эдуард Львович опять на сигареты перешел) и той же рукой, которой держит сигарету, выхватывает у меня секундомер. И — знаешь, как отсчитывают секунды опытные люди — каждую секунду вместе с секундомером рукой сверху вниз: «Раз! Два! Три! Четыре! Пять!»

— Пять! — и широким жестом выкидывает за борт секундомер.

Это, как я уже потом догадался, он хотел выкинуть окурочек сигаретный, а от напряжения и лютой ненависти ко мне выкинул с окурком и секундомер. Выплеснул, как говорится, ребенка вместе с водой. Выплеснул — и устал себе в руку: что, мол, такое — только что в руке секундомер тикал, и вдруг ничего больше не тикает. Честно говоря, здесь его ледяное хладнокровие лопнуло. Мне даже показалось, что оно дало широкую трещину.

И я от кошмара происходящего машинально говорю:

— Зачем вы, товарищ капитан, секундомер за борт выкинули? Он восемьдесят рублей стоит и за мной числится.

— Знаете, — говорит Эдуард Львович как-то задумчиво, — я сам не знаю, зачем его выкинул. — И как

заорет: — Вон отсюда, олух набитый! Вон с мостика, акула! Вон!!

Пока все это происходило, мы продолжаем машинами работать. И вдруг — трах! — летим все вместе куда-то вперед по курсу. Кто спиной летит, кто боком, а кому повезло, тот задом вперед летит.

Самое интересное, что Эдуард Львович в этот момент влетел в историю человечества и обрел бессмертие. Потому что банка, на которую мы тогда сели, теперь официально на всех картах называется его именем: банка Саг-Сагайло.

Ну-с, дальше все происходит так, как на каждом порядочном судне происходить должно, когда оно село на мель. Экипаж продолжает спать, а капитан принимает решение спустить катер и сделать промеры, чтобы выбрать направление отхода на глубину.

Мороз сильный, и мотор катера, конечно, замерз — не заводится. Нужна горячая вода. Чтобы принести воду, нужно ведро. Ведро у боцмана в кладовке, а ключи он со сна найти не может; буфетчица свое ведро не дает, и так далее и тому подобное.

Я эти мелкие, незначительные подробности запомнил, потому что мастер с мостика меня выгнал, а спать мне как-то не хотелось.

С мели нас спихнуло шедшее навстречу ледяное поле: как жахнуло по скуле, так мы и вздохнули опять легко и спокойно. Все вздохнули, кроме меня, конечно.

Подходит срок на очередную вахту идти, а я не могу, и все! Сижу, валерьянку пью. Курю. Эленнума тогда еще не было. Стук в дверь.

— Кого еще несет?! — ору я. — Пошли вы к такой-то и такой-то матери!

Входит Эдуард Львович.

Я только рукой махнул, и со стула не встал, и не извинился.

— Мне доктор сказал, — говорит Эдуард Львович, — у вас бутылка с валерьянкой. Накапайте и мне сколько там положено и еще немного сверх нормы.

Накапал я ему с четверть стакана. Он тяпнул, говорит:

— Я безобразно вел себя на мостике, простите. И вам на вахту пора.

Еще немного — и зарыдал бы я в голос.

И представляешь выдержку этого человека, если до самого Мурманска он ни разу не заглянул мне через плечо в карту.

Капитаны бывают двух видов. Один вид непрерывно орет: «Штурман, точку!» И все время дышит тебе в затылок, смотрит, как ты транспортир вверх ногами к линейке прикладываешь. А другой специально глаза в сторону отводит, когда ты над картой склонился, чтобы не мешать даже взглядом. И вот Эдуард Львович был, конечно, второго вида. И в благодарность за всю его деликатность, когда мы уже швартовались в Мурманске, я защемил ему большой палец правой руки в машинном телеграфе. А судно «полным назад» отработывало, и высвободить палец из рукоятной защелки Эдуард Львович не мог, пока мы полностью инерцию не погасили. И его на санитарной машине сразу же увезли в больницу...

Вот желают нам, морякам, люди «счастливого плавания», подумал уже я, а не Петя Ниточкин. Из этих «счастливых плаваний» самый захудалый моряк может трехкомнатную квартиру соорудить — такое количество пожеланий за жизнь приходится услышать. Ежели каждое «счастливого плавания» представить в виде кирпича, то, пожалуй, и дачу можно построить. Но когда добрые люди желают нам счастья в рейсе, они подразумевают под этим счастьем отсутствие штормов, туманов и айсбергов на курсе и знаменитые три фута чистой воды под килем. А все шторма и айсберги — чепуха и ерунда рядом с психическими барьерами, которые на каждом новом судне снова, и снова, и снова преодолеваешь, как скаковая лошадь на ипподроме...

ПРИМЕЧАНИЕ К ВОПРОСУ О ПСИХИЧЕСКОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ

Я включаю в эту книгу некоторые уже печатавшиеся рассказы моего друга против желания издателя, что является вполне естественным и совершенно со стороны издателя законным, ибо издатели предпочитают издавать рукописи, не апробированные временем, не разрушенные еще литературно-критическими разборами, не обесцененные еще бесконечными примерами в школьных хрестоматиях.

Я потратил много сил, чтобы преодолеть сопротивление издателя. Я добивался этого потому только, что мне самому отнюдь не хочется опять конкурировать с Ниточкинским, не хочется соседствовать с его легкомысленными байками своей псевдофилософичностью. Если хотите, я просто ревную к бесхитростным произведениям морского фольклора, ибо уже не способен к ним сам. Но законы русской совести удивительны.

Понимаете ли, вот, например, сейчас в мире чаще стали разбиваться самолеты. Нормальные люди в таком случае стараются при любой возможности избежать полета и ехать поездом. И когда они едут в поезде, их совесть вполне спокойна, если, конечно, они никуда не опаздывают.

Я же принадлежу к тем ненормальным русским людям, которые обязательно полетят самолетом, хотя самолеты на всех континентах только и делают, что падают. Причем я полечу самолетом не потому, что я опаздываю, и не потому, что некоторые злобные остряки утверждают, будто поездом ездить еще опаснее, нежели самолетом, так как последние якобы падают именно на поезда, пытаюсь использовать рельсы вместо запасного аэродрома; нет, я полечу самолетом только потому, что до тошноты лететь.

не хочу. Никто, кроме меня, не знает, что я лететь боюсь; никто уязвить мою честь не может; честь моя находится в забронированном месте, но совесть не имеет брони.

Я представляю себе иногда в часы бессонницы тысячи пилотов за штурвалом и без парашютов, но с авоськами помидоров в пилотском предбаннике (если они пронзают воздушное пространство с юга на север) или с копченым муксуном (если они пронзают пятый океан с севера на юг). Я представляю себе тысячи бортпроводниц, которых на заре аэрофлота называли стюардессами, потому что на заре они все были тоненькими, любезными, загадочными и изящными. Теперь, правда, они потолстели, охрипли и постарели ровно на столько лет, на сколько и сам пассажирский турбореактивный аэрофлот. Но вот я представляю себе всех этих безмянных голубых героев и голубых героинь на высоте десяти километров. И думаю о том, что они в любой миг могут брякнуться с одной только горизонтальной скоростью двести пятьдесят метров в секунду.

И я покупаю билет к ним.

Так и в настоящем случае. Мне невыгодно соседствовать с Петей, но я не могу выкинуть из песни и его легкомысленного слова, ибо так требует моя русская совесть, законы которой неисповедимы.

В чем суть психической несовместимости, если мы отнесемся к этому вопросу без шуточек? В том, что, пока у тебя нервы не расшатаны длительным рейсом, ты можешь терпеть в других людях то, что вызывает в тебе раздражение. Например, тебе с первой встречи ужасно противно есть вместе с механиком, который чавкает. Но ты ешь и молчишь месяц, второй, третий, а потом, когда нервы твои уже расшатаны длительным рейсом или механиковым чавканьем, ты взрываешься и сообщаемь механику, что еще в петровские времена было сказано в «Юности честном зеркале», что чавкают только свиньи. Естественно, механик удивляется, что ты вдруг стал к нему придираться, хотя раньше целых три месяца не придирался. И он искренне считает, что ты просто из пальца все высосал. И сразу говорит, что у тебя уши дергаются, когда ты жуешь, но что он-то молчал об этом все три месяца, и т. д. и т. п.

Короче говоря, нарушение психической совместимости наступает тогда, когда ты начинаешь сообщать другим

людям правду о том, что ты о них думаешь. Пока ты врал им, то есть скрывал свое раздражение их привычками или поступками, все было хорошо. Но под влиянием длительного рейса твои ослабшие нервы не дают тебе возможности врать.

И вот именно правдивость и есть самое ужасное в человеческих отношениях.

Если ты с полной искренностью заявляешь, что терпеть не можешь чавкающих людей, то тебе заявляют, что ты нетерпим к людям, не умеешь владеть собой и являешься негодным членом коллектива. Парадокс здесь в том, что самое высокое человеческое качество — правдивость, искренность — при существовании в коллективе есть самое дурное и вредное качество. И чем больше, и шире, и чистосердечнее ты информируешь людей о своем к ним истинном отношении, тем хуже идут дела в коллективе.

Быть может, великая заповедь «понять человека — простить человека» равносильна подпольной мудрости «лги людям»? Но мы же знаем, что ложь противоречит самой сути природы, которая не способна лгать. Если температура поднимается, камень расширяется. Он не способен не расширяться, потому что лишен способности лгать. Человек лгать способен. Тогда получается, что мы, может быть, и вершина природы, но и исчадие ее, мы — нечто, противсечащее ее сути. И если бы я принимал участие в конкурсе на определение того, что такое «человек», в конкурсе, который продолжается без всякого успеха уже десять тысяч лет, то предложил бы такую формулировку: «Человек — существо, обладающее способностью лгать и не могущее существовать без этой способности, ибо обречено на страх перед одиночеством». Именно страх перед одиночеством вынуждает нас лгать и терпеть чужую ложь и на пароходе, и в космосе, и в семье.

Даже рай и ад человечество во все времена и у всех народов представляло и представляет в виде мощного коллектива праведников или грешников. И в раю и в аду всегда кишмя кишит народ. Ни одному гению не пришлось даже на ум наказать грешника обыкновенным могильным одиночеством. Ведь на миру и раскаленная сковородка, и сатанинские щипцы, и кипящая смола — чепуха. Вот помести грешника в обыкновенный гроб, закопай, и пусть он там лежит в одиночестве без надежды пообщаться

даже с судьями в день Страшного суда. Рядом с таким наказанием коллективное бултыхание в кипящей смоле — купание на Лазурном берегу.

Человек не может представить себе полного одиночества даже на том свете. А за любое общение надо платить. И разменной монетой для этого испокон веков была и есть ложь. Ложь — первородный грех: как сожрали яблоко и не признались — вот отсюда все и пошло.

«Правда настолько драгоценна, что ее должен сопровождать эскорт из лжи». Это сказал великий мастер по эскортам Уинстон Черчилль. Он-то уж знал, что говорил.

Однако не след забывать о двух коэффициентах, которые, как и все вообще постоянные величины, по своей сути пришей кобыле хвост, потому что выведены и введены в формулу общественной жизни чисто эмпирическим путем, путем подбора и случайного на них натекания, а не логическим путем; но эти коэффициенты все-таки существуют. Я имею в виду любовь и привычку.

Первая является как бы ньютоновской, как бы частным и редким случаем всеобщей эйнштейновской Привычки.

Из народной мудрости известно, что привычка — вторая натура. Лермонтов заметил, что для большинства она при этом и единственная. Это-то и спасает большинство: наш нос способен адаптироваться к запаху чужого пота и перестать замечать этот запах, если мы нюхаем достаточно долго. А меньшинство спасается через любовь. В случае любви мы получаем удовольствие даже от запаха пота своего любимого.

В первом случае мы с чистой совестью лжем ближнему иногда даже целые века. И только во втором случае мы вообще не лжем. Итак, чтобы существовать без лжи, нам необходимо любить абсолютно всех ближних. Но мы точно знаем, что такое невозможно.

Значит, ложь есть полная и абсолютная необходимость? Нет!

Вот здесь-то мы и обнаруживаем самое удивительное! Оказывается, что за тысячелетия лжи, как основы основ нашего существования, мы так и не смогли полностью адаптироваться к ней! Человек не способен лгать вечно, черт бы его, человека, побрал! В какой-то момент мы

вдруг ляпаем: «Эй! Ты! Болван нечесаный! Иди помойся! И перестань чавкать, осел!..» И ведь знаем, что этот «болван нечесаный» нам дорого станет, но не можем мы лишиться себя такого удовольствия: хоть на миг перестать лгать и выстрелить из себя то, что на самом деле чувствуем.

И вот гигант самообмана и воли, требовательный воспитатель всеобщей любви, создатель даже новой религии, художественный гений — Лев Николаевич — ничего с собой поделаться не может, кричит на весь мир и космос, что жена Софья Андреевна — старая ведьма, и бежит от нее в белый свет, как в копеечку, и умирает на полустанке. Вот ведь какой анекдот! И твердо, неколебимо понимаем, что лживое терпение — основа общения и мира. И в то же время не испытываем большего наслаждения, нежели при врезании ближнему прямо между глаз правды-матки. Оказывается, и мы и камень одинаково должны расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении; оказывается, ненависть к привычному притворству и лжи так же органична для нас, как и для мертвой природы.

Но, ляпнув правду, мы обрекаем себя на смерть в чужой постели на чужом полустанке и на одиночество, в котором существовать не можем. И чтобы прорвать круг одиночества, мы просим у потного, чавкающего мерзавца прощения, ибо бог терпел и нам велел.

Больше всего меня интересует с этой точки зрения судьба будущих космоплавателей.

Космонавт обязан наблюдать самого себя и с беспощадной правдивостью облекать в слова и докладывать на Землю свое психическое, моральное состояние и мысли, эмоции, сведения о своем стуле и мечтах. Если космонавт будет лгать, он или погибнет раньше срока, или Земля поймает его на преднамеренной лжи и отзовет. Описать свое душевное состояние — задача безмерно трудная и для профессионального психолога. Но психолог живет на Земле, он плывет в океане различной лжи уже тысячелетия. А космонавт находится там, где лжи нет и никогда не было, — в космосе. За время полета к далеким планетам люди будут привыкать к бесстрашной правдивости. Какие ужасные трудности ждут их по возвращении домой!..

Звезды, мигая нам из Вселенной, говорят, что рано или поздно нам всем всегда придется говорить только правду.

Иначе мы погибнем. Но можно ли хотя бы теоретически представить всеобщую правдивость? И что получится, если все мы начнем говорить друг другу только то, что на самом деле думаем и чувствуем?

Не знаю, что получится.

Но надо пытаться множить юмор на утопию. Это помогает жить самому. И следует забавлять рассказами мир, даже если он свесит ножки в яму. Этим принесешь миру пускай относительную, но пользу.

Однако для тех, кто не любит улыбаться, хочу сказать, что существеннейшей стороной правильного понимания искусства слова является владение мерой его условности. В литературе периодически возникает стремление обратиться к ненормализованному и странному с привычной точки зрения стилю и жанру. Это «странное» играет революционизирующую роль в становлении новой художественной формы. (Горький, например, вспоминал, как после посещения спектакля в лондонском мюзик-холле, где Владимир Ильич много смеялся, у них возник разговор об эксцентризме. Ленин говорил тогда о приеме показа алогизма обычного, примелькавшегося, заштампованного с помощью выворачивания его наизнанку, намеренного искажения.)

Если сейчас я напишу: «Сатирическое и скептическое отношение к штампу есть черта всех великих, и потому я ее в себе восторженно приветствую», то вполне может найтись читатель, который подумает: «Как ему не стыдно! Он причисляет себя к великим!» Это произойдет потому, что читатель не заметил сигнала, который я ему подал, когда перешел на фантазмагорически-ироническую интонацию, то есть начал заниматься эксцентризмом. Где точно этот сигнал находится и как предупреждает о том, что дальнейшее сообщение будет передаваться на особом языке, объяснить невозможно. Но сигнал-знак есть, и он характеризует различные степени условности и произвольности связей между понятиями при обычном их употреблении вне литературы и тем их значением, которые они приобретают внутри художественной системы, то есть книги, рассказа, главы, абзаца. Если сигнал-знак читатель уловил, то он улыбнется над тем, как я запислил себя в великие. Если уловить сигнал ему не дано, то он вполне может отправить в газету пись-

мо о том, что автор кощунственно панибратствует с величайшими гениями человечества. И такие упреки в адрес моего друга Ниточкина случались. И потому — для незначительной страховки — я и снабжаю его рассказы настоящим примечанием. Считайте это примечание тем таинственным сигналом, который теперь прошел сквозь каскадный усилитель, и не принимайте ничего буквально — дядя шутит!

ПЕТР НИТОЧКИН К ВОПРОСУ О МАТРОССКОМ КОВАРСТВЕ

(Из книги «Среди мифов и рифов»)

Нелицемерно судят наше творчество настоящие друзья или настоящие враги. Только они не боятся нас обидеть. Но настоящих друзей так же мало, как настоящих, то есть цельных и значительных, врагов.

Первым слушателем одного моего трагического рассказа, естественно, был Петя Ниточкин.

Я закончил чтение и долго не поднимал глаз. Петя молчал. Он, очевидно, был слишком потрясен, чтобы сразу заняться литературной критикой. Наконец я поднял на друга глаза, чтобы поощрить его взглядом.

Друг беспробудно спал в кресле.

Он никогда, черт его побери, не отличался тонкостью, деликатностью или даже элементарной тактичностью.

Я вынужден был разбудить друга.

— Отношения капитана с начальником экспедиции ты описал замечательно! — сказал Петя и неуверенно дернул себя за ухо.

— Свинья, — сказал я. — Ни о каких таких отношениях нет ни слова в рукописи.

— Хорошо, что ты напомнил мне о свинье. Мы еще вернемся к ней. А сейчас — несколько слов о пользе взаимной ненависти начальника экспедиции и капитана судна. Здесь мы видим позитивный аспект взаимной неприязни двух руководителей. В чем философское объяснение? В хорошей ненависти заключена высшая степень единства противоположностей, Витус. Как только начальник экспедиции и капитан доходят до крайней степени ненависти друг к другу, так Гегель может спать спокойно — толк будет! Но есть одна деталь: ненависть должна быть животрепещущей. Старая, уже с запашком, тухлая,

короче говоря, ненависть не годится, она не способна довести противоположности до единства.

— Медведь ты, Петя, — сказал я. — Из неудобного положения надо уметь выходить изяшно.

— Хорошо, что ты напомнил мне о медведе. Мы еще вернемся к нему. Вернее, к медведице. И я подарю тебе новеллу, но, черт меня раздери, у тебя будет мало шансов продать ее даже на пункт сбора вторичного сырья. Ты мной питаешься, Витус. Ты, как и моя жена, не можешь понять, что человеком нельзя питаться систематически. Человеком можно только время от времени закусывать. Вполне, впрочем, возможно, что в данное время и тобой самим уже с хрустом питается какой-нибудь твой близкий родственник или прицельно облизывается дальний знакомый. . .

Сколько уже лет я привыкаю к неожиданности Петиних ассоциаций, но привыкнуть до конца не могу. Они так же внезапны, как поворот стаи кальмаров. Никто на свете — даже птицы — не умеет поворачивать «все вдруг» с такой ошеломляющей неожиданностью и синхронностью.

— Кальмар ты, Петя, — сказал я. — Валяй свою новеллу.

Уклонившись от роли литературного критика, Петя оживился.

— Служил я тогда на эскадренном миноносце «Очаровательный» в роли старшины рулевых, — начал он. — И была там медведица Эльза. Злющая. Матросики Эльзу терпеть не могли, потому что медведь не кошка. Уважать песочек медведя не приучишь. Если ты не Дуров. И убирали за ней, естественно, матросы, и хотели от Эльзы избавиться, но командир эсминца любил медведицу больше младшей сестры. Я в этом убедился сразу по прибытии на «Очаровательный».

Поднимаюсь в рубку и замечаю безобразие: вокруг нактоуза путевого магнитного компаса обмотана старая, в чернильных пятнах звериная шкура. . . Знаешь ли ты, Витус, что такое младший командир, прибывший к новому месту службы? Это йог высшей квалификации, потому что он все время видит себя со стороны. Увидел я себя, старшину второй статьи, со стороны, на фоне ста-

рой шкуры, а вокруг стоят подчиненные, ну и пхнул шкуру ботинком: «Что за пакость валяется? Убрать!» Пакость разворачивается и встает на дыбки. Гналась за мной тогда Эльза до самого командно-дальномерного поста — выше на эсминце не удерешь. В КДП я задраился и сидел там, пока меня по телефону не вызвали к командиру корабля. Эльзу вахтенный офицер отвлек, и я смог явиться по вызову.

— Плохо ты, старшина, начинаешь, — говорит мне капитан третьего ранга Поддубный. — Выкинь из башки Есенина.

— Есть выкинуть из башки Есенина! — говорю я, как и положено, но пока совершенно не понимаю, куда каптри клонит.

Осматриваюсь тихонько.

Нет такого матроса или старшины, которому неинтересно посмотреть на интерьер командирской каюты. Стиль проявляется в мелочах, и, таким образом, можно сказать, что человек — это мелочь. Самой неожиданной мелочью в каюте командира «Очаровательного» была большая фотография свиньи. Висела свинья на том месте, где обычно висит парусник под штормовыми парусами или мертвая природа Налбандяна.

— А вообще-то читал Есенина? — спрашивает Поддубный.

— Никак нет! — докладываю на всякий случай, потому что четверть века назад Есенин был как бы не в почете.

— Этот стихотворец, — говорит командир «Очаровательного», — глубоко и несправедливо оскорблял животных. Он обозвал их нашими меньшими братьями. Ему наплевать было на теорию эволюции. Он забыл, что человеческий эмбрион проходит в своем развитии и рыб, и свиней, и медведей, и обезьян. А если мы появились после животных, то скажи, старшина, кто они нам — младшие или старшие братья?

— Старшие, товарищ капитан третьего ранга!

— Котелок у тебя, старшина, варит, и потому задам еще один вопрос. Можно очеловечивать животных?

— Не могу знать, товарищ капитан третьего ранга!

— Нельзя очеловечивать животных, старшина. Случается, что и старшие братья бывают глупее младших. Возьми, например, Ивана-дурака. Он всегда самый млад-

ший, но и самый умный. И человек тоже, конечно, умнее медведя. И потому очеловечивать медведя безнравственно. Следует, старшина, озверивать людей. Надо выяснять не то, сколько человеческого есть в орангутанге, а сколько орангутангского еще остается в человеке. Понятно я говорю?

— Так точно!

— Если ты бьешь глуповатого старшего брата ботинком в брюхо, я имею в виду Эльзу, которая тебе даже и не старший брат, а старшая сестра, то ты не человеческий старшина второй статьи, а рядовой орангутанг. Намек понял?

— Так точно, товарищ капитан третьего ранга! Разрешите вопрос?

— Да.

— Товарищ капитан третьего ранга, на гражданке мне пришлось заниматься свиноводством, — говорю я и здесь допускаю некоторую неточность, ибо все мое свиноводство заключалось в том, что я украл поросенка в Бузулуке и сожрал его чуть ли не живьем в сорок втором году. — Интерес к свиноводству, — продолжаю я, — живет в моей душе и среди военно-морских тягот. Какова порода хряка, запечатленного на вашем фото?

— Во-первых, это не хряк, а свиноматка, — говорит Поддубный и любовно глядит на фото. — Правда, качество снимка среднее. Он сделан на острове Гогланд в сложной боевой обстановке. Эту превосходную свинью звали Машкой. Я обязан ей жизнью. Когда транспорт, на котором я временно покидал Таллин, подорвался на mine и уцелевшие поплыли к голубой полоске далекой земли, я, товарищ старшина, вспомнил маму. В детские годы мама не научила меня плавать. Причиной ее особых страхов перед водой был мой маленький рост. Да, попрощался я с мамой не самым теплым словом и начал приемку балласта во все цистерны разом. И тут рядом выныривает Машка. Я вцепился ей в хвост и через час собрал бруснику на Гогланде. Вот и все. Машку команда транспорта держала на мясо. Но она оказалась для меня подарком судьбы. Вообще-то, старшина, скажу вам, что подарки я терпеть не могу, потому что любой подарок обязывает. А порядочный человек не любит лишних обязательств. Но здесь делать было нечего. Я принял на себя груз обязательства: любить старших сестер и братьев.

Кроме этого, я не ем свинины. Итак, старшина, устроит вас месяц без берега за грубость с медведицей?

— Никак нет, товарищ командир. Я принял ее за старую шкуру, уже неодошевленную и...

— Конечно, — сказал командир. — Большое видится на расстоянии, а рубка маленькая... Две недели без берега! И можете не благодарить!

Я убыл из командирской каюты без всякой обиды. Есть начальники, которые умеют наказывать весело, без внутренней, вернее без нутряной, злобы. Дал человек клятву защищать животных и последовательно ее выполняет. Он мне даже понравился. Лихой оказался моряк и вояка, хотя, действительно, ростом не вышел. Таких маленьких мужчин я раньше не встречал. На боевом мостике ему специально сколотили ящик-пьедестал, иначе он ничего впереди, кроме козырька своей фуражки, не видел. На своем пьедестале командир во время торпедных стрельб мелом записывал необходимые цифры — аппаратные углы, торпедные треугольники и все такое прочее. Соскочит с ящика, запишет — и обратно на ящик прыг. И так всю торпедную атаку он прыг-скок, прыг-скок. Очень ему было удобно с этим пьедесталом. Иногда просто ногу поднимет и под нее заглядывает, как в записную книжку. И в эти моменты он мне собачку у столбика напоминал. Вернее, если следовать его философским взглядам, собачка у столбика напоминала мне его. И теперь еще напоминает. И я твердо усвоил на всю жизнь, что одним из самых распространенных заблуждений является мнение, что от многолетнего общения морда собаки делается похожей на лицо хозяина. Ерунда. Это лицо хозяина делается похожим на морду его любимой собаки. И пускай кто-нибудь попробует доказать мне обратное! Пускай кто-нибудь докажет, что не Черчилль похож на бульдога, а бульдог на Черчилля! Но дело не в этом. Разговор пойдет о матросском коварстве. Ты читал «Блэк кэт» Джекобса?

— Дело в том, Петя, что я дал себе слово выучить английский к восьмидесяти годам. Этим я надеюсь продлить свою жизнь до нормального срока. А Джекобса у нас почти не переводят.

— Прости, старик, но ты напоминаешь мне не долгожителя, а одного мальчишку-помора. Когда будущий полярный капитан Воронин был еще обыкновенным зуйком,

судьба занесла его в Англию на архангельском суденышке. В Манчестере он увидел, как хозяин объясняется с английским купцом. Хозяин показывал на пальцах десять и говорил: «Му-у-у!» Потом показывал пятерню и говорил: «Бэ-э-э!» Это, как ты понимаешь, означало, что привезли они десять холмогорских коров и пять полудохлых от качки овец. «Вот вырасту, стану капитаном, — думал маленький Воронин, — и сам так же хорошо, как хозяин, научусь по-иностранному разговаривать». И как ты умудряешься грузовым помощником плавать?

— А тебе какое дело? Не у тебя плаваю.

— Ладно. Не заводись. У Джекобса есть рассказ, где капитан какой-то лайбы вышвырнул за борт черного кота — любимца команды. Спустя некоторое время пьяный капитан увидел утопленного черного кота спокойно лежащим на койке. Сволочь капитан опять взял черного кота за шкурку и швырнул в штормовые волны, а когда вернулся в каюту, дважды утопленный черный кот облизывался у него на столе. Так продолжалось раз десять, после чего кэп рехнулся. В финале Джекобс вполне реалистически, без всякой мистики, которую ты, Витус, так любишь, объясняет живучесть и непотопляемость черного кота. Оказывается, матросы решили отомстить капитану за погубленного любимца и в первом же порту выловили всех портовых котов и покрасили их чернью. И запускали поштучно к капитану, как только тот надирался шотландским виски. Это и есть матросское коварство. У нас на «Очаровательном» все было наоборот. Командир Эльзу обожал, а мы мечтали увидеть ее в зоопарке. Нельзя сказать, что идея, которая привела Эльзу в клетку, принадлежала только мне. Как все великие идеи, она уже витала в воздухе и родилась почти одновременно в нескольких выдающихся умах. Но я опередил других потому, что во время химической тревоги, когда на эсминце запалили дымовые шашки для имитации условий, близких к боевым, Эльза перекусила гофрированный шланг моего противогаса. Злопамятная стерва долго не находила случая отомстить за пинок ботинком. И наконец отомстила. После отбоя тревоги дым выходил у меня из ушей еще минут пятнадцать. С этого момента я перестал есть сахар за утренним чаем. Первым последовал моему примеру боцман, который любил Эльзу не меньше меня. Потом составил целый подпольный кружок диабетиков. Сахар тща-

тельно перемешивался с мелом и в таком виде выдавался Эльзе. Через неделю она одним взмахом языка слизнула полкило чистого мела без малейшей примеси сахара, надеясь, очевидно, на то, что в желудке он станет сладким. Все было рассчитано точно. Твердый условный рефлекс на мел у Эльзы был нами выработан за сутки до зачетных торпедных стрельб. Надо сказать, что по боевому расписанию Эльза занимала место на мостике. Ей нравилось смотреть четкую работу капитана третьего ранга Поддубного. А наш вегетарианец действительно был виртуозом торпедных атак. И когда «Очаровательный» противолодочным зигзагом неся в точку залпа, кренясь на поворотах до самой палубы, там, на мостике, было на что посмотреть.

В низах давно было известно, что очередные стрельбы будут не только зачетными, но и показательными. Сам командующий флотом и командиры хвостовых эсминцев шли в море на «Очаровательном», чтобы любоваться и учиться.

Погодка выдалась предштормовая. И надо было успеть отстреляться до того, как поднимется волна.

— Командир, — сказал адмирал нашему командиру, взойдя по трапу и пожимая ему руку перед строем экипажа. — Я мечтаю увидеть настоящую торпедную стрельбу, я соскучился по лихому морскому бою!

И он увидел лихой бой!

Мы мчались в предштормовое море, влипнув в свои боевые посты, как мухи на липкой бумаге.

Командир приплясывал на ящике. Ему не терпелось показать класс. В правой руке командир держал кусок мела. Для перестраховки я вывалил мел в сахарной пудре.

Эльза сидела за выносным индикатором кругового обзора и чихала от встречного ветра.

Адмирал и ученики-командиры стояли тесной группой и кутались в регланы.

Точно в расчетное время радары засекли эсминец-цель, и Поддубный победно проорал: «Торпедная атака! . . . Аппараты на правый борт!»

Турбины взвыли надрывно. Секунды начали растягиваться, как эспандеры. И внутри этих длинных секунд наш маленький командир с акробатической быстротой заскакал с ящика на палубу и с палубы на ящик. Прыг-

скок — и команда, прыг-скок — и команда. Команды Поддубного падали в микрофоны четкие и увесистые, как золотые червонцы. Синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы, эпсилон, сигма, фи и пси арабской вязью покрывали пьедестал. Меловая пыль летела во влажные ноздри нашей старшей сестры Эльзы. Минуты за три до точки залпа Эльза спокойно прошла через мостик, дождалась, когда командир очередной раз спрыгнул со своего ящика-пьедестала, чтобы лично глянуть на экран радара, и единым махом слизнула с ящика все данные стрельбы, всякие аппаратные углы и торпедные треугольники.

Атака завалилась с такой безнадежностью, как будто из облаков на «Очаровательный» спикировали разом сто «юнкерсов».

Червонцы команд по инерции еще несколько секунд вываливались из Поддубного, но все с большими и большими паузами. Его остекленевший взгляд, тупо застывший на чистой, блестящей поверхности ящика-пьедестала, выражал детское удивление перед тайнами окружающего мира. Хотя турбины надрывались по-прежнему, хотя эсминец порол предштормовое море на тридцати узлах, хотя флаги, вымпелы и антенны падали в небеса оглушительными очередями, на мостике стало тихо, как в ночной аптеке. И в этой аптекарской тишине Эльза с хрустом откусила кусок мела, торчащий из кулака Поддубного.

— Отставить атаку! — заорал адмирал. — Куда я попал! Зверинец!

И здесь наш маленький вегетарианец или очеловечил медведицу, или заметно озверел сам. И правильно, я считаю, сделал, когда всадил сапог в ухо Эльзе. Медведица пережила такие же, как и хозяин, мгновения чистого детского удивления перед подлыми неожиданностями окружающего мира. Потом взвилась на дыбки и закатила Поддубному оплеуху. Лихой бой на борту эскадренного миноносца «Очаровательный» начался. Точно помню, что и в пылу боя Поддубный сохранял остатки животнoлюбия и джентльменства, ибо ниже пояса он старшую сестру не бил, хотя был на голову ниже медведицы и, чтобы попасть ей в морду, ему приходилось подпрыгивать. Эльза же чаще всего махала лапами над его фуражкой, потому что эсминец кренился и сохранять равновесие в боксерской стойке на двух задних конечностях ей было трудно.

А кренился «Очаровательный» потому, что на руле стоял я, старшина рулевых, и, когда командиру становилось туго, я легонько переключивал руля. На тридцати узлах эсминец отзывается на несколько градусов руля с такой быстротой, будто головой кивает. И таким маневрированием я не давал Эльзе загнать командира в угол. Мне, честно говоря, хотелось продлить незабываемое зрелище.

Адмирал и ученики-командиры наблюдали бой, забравшись кто куда, но все находились значительно выше арены. Сигнальщики висели на фалах в позах шестимесячных человеческих эмбрионов, то есть скорчившись от сумасшедшего хохота. Командир БЧ-3 и вахтенный офицер самоотверженно пытались отвлечь Эльзу на себя и выступали, таким образом, в роли пикадоров. Но Эльза была упряма и злопамятна, как сто тысяч обыкновенных женщин. Ее интересовал только предатель-командир.

Тем временем эсминец-цель, зная, что по нему должен был показательно стрелять лучший специалист флота и что на атакующем корабле находится командующий, решил, что отсутствие следов торпед под килем означает только безобразное состояние собственной службы наблюдения. Признаться в этом командир цели, конечно, не считал возможным. И доложил по радиации адмиралу, что у него под килем прошло две торпеды, но почему-то до сих пор эти торпеды не всплыли и он приступает к планомерному поиску. Учитывая то, что мы вообще не стреляли, возможно было предположить, что в районе учений находится подводная лодка вероятного противника и что началась третья мировая война. В сорок девятом году войной пахло крепко, и адмирал немедленно приказал накинуть на Эльзу чехол от рабочей шлюпки и намотать на нее бухту пенькового троса прямого спуска. Эту операцию боцманская команда производила с садистским удовольствием. Затем адмирал объявил по флоту готовность номер один и доложил в Генштаб об обнаружении неизвестной подводной лодки. Совет министров собрался на...

— Петя, ты ври, но не завирайся. Ведешь себя, как ветеран на встрече в домоуправлении... Что было с Эльзой?

— Когда Поддубному вкатили строгака, он на нее смотреть спокойно уже не мог. Списали в подшефную школу. Там она дала прикурить пионерам. Перевели

в зверинец. Говорят, медведь, который ездит на мотоцикле в труппе Филатова, ее родной внук. Если теперешние разговоры о наследственности соответствуют природе вещей, то рано или поздно этот мотоциклист заедет на купол цирка и плюхнетя оттуда на флотского офицера, чтобы отомстить за бабушку.

— Подожди, дружище, — сказал я. — Этот твой маленький и удаленький Поддубный мне что-то или кого-то напоминает... Рассказывал ты эту новеллу Ефимовне? Она с каким-то маленьким Поддубным плавала до войны, он еще получку всего экипажа потерял во Владивостоке...

— О нем и речь, — сказал Петя. — Потому Ефимовна и жену мою терпит, когда у нас экономничает в домработницах. Нравится Ефимовне, что я с ее старинным приятелем и пассией вместе на эсминце служил. Правильно, говорит Ефимовна, что вы ему свинью подложили с этой Эльзой: нечего на боевом корабле диких зверей разводить, не то, мол, время, чтобы такой самодеятельностью заниматься...

НЕВЕЗУЧИЙ АЛЬФОНС

(Из книги «Соленый лед»)

Есть люди, которым не везет с рождения во всем и до самой смерти.

Идет такой человек поздней ночью пешком через весь город, потому что на одну секундочку опоздал к последнему автобусу. Именно на одну секундочку. А опоздал, потому что забыл в гостях спички и было вернулся за ними, но посоветился опять тревожить, а тем временем автобус...

Денег на такси у таких людей никогда не бывает, но ленивые наши, высокомерные ночные таксисты обязательно сами притормаживают возле безденежного неудачника и спрашивают: «Корешок, тебе не на Охту?» А ему именно на Охту, но он отвечает: «Нет, на Петроградскую». — «Ну ладно, — говорит тут шофер. — Садись, подвезу». — «Спасибо, я прогуляться хочу», — бормочет неудачник. «В такой дождь? Да ты в уме?!»

И вот бредет неудачник совсем один по ночным улицам под дождем и все хочет понять, в чем корень его невезучести, и все сильнее хочет курить, но спичек-то у него нет. И вот он ждет встречного прохожего, чтобы спросить огонька. Наконец встречный появляется. Издали виден огонек сигареты. Неудачник достает папиросу, раскручивает ее и уже предвкушает дымок в глотке. И вдруг видит, что прохожий отшвыривает сигарету прямо в лужу. «Ничего, — думает неудачник. — У него спички есть». Но в том-то и дело, что спичек у прохожего не оказывается. Вообще-то он достает коробок, долго вытаскивает спичку за спичкой, но все, до самой последней, они оказываются обгорелыми. А дождь идет все сильнее. И кончается тем, что прохожий вдруг орет: «Черт! Про-

мок из-за тебя, как... как... На коробок и иди...» И неудачник машинально берет пустой коробок и идет...

Если вы думаете, что настоящие неудачники бывают только на суше в виде пожилых бухгалтеров, или рассеянных студентов гуманитарных вузов, или одиноких врачей по детским болезням с толстыми очками на добрых глазах, то вы ошибаетесь. Расскажу вам о неудачнике — моряке Мише Кобылкине.

Кличка у Миши, когда мы с ним учились в военноморском училище, была, естественно, лошадиная — Альфонс Кобылкин. Был он длинный и костлявый, как Холстомер в старости.

На примере Альфонса вы увидите, что невезение подстерегает людей не только на дороге к их личному, собственному счастью и успеху. Нет. Альфонсу не везло как раз на стезе его стремления принести пользу обществу, пострадать даже за общество, попасть, так сказать, на крест во имя спасения других. Именно путь на Голгофу ему никак не удавалось свершить. Каждый бросок Альфонса на помощь человечеству заканчивался конфузом.

Отец Альфонса в войну был генералом. Только поэтому Альфонсу удалось в возрасте неполных шестнадцати лет попасть в полковую школу, откуда вскорости открывался путь на фронт. А именно туда Альфонс стремился. Он мечтал задать фашистам перцу собственноручно.

Но на первом же занятии в поле, когда новобранцы учились швырять учебные гранаты, такой учебной деревяшкой с железным набалдашником Альфонсу врезали по затылку. Очевидно, паренек, который метнул гранату в Альфонса, был не хилого сложения, потому что Альфонс выписался из госпиталя только через год.

Он получил нашивку за ранение, приобрел повадки бывалого солдата и отправился на фронт, хотя с чистой совестью уже мог возвращаться домой. Путь на Голгофу пролегал через Бузулук, где Альфонс опять угодил в госпиталь — с брюшным тифом. Характер у него начинал портиться, потому что война шла к концу. Именно этого не учел медицинский майор — председатель комиссии в госпитале.

Дело в том, что Альфонсу совершенно не доставляло

удовольствия рассказывать обстоятельства своего ранения элементарной учебной болванкой. А майор оказался мужчиной с юмором и потому стал сомневаться в том, что после такого ранения возможно проволынить в госпиталях целый год. Здесь майор еще добавил, что все объясняется проще, если отец у Альфонса — генерал. Альфонс поклялся майору в том, что докажет ему на опыте истину, и спросил, что тяжелее — учебная граната или графин? Майор сказал, что от графина пахнет штрафбатом. Но это только воодушевило Альфонса.

Он взял графин, метнул его по всем правилам ближнего боя в лысину майора и угодил в штрафбат. И был искренне рад, потому что не сомневался в том, что болтаться в тылу ему теперь осталось чрезвычайно немного. Но не тут-то было! На второй день штрафбатной жизни какой-то уголовник ради интереса спихнул Альфонса с трехъярусных нар.

День Победы он встретил с ногой, задранной к потолку, в гипсе, исписанном разными нецензурными словами, с привязанной к пятке гирей.

А где-то в сорок шестом он появился у нас в училище с медалью «За победу над Германией» на груди и потряс всех своим умением засыпать совершенно беспробудно. Вероятно, длительное пребывание в госпиталях выработало у него такую привычку. В госпиталях он еще здорово научился врать. Все фронтовые истории, которые он там слышал, слушали теперь мы. Но надо сказать, что стремление Альфонса взвалить на себя крест и помочь прогрессивному человечеству не угасло. И надо еще здесь сказать, что от настоящего, стопроцентного неудачника расходятся в эфире какие-то невидимые флюиды, которые со временем начинают сказываться на судьбе окружающих.

Наш Альфонс был стопроцентным.

На первых же шлюпочных учениях шлюпка, в которой был он, перевернулась, и все наше отделение оказалось в Фонтанке. Скоро флюиды охватили взвод: все училище поехало в Москву на парад, а наш взвод оставили перебирать картофель в овощехранилище. Потом флюиды опутали роту. Маршируя на обед, мы все — вся рота — дружно упали со второго этажа на первый. Дело в том, что училище размещалось в старинном здании бывшего приюта принца Ольденбургского. За время бло-

кады в здание попало около двадцати бомб и снарядов. И когда мы «дали ножку», торопясь на кормежку, перекрытие не выдержало и рота оказалась в столовой, не спускаясь по лестнице. Разумеется, последним выписался из госпиталя наш Альфонс.

Он уже ничему не удивлялся. Он все время уверял нас в том, что готов страдать в одиночку. И он на самом деле был готов к этому, но только у него это не получалось.

Никогда не забуду его конфликта с Рыбой Анисимовым. Анисимов, огромного роста детина, матрос с гвардейского эскадренного миноносца «Гремящий», глубоко презирающий всех нас — салажню и креветок, как он любил выражаться, в клешах метровой парусности, с ленточками ниже пояса, всегда сам делил за обедом кашу. Бачок полагался на шесть человек. Половину бачка Рыба вываливал себе, остальное получали мы. И молчали в тряпочку, хотя было обидно.

И вот Альфонс решил в очередной раз взойти на Голгофу за интересы общества.

— Рыба, — сказал Альфонс. — Сегодня делить кашу буду я. Дай половник.

Рыба чрезвычайно удивился. Большим количеством извилин он не обладал, поэтому думал целую минуту, пока не спросил с угрозой:

— Альфонс, тебе каши не хватает, что ли?

— И не только мне, Рыба, — сказал Альфонс.

— Кушай, — сказал Рыба и надел бачок с пшенной кашей на голову Альфонса. Альфонс сел. Рыба еще постучал по дну кастрюли половником, и снять кастрюлю с головы Альфонса сразу не удалось, она налезла, как говорят артиллеристы, «с натягом». Дело закончилось медпунктом. А мы, мы... опять пострадали вместе с Альфонсом. Ибо решили отомстить за него и устроили Рыбе «темную». Но Рыба был крепкий мужик, и всем нам досталось больше, чем ему одному, не говоря о том, что на шум прибежал дежурный офицер и мы еще получили по пять нарядов вне очереди.

Короче говоря, когда мы закончили училище, получили лейтенантские звездочки, по куртку, по байковому одеялу, по две простыни, когда мы перепились на выпускном вечере, поплакали на груди у самых нелюбимых наших начальников, сообщили им сквозь рыдания, что ни-

когда, никогда не забудем светлых лет, проведенных под их мудрым и чутким руководством, и когда наконец поезда загудели, развозя нас к далеким морям, мы вздохнули с облегчением, потому что в ближайшем будущем не должны были встретиться с Альфонсом.

Мы встретились через несколько лет, в годовщину окончания училища, в Ленинграде возле «Восточного» ресторана.

Мы — это старший лейтенант Николай Боков (по училищной кличке Бок), старший лейтенант Владимир Слонов (по кличке Хобот), капитан-лейтенант Анатолий Алов (по кличке Пашка), я (по кличке Рыжий) и младший лейтенант Альфонс Кобылкин.

Как вы заметили, десятилетие изменило количество звезд на погонах нашего невезучего друга в сторону уменьшения.

Все мы несколько огрузили, задубели, но от радости встречи оживились, решили пошалить, встряхнуться. Заказав по сто граммов, повели обычный разговор однокашников. Посыпались номера войсковых частей, названия кораблей, фамилии командиров, рассказы о походах, авариях, сетования на то, что флот теперь не тот, порядки не те, традиции не те, офицеры не те, матросы не те, море не то и даже дельфины куда-то пропали. Одному дрянному шпиону достаточно было посидеть за соседним столиком десять минут, чтобы завалить Пентагон материалом до самой крыши.

Только Альфонс молчал. Наверное, ему было как-то неудобно сидеть и пить со старшими по званию. А когда человек молчит, не рассказывает о том, как провел свой корабль через Центральную Африку, то такого человека и не замечаешь. И мы как-то позабыли Альфонса. Не хотелось нам расстраиваться, выслушивая рассказ о его очередных неприятностях. Но в конце концов совесть заговорила в нас, мы сосредоточились на двух одиноких звездочках Альфонса, и Хобот спросил:

— Чего не ешь, лошадь? Надо закусывать.

— Пейте, ребята, не обращайтесь внимания, — сказал Альфонс бодрым голосом. — А я скоро уйду. Если вы проведете со мной еще полчаса, то или попадете на гауптвахту, или здесь обвалится потолок.

— Не говори глупостей, — сказал Пашка и подозвал официанта. — Еще пятьсот капель, папаша!

— Валяй нам все, как на исповеди, младший лейтенант Кобылкин! — сказал я.

— Да чепуха... Так, знаете... Короче, таракан. Обыкновенный таракан. С усиками, рыжий... Пейте, ребята, не обращайтесь.

Но мы отставили рюмки.

— Я уже старлеем был и... вот... Стреляли по береговым целям главным калибром... Сам сидел за башенным автоматом стрельбы... дал залп по сигналу... накрыл близким перелетом своего флагмана... Понизили в звании... теперь на берегу служу, — скупно, но точно доложил Альфонс.

— Прямое попадание в своего флагмана? Это же надо уметь! — сказал я.

— Недаром же Альфонс учился четыре года вместе с нами, — сказал Хобот.

Мы старались чуткими шутками смягчить тяжелые воспоминания Альфонса.

— В сигнальное устройство горизонтальной наводки попал таракан, замкнул контакты, и сигнальная лампочка загорелась, когда орудия смотрели не на цель, а на флагмана. Вот и все, ребята. Как таракан заполз в plombированный блок сигнализации, не знает никто, но кто-то должен отвечать... вот и... Я-то, как вы знаете, ничему не удивляюсь, а флагман удивился, — объяснил Альфонс.

— Обычное дело, — сказал Пашка. — Все флагманы удивляются, когда по ним всаживают из главного калибра свои собственные эскадренные миноносцы. Выпьем, ребята.

— Ударим в бумеранг! — сказал Бок. И все мы улыбнулись, вспомнив училищные времена. Именно это выражение объясняло когда-то для нас выпивку.

— Сейчас я уйду, — сказал Альфонс. — А то у вас будут какие-нибудь неприятности сегодня.

— Перестань говорить глупости, — сказали мы в один голос.

Единственным способом задержать его было попросить о чем-нибудь — подняться опять же на Голгофу за нас.

Через столик сидела прекрасная женщина со старым и толстым генерал-майором медицинской службы. Всегда, когда видишь молодую женщину с пожилым тол-

стым мужчиной, становится обидно. И сразу замечаешь, как некрасиво он ест, как коротки его пальцы и как жадно он смотрит на денежную мелочь, хотя ест он красиво, пальцы у него не короче наших, а смотрит он, естественно, не на мелочь.

От женщины, сидевшей с генералом, пахло духами и туманами. Уверен, что в сумочке ее лежал томик Блока и на ночь она перечитывала стихи о Прекрасной Даме.

— Альфонс, — тихо и несколько скорбно сказал Пашка, — сейчас ты встанешь, подойдешь к их столику, скажешь этой старой клистирной трубке что-нибудь любопытное и уведешь женщину к нам.

— Да, — согласился Бок. — Тебе, Альфонс, терять нечего. А дама — прекрасное существо.

— Девочка — прелесть, — чмокнул губами Хобот.

Вы заметили, как перепутались в наш век женские наименования? Пятидесятилетнюю продавщицу в мясной лавке все называют «девушка», хотя у нее пятеро детей. А однажды я сам слышал, как пожилые дорожные работницы, собираясь на обед, говорили: «Пошли, девочки!» «Дамочкой» у нас принято называть этакое накрашенное, легкомысленное существо в шляпке с пером. Но опять же я сам слышал, как кондуктор, выпроваживая из трамвая крестьянок с мешками картошки, орал: «Следуйте пешком, дамочки, потому что у вас груз — пачкуля!» Мне самому сейчас уже за сорок, но каждый дворник или швейцар, запрещая мне что-нибудь, обязательно говорит: «Топай, топай, парень!» И даже фетровая шляпа не помогает.

— Я могу попробовать, если это вам нужно, друзья, — сказал Альфонс. — Только очень уж я не умею с женщинами. Вам ее телефон узнать?

Вы оцените самоотверженность этого человека, если узнаете, что еще ни одна женщина не спрашивала у него, любит ли он ее, и если любит, то насколько и как, и каким именно образом, и любил ли он кого-нибудь до нее так, как ее. Ни одна женщина еще не отбирала у него получку и не выгоняла в баню четыре раза в месяц.

Ведь женщинам нужна в мужчине уверенность в себе, я бы даже сказал, нахальство. А откуда у хронического

неудачника может быть уверенность в себе? Наоборот. Совершенно никакой уверенности у него нет.

Прибавьте ко всему этому еще волевою физиономию медицинского генерал-майора и одинокие звездочки на плечах Альфонса. И тогда вы поймете, какой самоотверженностью обладал наш друг.

— Брось, — сказал я. — Еще рано заваривать такую кашу. . .

Я, правда, знал, что если у человека всю жизнь идет от мелких неудач ко все более крупным, серьезным неудачам, то единственное здесь — перешибить судьбу чем-нибудь таким отчаянным, грандиозным по нелепости поступком. Но дело в том, что здесь могут быть два исхода: один — судьба действительно переломится, второй — судьба с огромной силой добавит неудачнику по заливку.

— Подожди немножко, старая лошадь, — сказал я. — Но не уходи совсем от нас. Ты нам сегодня еще можешь здорово понадобиться.

— Как знаете, ребята, я для вас на все готов, — сказал Альфонс.

Таким образом, мы удержали его с нами и повели беседу дальше. Теперь, конечно, тема изменилась. Мы заговорили о женщинах, то и дело испытывая взглядами соседку. Соседка мило тупилась и с большой женственностью пригубливала сухое вино. С генералом ей было явно скучно. И это воодушевляло нас.

Думали когда-нибудь о том, что такое женственность?

Женственность — это качество, которое находится не внутри женщины, а как бы опушает, окружает ее и находится, таким образом, только в вашем восприятии.

Вот на эту тему мы разговаривали, когда генерал стал шарить по карманам, а его дама искать в сумочке зеркальце.

— Ребята, — сказал Альфонс. — Я чувствую, что вам очень хочется получить ее телефон. И я готов попробовать.

Мы не успели его удержать.

Альфонс, заплетаясь ногами и сутулясь, двинулся к соседнему столику.

Не знаю, как рассказать вам, что произошло, когда его длинная фигура попала в поле зрения медицинского генерала. Генерал подскочил вместе со стулом. Потом,

когда стул еще висел в воздухе, генерал соскочил с него, задев бедром стол. Затылок генерала стал лиловым. Говорить он, судя по всему, ничего не мог. На Альфонса тоже напал столбняк. Они пялили глаза друг на друга и что-то пытались мычать.

— Папа! Папа! — воскликнула девушка.

Альфонс, пятась задом, вернулся к нам.

— Это он! Это уже за пределами реальности! Это ему я запузырил графином по лысине в сорок четвертом!

Мы капнули Альфонсу коньяку, а девушка, от которой пахло туманами, тем же способом успокаивала своего папу.

— Пора сниматься е якорей, — сказал Хобот. — Возможны пять суток простого ареста.

— Чепуха, — сказал я. — Надо довести дело до конца. Надо, чтобы Альфонс сегодня перешиб судьбу! Пусть он совершит что-нибудь совсем отчаянное! Это единственный путь!

— Альфонс, хочешь попробовать? — спросил Пашка. Он был не трезвее меня.

— Да! — мрачно согласился Альфонс.

Он впал в то состояние, когда неудачник начинает получать мазохистское удовольствие от валящихся на него несчастий. В таком состоянии человек становится под сосулькой на весенней улице, задирает голову, снимает шапку и шепчет: «Ну, падай! Ну?! Ну, падай, падай!..» И когда сосулька наконец втыкается ему в темя, то он шепчет: «Так! Очень хорошо!»

— Иди и пригласи ее танцевать! — сказал Бок. Учтивая то, что оркестра в ресторане не было, он подал действительно полезный и тонкий совет.

И Альфонс встал. Сосулька должна была воткнуться в его темя, и никакие силы антигравитации не могли его защитить.

Он пошел к генералу.

Скажу честно, я так разволновался всего второй раз в жизни. Первый — когда в Белсморске у меня снимали часы, а я, чтобы не упасть в своих глазах, не хотел отдавать их вместе с ремешком. Не знаю, успел ли Альфонс пригласить девушку на танец или нет, но только генерал с молодым проворством шмыгнул к двери и был таков. Альфонс же уселся на его место, налил себе из

его графинчика и положил руку на плечо девушки, от которой пахло туманами. Мы все решили, что наконец судьба нашего друга перешиблена и все теперь пойдет у него хорошо и гладко. Но мы несколько ошиблись.

— Прошу расплатиться и всем следовать за мной, — предложил нам начальник офицерского патруля. За плечом начальника был генерал.

Мы не стали спорить. Спорить с милицией или патрулем могут только салаги. Настоящий моряк всегда сразу говорит, что он виноват, но больше не будет. Причем совершенно неважно, знает он, что именно он больше не будет, или не знает.

Мы сказали начальнику офицерского патруля, что сейчас выйдем, и без особой торопливости допили и доели все на столе до последней капли и косточки. Мы понимали, что никто не подаст нам шашлык по-карски в ближайшие пять суток. Потом снялись с якорей. Предстояло маленькое, сугубо каботажное плавание от «Восточного» ресторана до гарнизонной гауптвахты — там рукой подать.

Я хорошо знаю это старинное здание. Там когда-то сидел генералиссимус князь Италийский граф Суворов-Рымникский, потом Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьевич Лермонтов, потом в тысяча девятьсот пятидесятом году я, когда умудрился выронить на ходу из поезда свою винтовку. . .

Последний раз мы встретились в Архангельске. Была ранняя северная осень. Я ожидал рейсового катера на пристани Краснофлотского рейда. Вместе со мной встретила рейсовый одна веселенькая старушка. Старушка курила папиросы «Байкал» и с удовольствием рассказывала:

— Тонут, тонут, все тонут. . . Лето жаркое было, купались и тонули. Соседушка наш на прошлой неделе утонул. Всего пятнадцать минут под водой и пробыл, а не откачали. А позавчера сыночек Маруськи Шестопаловой, семь годочков всего, в воду полез, испугался и. . . так и не нашли до сей поры. Речкой его, верно, в море уволокло. Или, мобыть, землечерпалка там близко работала, так его ковшиком в баржу-грязнуху и перевавило. . . А третьего дня в Соломбале. . .

— Бабуся, остановись, — попросил я.

До катера оставалось еще минут пять, и я опасался, что одним утопленником за это время станет больше, что я тихонечко спихну эту веселенькую старушку с пристани.

— Не нравится? Бога бояться надо! — злобно сказала старушка. И на этом умолкла.

Когда катер швартовался, я увидел на нем знакомую унылую фигуру. Это был Альфонс.

Я всегда смеялся над ним, но я всегда любил его. И он всегда знал, что я люблю его. Люди точно знают и чувствуют того, кто любит их. И Альфонс тоже, конечно, знал. Но сейчас он не заметил меня, спускаясь с катера по трапу. Он сразу подошел к веселой старушке и сказал ей:

— Мармелад дольками я не нашел, я вам, мамаша, обыкновенный мармелад купил.

— Так я и знала! — с торжеством сказала старуха.

— Альфонс! — позвал я.

Он обернулся, мы обнялись и поцеловались. Он здорово постарел за эти годы. Я тоже не помолодел.

И мы куда-то пошли с ним от пристани.

— Ты где? — конечно, спросил он.

— На перегоне, — сказал я. — На Салехард самоходку веду.

— У Наянова? У перегонщиков?

— Да. А ты где?

— Здесь, в портфлоте на буксире плаваю. Меня, как сокращение вооруженных сил началось, так первого и турнули.

— Слушай, — сказал я. — Ведь у тебя отец генерал большой. Неужели ты...

— Батяка уже маршал, — сказал Альфонс. — Только он с мамой разошелся, и я с ним после того совершенно прервал отношения. Я, знаешь, Рыжий, женился недавно. Старушка эта — моя теща, жены моей мама.

— А кто жена-то? — спросил я.

— Вдова она была, — объяснил Альфонс. — Она, правда, постарше меня, и детишек у нее трое, но очень добрая женщина. Ее муж в море потонул, на гидрографическом судне он плавал... А помнишь, как мы тогда на «губу» попали? Из-за медицинского майора?

— Еще бы! — сказал я. — Только не из-за майора, а генерал-майора. И теща с вами живет?

— Ну, а кто же за ней смотреть будет? — удивился Альфонс. — Конечно, иногда трудно, но...

И я подумал о том, что Альфонс умудрился взойти на Голгофу.

Дай всё-таки господь, чтобы такие неудачники жили на этой планете всегда, иначе вдовам с детишками придется совсем туго.

ДАВНИЙ НОВЫЙ ГОД У НАБЕРЕЖНОЙ ЛЕЙТЕНАНТА ШМИДТА

(Из книги «Соленый лед»)

В здании ЮНЕСКО в Париже есть фреска Пикассо. На фреске есть знаменитая фигура человека, летящего вниз головой. Я спросил Пикассо, что это означает.

— Искусствоведы исписали тонны бумаги, объясняя символку этой фигуры. Одни говорят, что это падение Икара. Другие — низвержение Люцифера с небес.

Пикассо наклонился и вполголоса закончил:

— Только между нами, Кусто: я просто хотел изобразить ныряльщика.

Жак Из Кусто, «Живое море»

Первый и последний раз я изображал низвержение Люцифера в трехболтовом скафандре на Кольском заливе. Офицеры плавсостава спасательной службы должны были нырнуть метров на двенадцать, найти на грунте белую эмалированную кружку и вынырнуть.

Я рвался за борт со всем пылом двадцати двух лет, хотя водолазное белье было липким от подводного трудового пота, шерстяная шапочка пришлось бы в пору Сократу, а ватные брюки доставали до подмышек.

Мороз стоял возле двадцати, а вода минус один. Туман и слабый снег. Отливное течение и мелкие льдины.

Здоровенные водолазы-костюмеры встряхнули меня в скафандр, который прозаически называется «рубахой». Я скользнул в рубаху юркой килькой, остря напропалую, и заметил запах гроба. Резиновый, с отделениями для рук и ног, но гроб.

Потом были надеты свинцовые ботинки и свинцовые грузá, отлитые в форме сердца мамонта. Потом было неэстетично: толстенные веревки пропускают между ног и обтягивают веревками грузá — в шесть рук, упираясь

тебе в зад коленками. Несмотря на шерстяное белье, ватные брюки и резину рубахи, кажется, веревки разрезают тебя пополам. И подозреваешь: ребята стараются специально, чтобы поучить новичка. Но это ерунда — так нужно: под водой воздух будет раздувать скафандр, веревки ослабнут, и груза могут сместиться.

Потом на плечи был возложен шлем, отскрипели все болты и лицевой иллюминатор, зашипел воздух, шевельнулась чешуя резины, и было предложено шагать к трапу. На пути меня ласково поддерживали, а у кормы развернули спиной к воде.

Сто килограммов свинца и меди гнули хребет в дугу.

За борт полетела кружка — с камнем, чтобы не очень далеко отнесло течением. И — бах! — руководитель спуска гаечным ключом стукнул по меди шлема — пошел, лейтенант!

Тяжесть исчезла, как только я погрузился до шлема. Я обрадовался и бодро завертел головой, раздуваясь, как лягушка.

— Травите воздух! Так вас и так! — заорали мне в телефон.

Тут я сконфузился, потому что вспомнил: следует не плавать в черной воде и не разглядывать снежинки, прилипающие к стеклу иллюминатора, а тонуть.

С поспешностью надавил затылком клапан и — уть! — утюгом провалился в холодную жижу. Уши схватило болью. И я порвал бы себе перепонки, если бы меня не задержали страховочным концом. Перед самыми глазами оказался винт родного корабля, и я уставился на него с удивлением и тревогой. А вдруг он возьмет и повернется? Нелепая, козья мысль, но...

— На грунте? Кружку видите?

— Хочу немного повисеть, — сказал я. — Уши.

— Время идет! — напомнили мне.

— Течение, — сказал я.

— А грунт хотя бы видите?

Я почему-то боялся смотреть вниз. И боль в ушах слепила глаза.

Бах! Вокруг взметнулось и закружилось зелено-мутное, смерчеобразное.

— Ай! — сказал я, обнаружив себя стоящим на дне. Облако мути удалялось по течению мрачным привидением. Вокруг валялись бутылки. И где только их нет!

— А кружки нет, — сказал я. — Только стеклянная посуда.

— Ищите!

Где искать — впереди, позади, справа, слева?

Я задрал голову и посмотрел вверх. Это было единственное прекрасное мгновение. Я был космонавтом, покинувшим космический корабль на Венере. Корабль парил надо мной, маленький, далекий, мутный, странный. Гайдропом с него свисала якорная цепь.

Я наконец сообразил, где нос, где корма, откуда выбросили кружку, и шагов через двадцать увидел — белым зайчонком мерцала кружка среди старых тросов. Мне было известно, что нагибаться нельзя — всплывешь на поверхность вверх ногами.

Воздух радостно булькал, вырываясь из скафандра. Я по всем правилам наклонно опускался.

Холод струйкой пробежал по спине, впился в поясницу, повел судорогой ногу.

— В посту! — крикнул я.

— Есть в посту! Что у вас?

— Меня, кажется, заливает! Очень холодно!

— Стравливаете много воздуха. Вода обжимает резину и холодит через нее. Выполняйте задание!

И я продолжал выполнять. Холод подошел к соскам и сжал мокрой ледяной лапой сердце.

Но я уже видел эту чертову кружку перед самым носом. Протянул руку — и схватил пустоту. До нее было еще метра полтора.

От холода я забыл, что иллюминатор увеличивает и приближает предметы. Ползком добрался к кружке и прекратил стравливать воздух. Холод стал отступать, но с сердцем творилось что-то неладное. Шапочка сползла на глаза, из носа полило, слабость до тошноты и нарастающая опять боль в ушах.

Подняться по трапу я не смог. Водолазы вытащили, как говорится на их языке, «за уши». Я плюхнулся на ближайший кнехт. Когда круглая гробовая крышка иллюминатора отпала, из шлема ударил пар, как из паровоза.

Скафандр был полон воды...

Водолазы встревожились и потащили меня в пост на руках.

Оказалось, что в аварийном клапане потекла прокладка. Когда я перетравил воздух на грунте, вода затопила мой гроб до самого шлема. Температура воды была минус один, и сердцу это не понравилось. И вообще только два-три сантиметра — расстояние от подбородка до рта и носа — отделяло меня от того света, от того, чтобы стать мокрым Икаром и убедить искусствоведов в том, что они не всегда ошибаются, истолковывая фрески Пикассо.

В ноябре шестьдесят пятого года возле набережной Лейтенанта Шмидта ошвартовался старый буксир. Неученые моряки передавали его ученым-океанографам из лаборатории глубоководных исследований Гидрометеорологического института. Меня приглашали на буксир старшим помощником. Но при одном условии: изучать акваланг, подводную связь и ходить на тренировки в бассейн. Условие было омерзительное, ибо будило дурные воспоминания, но делать было нечего. Я как раз переживал очередной творческий кризис. Как теперь понимаю, во мне начинался бой между образным и необразным мышлением. Я все чаще ловил себя на неискренности. И подумал, что, быть может, путь к искренности лежит через науку.

Тем более много раз в жизни мне приходили гениальные необразные мысли. Они даже потрясли меня, я не спал ночей от восторга открытий.

Некоторая трагедия моих необразных мыслей заключалась только в том, что, читая потом книги, написанные иногда тысячи лет назад, я с раздражением и разочарованием обнаруживал у своих открытий бороду. Даже если это не борода, а щетина — обидно. Вот пример. Одно время я занимался проблемой скорости света. Меня бесила цифра 300 000 километров в секунду. Для света это предел и для меня предел, но почему нечто не способно двигаться быстрее?

Мне сразу надо было вбить заявочный столб, а я промедлил. И пожалуйста: уже другим теоретически предсказаны тахионы — частицы со скоростью больше световой.

Конечно, испытываешь некоторое сомнение, когда занимаешься вопросами теоретической физики, не зная, что такое «эрг». И старомодные люди не занимаются. Но мне шел семнадцатый, когда бабахнула атомная бомба. Рим-

ский папа издал нечто вроде указа о конце мира, и по планете потекли слухи, что цепная реакция продолжается. Япония разложилась на протоны и электроны, и через неделю все это перевалит Урал.

Мы сидели в казарме и надеялись, что в связи с близким концом света всех уволят домой до понедельника и строевые занятия не состоятся. Тогда я впервые узнал о теории относительности.

Таким образом, о сложнейшей теории я узнал строгим классическим путем — из практики. Потому, вероятно, мне ничего не стоит цитировать Эйнштейна или Планка, хотя я давно забыл, что такое «эрг».

О теории относительности я читал раз пятьдесят. Тайна физической картины мироздания тянет, как край бездны. И когда ныне я читаю Планка или Эйнштейна, мне кажется, что я уже кое-что понимаю. И я даже испытываю наслаждение, и оно иногда пронзительнее, таинственнее и шире, чем от знакомства с прекрасным в искусстве и в жизни.

Парадокс в том, что стоит закрыть книгу, как наслаждение исчезает и я уже не способен объяснить понятое мною другому человеку. Понятое выскальзывает из головы со скоростью света или даже тахионов.

Надеясь на бабушкины предания, я укладывал Эйнштейна на ночь под подушку. Черт знает, думал я, быть может, бабушки не так глупы. Вдруг буквы шрифта испускают некие лучи, и мозг к утру впитает мудрость непечатанных слов. Не помогло.

И вот я решил пожить и поплавать с людьми науки, узнать, каким образом профессионалы закрепляют знания. И согласился обучаться нырянию с аквалангом, практике декомпрессии, языку немых на пальцах. «Все хорошо!» — бублик из указательного и большого. «Плохо внутри!» — кулак. «Плохо снаружи!» — растопыренные пальцы, и т. д.

Правда, не только общение с учеными привлекало меня на буксир, который носил гордое имя сына Океана и Земли — «Нерей».

Летом намечалась экспедиция в Средиземное море, в Монако — в гости к знаменитому изобретателю акваланга капитану Кусто.

И еще мне было предложено написать сценарий фильма «Человек и море».

«Нерей» вмерз в лед у ржавого понтона возле набережной Лейтенанта Шмидта и заснул до весны.

На понтоне построили деревянную будку, обернули ее брезентами и завалили снегом. В будке стал жить пес Анчар. Его хозяевами были сотрудники лаборатории подводных исследований. Анчар много раз путешествовал с ними на Каспий и Черное море, охранял хозяйство аквалангистов и кусал чужих без разбора и молча. Иногда кусал и своих. Никогда не кусал одного — Володю Бурнашева. Бурнашев сконструировал псу специальную маску и выучил нырять с аквалангом. Еще Бурнашев отличался от других тем, что не ел рыбу и не пил чай. Рыб он считал братьями нашими меньшими, а чай не пил, потому что происходил с Волги, из Новгорода, и считал, что его предки уже выпили все отпущенное роду количество чая.

Вот Володя и привел Анчара на понтон возле «Нерея», посадил на цепь.

Зима выпала суровая, а пес был стар. Ему было холодно и не хватало хорошей еды. После сложных разговоров с директором ресторана речного пассажирского теплохода «Александр Попов», который зимовал выше нас по Неве, Анчар начал получать из ресторана объедки.

Объедки носили молодые океанографы, которые служили до весны на судне простыми матросами. В ночные вахты они сидели в кают-компаниях, готовились к аспирантурам и диссертациям. Когда Анчар начинал грохотать простуженным басом, ребята вылезали к трапу.

Анчар был очень большой собакой, имел вид устрашающий. Его седая морда казалась перекошенной, потому что левый край верхней губы низко свисал.

Я радовался, что быстро подружился с Анчаром. Все мы любим, чтобы животные относились к нам хорошо, любим хвастаться этим. Я несколько раз поделился с ним домашним завтраком, а потом набрался смелости и подошел прямо к будке — у Анчара запуталась цепь. Я раскрутил ее. Пес рычал, но не кусал меня. И потом уже не лаял, когда я появлялся у трапа.

Океанографы были смешными матросами, хоть старательными и честными в службе. Им, например, не приходило в голову, что если ты подменился на вахте и ушел на танцы, то об этом надо сообщить старшему помощнику.

Однажды я выбрался проверить вахтенного и увидел незнакомого юношу в очках.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Я Лесман, — ответил он, заикаясь.

— А что такое «Лесман»?

— Это я...

— Идите с борта к чертовой матери в таком случае, — сказал я.

— Я н-не могу: я вахтенный матрос, — сказал он. — Я друг Бурнашева.

Эта зима вообще была странная. Я впервые зимовал возле родной набережной Лейтенанта Шмидта.

Знакомые приходили, чтобы скрасить длинные суточные вахты. Сухопутным знакомым нравилось сидеть в каюте на судне, видеть толстый слой изморози на иллюминаторе, слышать слабое биение сердца впавшего в летаргию корабля, — работал только котелок на мазуте и какой-то насос.

По корме летучими голландцами маячили обросшие инеем парусники. Анархист «Кропоткин» чуть не упирался бушпритом нам в кормовой кранец. Огни парусников светили, окруженные ореолом в морозном тумане. Близкий город исчезал совершенно.

И гостям хорошо было пить чай из термоса, слушать разговоры о легендарной «Калипсо», капитане Кусто, клетках-убежищах от акул, споры о том, кусаются акулы или все это выдумки, и уверенные мечтания о том, что летом «Нерей» снимется в далекое плавание.

Солнце Лазурного берега уже слепило нам глаза, отражаясь от величественных стен Океанографического музея в Монако. Над лазурным Лигурийским морем, крепко ухватив каменный штурвал, в зюйдвестке и каменном плаще стоял принц Альберт — моряк, ученый, защитник морской фауны... Вечнозеленые кустарники, пальмы, аллеи мандариновых деревьев с оранжевыми шариками плодов... Яхты миллионеров у причала Королевского яхтклуба... Казино... Рулетка...

Гости «Нерея» от таких видений и разговоров приходили в возбуждение, читали стихи, на которые вдохновил поэта лейтенант Шмидт:

Придается все.
Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят

И тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн,
Прячась
В белую пряность акаций,
Может, ты-то их,
Море,
И сводишь, и сводишь на нет. . .

Хорошо было в ту зиму ожидать весны, хотя морозы были сильные, приходилось повышать давление пара в магистралях отопления и подпольно ставить электрорелки.

Буксир был запущенным судном, магистрали лопались, то и дело затапливало радиорубку или каюты. Нужно было наводить бандажи и цементировать дыры.

И надрывал мне душу Анчар своим кашлем, когда вылезал из будки и смотрел на меня сквозь морозный туман.

«Вот, ты в тепле сидишь, только нос и высовываешь. Домой на такси едешь, а я тут сижу, — говорил он мне, — А я стар и одинок, и не видеть мне больше радости, потому что жизнь моя позади».

И я вспоминал строчки из ледяной, метельной книги Дугласа Маусона «Родина снежных бурь»: «Заболевший пес Джонсон лежал привязанный на санях поверх груза». Эта строка запомнилась, потому что пса Джонсона на следующий день путешественники съели.

На вахту тридцать первого декабря заступили я и Володя Бурнашев. Лучше быть самому на судне в новогоднюю ночь, если ты старпом, а магистрали парят, изоляция плохая и случаются короткие замыкания. Да и идти особенно было некуда.

Володе, кажется, тоже некуда было идти. А может быть, ему хотелось встретить Новый год на судне, потому что он был романтик. Он читал жизнеописание Леонардо да Винчи Мережковского. И опасался, что такое разбрасывание помешает ему в углублении знаний главной профессии — подводника-океанографа.

Я знал, что помешать может. А может и не помешать. Мне такое помешало. Но есть люди и посильнее меня. И так как я давно дал зарок — ничего не советовать людям, то только передал Володе слова Планка: «В дей-

ствительности существует непрерывная цепь от физики и химии через биологию и антропологию к социальным наукам, цепь, которая ни в одном месте не может быть разорвана, разве лишь по произволу». При этом я не скрыл от Володи и других слов старого деликатно-ядовитого Планка: «Некоторые люди с богатыми духовными запросами ощущают потребность в продуктивной деятельности, ищут спасительного выхода из пустоты и обыденной жизни в занятии общетеоретическими и философскими проблемами. К сожалению, при этом получают результаты только в очень редких случаях».

Последние слова каким-то неприятным образом касались меня, хотя я никогда бы не признался в этом вслух.

Конечно, правы те, кто предупреждает об опасности дилетантства. Но самый средний писатель — уже философ-дилетант. И это раньше времени привело на тот свет многих. Нельзя философствовать эмоционально. Гибель Экзюпери — такое же самоубийство, как смерть Хемингуэя и Есенина.

Я спросил Володю, знает ли он случаи самоубийства среди физиков, химиков или биологов. Эти люди стоят сейчас над самой бездной времени, пространства, тайны жизни.

Он таких случаев не знал. Он знал только, что Эйнштейн уже в юности не боялся смерти, а Толстой думал о ней всегда. При этом Володя заметил, что не согласен с Планком. Дело не в результатах занятий общетеоретическими или философскими проблемами, а в том, чтобы заниматься ими. Важен путь, а не результат.

Так мы беседовали, охраняя сонливый покой «Неря», ожидая Нового, 1966 года, укрепив на столе в кают-компании маленькую елку и засунув в шлем бронзовой статуэтки-водолаза свечку.

Нам было, конечно, немного одиноко и грустно так встречать Новый год, вести философские разговоры в одиночестве. И потом, время перед наступлением чего-нибудь особенного всегда тягостно.

Я вспомнил Анчара и решил пригласить его на праздник.

Володя привел пса, который дрожал крупной дрожью.

Анчар весь заиндевел на морозе, сразу лег под паровую грелку и зажмурился, не веря своему счастью.

— Начальство хочет списать пса, — сказал Володя, теребя собачьи уши. — Только они это через мой труп сделают. Вы бы видели, какой он смешной, когда с аквалангом под водой ходит! Шерсть за ним, как флаги расцветивания, полощется, и хвостом рулит. . .

Я спросил Бурнашева, что ему кажется самым жутким под водой.

— Что-нибудь большое. Померещится подводная лодка, например. Подлодка, которая из мути бесшумно прет куда-то. Не обязательно на тебя даже. . . Вообще, что-то громадное пугает. . . Я однажды стенки дока напугался, хотя знал, что должен ее увидеть.

— А что самое хорошее?

Он ответил не сразу, обдумывая, а пока сам задал мне несколько вопросов из подводного сигналопроизводства: «Дернуть, потрясти, дернуть»? «Дернуть, потянуть, дернуть»?

Он был инструктором-водолазом, а я путал «потрясти» и «потянуть». Вот он и тренировал меня в разговорах.

В школах он читал детишкам лекции о необходимости соединения акваланга с океанографической наукой. Особенно убедительным примером пользы такого соединения был рассказ о неизвестных существах, которые хотят узнать нечто о людях и спускают на Невский проспект из космоса сеть. Прохожие видят сеть над головой, разбегаются, прячутся, бросают по дороге галоши и окурки. И вот только эти-то галоши и окурки попадают в сеть неизвестных существ. И неизвестные существа ничего о нашей жизни узнать не могут. Вот если б они сами спустились на дно воздушного океана, на дно земной атмосферы, то другое было бы дело. Отсюда: если человек хочет узнать море, он должен в него спуститься и пожить в нем.

— Ну, а что кроме пользы науки влечет в воду? — допытывался я.

Он объяснил, что в воде все особенное. Вода даже плохое превращает в хорошее. Он, оказалось, ругается сам часто, но не любит слышать ругань других.

И был такой случай.

Они ставили на глубине мачту для приборов. Под Бурнашевым работали двое ребят, им тяжело доставалось, они ругались. И мимо него поднимались из глубины

ны матерные слова вместе с пузырьками воздуха. А он мат и не слышал, замечал только чудесный хрустальный звон от пузырьков.

Я поинтересовался: как могло случиться, что он слышал только хрустальный звон, но знает, что ребята ругались?

Он согласился, что здесь есть некоторое противоречие.

Тогда я рассказал, что давно размышляю о длине нашего языка, о неизбежности сокращения сложных слов и оборотов. Слова уже делаются путями на ногах мыслей, приходят в противоречие с сегодняшними скоростями. И появляется необходимость в профессиональных кодах.

Послушайте звукозапись старых, военного времени радиопереговоров в танковом бою или схватке истребителей в воздухе. Здесь лишнее слово подобно смерти в прямом смысле. И непосвященному кажется, что непрерывный мат в шлемофонах — лишние, рожденные волнением, напряжением, страхом слова. Но это не так. Матерная ругань для тренированного уха — тончайший код. От простой перестановки предлога до богатейших интонационных возможностей — все здесь используется для передачи информации. В информацию входит даже эмоциональное и психическое состояние того, кто ее передает.

Я заверил Бурнашева, что не собираюсь смаковать сквернословие, оно омерзительно, если идет от распушенности. Но если пилоту не дали короткого кода, он выработает его сам, потому что от скорости передачи и приема информации зависит его жизнь. Матерная ругань коротка, хлестка, образна, эмоциональна и недоступна быстрой расшифровке противником. Лекцию о пользе русского мата я подкрепил ссылкой на Пушкина, который «желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность» и говорил: «Не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали».

Потом мы обсудили будущий подводный фильм. Мы оба считали, что фильм должен быть философским. Но Бурнашев определял суть философии в покое и чистом созерцании йогов. Он считал, что глубина океанов воздействует на человеческую душу в этом направлении.

Я возражал, ссылаясь на Блока и на то, что покой нам только снится.

— Это надоело, как прибой на экране в морских фильмах, — сказал мой собеседник. — Как танцы голых девиц под водой, — нашли место для кабаре и стриптиза!

Я утверждал, что только движение в пространстве связано с движением духа. Во всех религиях бог не сидел на месте. Он шел. Или витал. Или летал. Христос, если прикинуть по карте и по Евангелию и если учесть, что в его времена было мало ослов, прошел пешком многие тысячи километров. И Магомет, если горы не шли к нему, шагал к ним.

Володя считал, что Христос и Магомет не сами боги, а только пропагандисты-агитаторы, и это меняет дело.

Здесь он, наверное, был прав, но мы поспорили, ибо уже привыкли спорить во время многочисленных подобных разговоров.

За полчаса до Нового года поднялся из машинного отделения вахтенный моторист Сергей Сергеевич, — тот, с которым мы гоняли самоходки на Салехард. После переезда он болел и сильно сник. В море ему больше не светило. А на зимовку мы его взяли мотористом — много ли сил надо следить за отопительным котелком.

У Сергея Сергеевича происходила обычная для пожилых людей аберрация памяти. Плен и концлагерное прошлое делалось у него навязчивым воспоминанием, а близкое прошлое моментально выветривалось. Я как-то спросил его о девушке в красном пальто из поезда Воркута — Москва. Он ее не вспомнил.

Сергей Сергеевич сел на корточки у двери и в торжественный момент под Новый год вдруг рассказал, как после освобождения везли пленных на родину. И в Польше эшелон обстреляли недобитые бендеровцы. Охрана эшелона оказалась на высоте. Бандитов поймали и казнили.

— Слушайте, Сергеевич! — взмолился я. — Если веселее не вспомните, я использую начальственное положение и отправлю вас вниз, в машину.

Потом взяв ракетный пистолет, ракеты, и мы вышли на палубу.

По близкой набережной и мелким торосам вдоль Невы, к заливу, струилась поземка. Потрескивал от свирепого мороза лед. Напротив неподалеку чернела по-

лынья, из нее густо парило, морозный туман смешивался с поземкой, скользил по льду.

И Горный институт, и адмирал Крузенштерн, и Академия художеств. Пушистые шары вокруг стояночных огней на парусниках. Тишина. Пустынность. Нарастающий звон ночного трамвая, цепочка его желтых замерзших окон над парапетом набережной.

Неудачник-вожатый в пустом вагоне тормозит у Тринадцатой линии, возле «Нерея».

Мы были сейчас друзьями с вагоновожатым, нас связывали те славные узы, о которых просто и удивительно писал французский летчик.

— Анчара забыли! — вспомнил Володя Бурнашев. — Подождите палить!

Шипел пар за бортом «Нерея», бесшумно падал иней и снег с антенн, с мачты, со шлюпбалок. Миллионы людей сидели вокруг в каменных домах. А город был пуст и замер.

Володя приволок упирающегося всеми лапами Анчара.

Теперь нас было четверо. Вернее, пятеро: трамвай не двигался — вагоновожатый хотел встретить шестьдесят шестой год на остановке.

Странный это был Новый год.

Ударили куранты, и я выстрелил зеленой ракетой, стараясь, чтобы она низко пошла над льдом Невы. Пиротехника запрещена на территории Ленинградского торгового порта.

Бурнашев, конечно, не смог удержать руки — его ракета пошла в зенит.

Сергей Сергеевич стрелять отказался — он давно уже настрелялся досыта.

Тени от ракет метнулись по крышам, куполам и судам. Где-то недисциплинированные моряки поддерживали почин: с десятков ракет поднялось и затухло над самым городом.

Трамвай весело звякнул, нарушил тишину и унесся вдоль набережной Лейтенанта Шмидта. А мы спустились в кают-компанию и всей вахтой еще раз нарушили законы и постановления — выпили водки при исполнении служебных обязанностей. Анчару досталась половина чудесных закусок.

Потом пес был отправлен обратно на цепь.

К утру Анчар исчез. Он всю жизнь провел в сторожевом охранении. Ему нельзя было и на несколько часов менять суровую жизнь на тепло и предновогодний уют.

Стремясь обратно к нам, он оборвал цепь, долго бегал по судну — на палубе в снегу остались следы, — но двери были стальные, на заглушках, он не смог их открыть и, вероятно, подался в город, погиб под машиной или трамваем, ибо не имел к ним никакой привычки. В милицию он не попадал — мы справлялись. Чужим людям такой старый пес, конечно, не был нужен. . .

К весне, ни разу не нырнув, перессорившись с ученым начальством, в котором не нашлось потребного мне количества философии, ушел с «Нерея» и я.

Начало охлаждению между мною и ученым начальством положил Анчар. Начальству старого пса не было жалко, оно было даже довольно его бесхлопотным исчезновением. А если человеку не жалко собаку, то, быть может, он и ученый, но не философ.



ЗА ДОБРОЙ
НАДЕЖДОЙ

Любая сверхистина обязательно должна поместиться в мозгу отдельного человека вместе с ее началом и концом, то есть вместе со всем ее доказательством. Не может быть так, чтобы сознания отдельных людей, объединившись, создали нечто вроде высшего «интеллектуального поля», где будет сформулирована истина, которую каждый мозг в отдельности вместить не способен.

*Станислав Лем,
«Сумма технологии»*

ПРОФЕССОР СЕЙС И СУДЬБА АЛЬФЫ ОРИОНА

Вскоре после возвращения из морей я получил предложение выступить перед читателями Дома ученых сибирского Академгородка.

Я был польщен и растроган. Городок этот с самого момента рождения окутан покровом таинственных истин и откровений. Это своего рода Мекка, куда нет входа неученым неверным. Потому я решил потянуть с ответом на приглашение. Будучи кристально честным человеком, я всегда помню, что все мною написанное есть «пасквиль по невежеству». Теперь следовало невежество закамуфлировать. Я подписался на журналы «Знание — сила», «Наука и жизнь» и приобрел кучу сборников «Человек и Вселенная». Кроме этого я запретил себе чтение художественных книг. Из зрелищных мероприятий в меню был оставлен только телевизор.

Я ушел в науку.

Я ушел в науку, как уходят в море.

В научном рейсе мне помог Адам Незуагхньюм. Когда-то я перевел рассказ этого автора. Необузданность веры в светлое будущее человечества, мужество, с которым он глядел вперед, — все это ставило Адама на одну доску с ведущими просветителями. Лем в «Трибуна люду» называл Незуагхньюма «лучшим из новых». А Бредбери в «Вашингтон пост» определил его талант как «искрыметный».

Помню, что я работал над переводом новеллы «Профессор Сейс и судьба Альфы Ориона» с увлечением, хотя язык Адама не всегда казался мне идеальным. Я думал, что некоторая скупость и сухость языка — это специальный прием, при помощи которого автор доносит до нас атмосферу жизни и умственный уровень людей эпохи «теплого голода».

Чем дальше и стремительнее развивается научно-техническая революция, тем меньше человечество бросает слов на ветер. С этим фактом мы сталкиваемся каждый раз, когда читаем современную газету. Этот факт подтверждает и новелла Незуагхнюма, ибо он написал ее за десять лет до начала топливного кризиса.

1

Профессор Сейс вышел на веранду, чуть покачиваясь. Семисуточная ночь тяжело действовала на него. Слабый свет искусственного спутника «Денер» заливал окрестности серебристым туманом. «Денер» заметно двигался на фоне совершенно черных облаков поглощающего газа. Облака клубились. Изредка в них мелькали синие бесшумные молнии.

«Очевидно, еще не включили отводящую систему», — подумал Сейс.

Искусственную ночь создавали при помощи мощной пелены газа, который аккумулировал энергию Солнца, сохраняя ее для будущих поколений.

Сейс посмотрел на датчик силоса и присвистнул. Контрольные огоньки не горели.

— И когда это кончится? — со вздохом спросил из комнаты женский голос.

— Это ты, Мэйв? — спросил Сейс. Он вздрогнул, но не обернулся на голос.

— Да.

— Почему ты не спишь? — сурово спросил Сейс.

— Ты позавтракал? — сквозь соблазнительный зевок спросила Мэйв.

Сейс не ответил. Через сорок минут он должен был выступать на Кольце Выхода из Теплового Тупика, а датчик силоса 606 не сработал. Голодное животное, когда предстоит проехать на нем тысячу двести миль за полчаса, не самый безопасный вид транспорта.

— Наши предки были чрезвычайно недалководны, — пробурчал Сейс.

— О чем ты?

— Спи, ради Разрушения Времени и Пространства! — выругался Сейс. Это ругательство разрешалось применять только членам Кольца. Жена раздражала

Сейса. Мэйв отбилась от рук после того, как он добился для нее внеочередного омоложения. Сколько раз он давал себе слово не использовать связи в Большой Науке для родственников! И вот опять...

— Как тебе не стыдно думать об этом! — крикнула Мэйв.

— Я думал только о кенгуру! — брякнул Сейс и со злобой щелкнул гумблером защиты от телепативной связи. Он забыл его включить. Вечная рассеянность ученого!

— И от таких растяп зависит судьба миллионов будущих людей! — с презрением сказала Мэйв из темноты комнаты.

— Я не считаю, что предки должны были сохранять для нас жираф или крыс, — сказал Сейс, машинально следя за спутником. — Но могли же они сохранить хотя бы пару кенгуру!

Средняя мощность загипнотизированной кенгуру, по его расчетам, могла достигать половичной мощности антигравитационного планера. Если бы на Земле остались кенгуру, все было бы по-другому. И не было бы этой проклятой Ночи и черных волн поглощающего газа над головой.

— За что ты решил голосовать? — спросила Мэйв. И Сейс опять услышал, как она зевнула.

— За то, чтобы сегодня же прекратили Ночь!

— Тебя обвинят в паникерстве, милый.

— Я докажу, что проблема Бетельгейзе будет решена мной в самом скором времени!

— Лучше воздержись, милый! — сказала Мэйв. В ее голосе была тревога и ласка. «Она меня все-таки любит, — подумал Сейс. — Конечно, ей трудно. Если женщина прошла омоложение раньше срока, а тебе еще ждать двенадцать лет, то... Хватит! — приказал он себе. — Надо ехать. Нельзя вечно оттягивать неизбежное!»

— Прощай, Мэйв! — сказал он и спустился с веранды.

— Постарайся достать новую свинку для Кэт! — донеслось вслед Сейсу. — Девочка все время опаздывает на лекции!

«Денер» исчез за горизонтом на востоке. И сразу же на западе взошел спутник СИРШ-9.

Это был более яркий спутник. При его свете Сейс увидел ровные ряды застывших в неподвижности деревьев. Только дубы чуть трепетали кончиками листьев. На время Ночи растениям делали уколы консервации. Это он, Сейс, добился ассигнований. Иначе здесь не было бы ни единой травинки.

Проходя к планеангару, Сейс потрепал рукой кусты тамариска.

Планеангар был стандартный. Раньше в нем свободно помещалось шесть индивидуальных антигравитационных планеров, а теперь стояла одна корова № 576419 и три постоянно загипнотизированные свинки, на которых ездили в колледж дети Сейса.

№ 576419 встретила Сейса голодным, но доверчивым мычанием. Профессор подключил контрольную аппаратуру и бросил взгляд на циферблаты. Кровяное давление коровы было хорошим, давление внутренних органов — удовлетворительным, потенциалы двигательных мышц — выше нормы. На стене планеангара зажглось световое табло: «Разрешается начать гипноз!» И двери ангара стали медленно откатываться.

Сейс вздохнул с облегчением — он боялся, что автоматика запретит выезд, обнаружив нарушение режима кормления. Кормить же гипнотизируемых животных перед самой дорогой категорически запрещалось.

Сейс привычно сунул проводник от своего гермошлема в розетку на лбу № 576419 и подал усиление на первый каскад гипнозного внушителя.

Датчики, показывающие кратность усиления мышечных тканей, плавно склонялись к цифре 100. Корова засыпала нормально.

Средняя мощность одной-единственной загипнотизированной коровы часто достигала тысячи лошадиных сил, причем затрата ею энергии под влиянием внушения оставалась такой же, как и у телки, спокойно пасущейся на лугу. Это явление обнаружил и предложил использовать еще академик Гельденбург пятьсот лет назад. Но тогда человечество мало думало о будущем и тратило энергию Солнца совершенно разгильдяйски, расточительно.

Когда наступила эпоха Теплового Голода, академик Блюмберг вторично открыл гипнозный эффект, который с тех пор носил название «Парадокс Гельденбурга — Блюмберга».

Теоретическое обоснование парадокса так и не было найдено, что, впрочем, не мешало его широкому практическому применению. Так как к этому времени на планете не осталось никаких животных, кроме коров и свиней, то «Парадокс Гельденбурга — Блюмберга» не смог полностью возместить затраты энергии на индивидуальные антигравитационные планеры, и они были запрещены на всей планете под страхом Прижизнения Хвоста. Эта высшая мера наказания накладывалась на тех, кто нарушал Закон Сохранения Энергии для Будущих поколений. Хвост нарушителю приживлялся на различные сроки. Скрывать хвост под одеждой запрещалось. Отменить наказание могло только Кольцо.

2

Выводя № 576419 из ангара, Сейс обдумывал свое предстоящее выступление и по обычной рассеянности забыл включить следящий за дорогой фотоэлемент. Тройное мычание напомнило ему о необходимости особой внимательности. Сейс включил фотоэлемент, залез в герметическую кабину и выехал на дорогу.

Дорога представляла собой надутую гелием синтетическую полосу со средней шириной проезжей части в одну милю. Начало и конец дороги пропадали в серебристом тумане.

Сейс поставил регулятор на трехсотметровые прыжки и включил автомат. № 576419 послушно разбежалась и прыгнула в разгонный прыжок. Сейс мог поставить пятисотметровый режим, но ему надо было в пути сосредоточиться. А при пятисотметровом режиме корова поднималась на высоту до восьмидесяти футов и у Сейса обычно начинала кружиться голова. Он плохо привыкал к новому виду транспорта, хотя гелиевая полоса идеально амортизировала.

Потемнело. Зловещие космы поглощающего газа висели над дорогой. И Сейсу при каждом прыжке коровы казалось, что он головой воткнется в газ. Но это был оптический обман.

Количество молний уменьшалось, и Сейс понял, что уже включили отводящую систему.

Движение на дороге соответственно увеличивалось. Метеорами проносились на специальных, молодых коровах полицейские разъезды. Самые послушные, любящие школу детишки уже скакали на загипнотизированных свинках по специальной детской дороге.

Сейс слышал в шлемофонах веселые детские голоса и думал о тех людях, которые будут жить через миллионы лет. О тех, ради которых земляне теперь жили в искусственной Ночи. Уже давно Человечество приучало себя думать не о себе, а о тех, кто будет жить потом. Такая точка зрения облегчала труд педагогов.

Думая о Будущем, Сейс думал о своем проекте. Он хотел приблизить к Земле звезду первой величины Бетельгейзе. Как известно, это одна из самых больших звезд Вселенной. Она находится в созвездии Ориона. Ее диаметр в 360 раз больше диаметра Солнца, то есть Бетельгейзе больше всей орбиты Марса. Она светит красным светом.

Сейс был уверен, что такой звезды человечеству хватит надолго, и несколько раз ставил на обсуждение Кольца вопрос о перемещении Бетельгейзе из Ориона в более близкое созвездие Феникс, но каждый раз наталкивался на сопротивление консерваторов, которые не считали возможным менять привычный рисунок созвездий. Другая часть оппонентов Сейса справедливо считала, что средства на создание научного центра по буксировке Бетельгейзе можно выделить только после того, как он, Сейс, предложит конкретную идею и метод, с помощью которых он думает передвинуть звезду. Над этим он и ломал себе голову, когда услышал неприятные, булькающие звуки внутри № 576419.

Сейс быстро взглянул на альтметр. Прибор показывал высоту в сорок футов. Спидометр же бесстрастно фиксировал горизонтальную скорость триста миль в час. Между рогов, которые служили одновременно вспомогательными антеннами, замигало световое табло: «Немедленно катапультируйтесь! Авария!»

Профессор дернул рычаг катапульты и обомлел. Он не услышал характерного звука выталкивающего из кабины взрыва. На табло замигал новый сигнал: «Вы забыли дома парашют! Будьте мужественны!»

— Во имя Разделения Времени и Пространства! — слабо крикнул Сейс. Он понял, что корова теряет верти-

кальную остойчивость и переворачивается головой вниз. Мелькнули, как в макрокосмном кинофильме, облака поглощающего газа, диск «Денера», серебристая лента гелиевой дороги...

— Мэйв! Родная! Прощай! — подумал Сейс и тут вспомнил, что включил телепатическую защиту и жена не уловит его последнего «прости»...

Один из ведущих Членов Кольца по Выходу из Теплового Тулика, профессор Сейс рухнул на Землю в стороне от дороги, между Сан-Франциско и Нью-Йорком, в пятистах двенадцати милях от Чикаго.

«Денер» опять скрылся на востоке за грядой тexasских холмов. И сразу же на западе взошел СИРШ-9.

3

Рога пронзили Сейсу легкие, ноги были размозжены, левая рука сломана в шести местах, но голова и оторвавшаяся напрочь правая рука сохранились довольно хорошо.

Это установил прибывший на атомопеде через несколько секунд после катастрофы аварийно-медицинский патруль Наземной службы в лице лейтенанта Скотта. Лейтенант Скотт без труда установил, что у пострадавшего наблюдается еще и типичный случай смерти.

— И потому не следует тянуть волынку, парень! — сказал лейтенант Скотт сам себе. Он давно привык разговаривать сам с собой, потому что восемнадцать лет провел в Большом Космосе и дослужился до командира разведывательного звездолета, но потом сорвался.

Судьба Скотта заслуживает того, чтобы здесь сказать о нем несколько слов.

Исследуя окрестности сверхновой звезды Тау-10-бис, он израсходовал неприкосновенный запас энергии, заготовленный для Будущего. Кто-то из команды доложил об этом Кольцу. Скотта отозвали на Землю и приговорили к Приживлению Хвоста навечно. После этого он сам попросился на опасную и грязную работу в аварийно-медицинский патруль Наземной службы.

Скотт, естественно, был одинок — жена бросила его сразу после Приживления Хвоста. Дети не знали его имени. И Скотт искал смерти на дорогах, но она, как часто бывает в таких случаях, обходила его стороной. Характер у лейтенанта был тяжелый, угрюмый, грубый. Но работал он хорошо — помогал опыт молниеносных решений, накопленный на борту звездолета. Скоро он вырос до командира роты Наземной службы, но опять сорвался. Один из подчиненных застал его дома с хвостом, спрятанным под халатом. Скотта разжаловали обратно в патрульные. Теперь его узкой специальностью была доставка разбившихся в Институт Составной Хирургии. Институт был на Земле единственный. Он возник на широкой экспериментальной базе при знаменитых Чикагских бойнях.

Скотт молниеносно подключил к останкам Сейса искусственное сердце, два легких и почку. Продезинфицировал правую руку и поместил ее в физиологический раствор. Потом аккуратно уложил останки в инкубационную камеру с пониженной температурой и доложил по линии о причине катастрофы. Заключалась она, по его мнению, в неправильном содержании коровы № 576419, желудок которой оказался совершенно пустым.

Кольцо запросило данные о голове Сейса. Лейтенант доложил, что голова внешних повреждений не имеет и, по его расчетам, сможет продержаться минут двадцать.

Кольцо запросило, сколько потребуется времени лейтенанту для доставки останков Сейса в Чикаго. Скотт сказал, что не меньше пятнадцати минут, потом сел на обочину и стал ждать решения Кольца. Решение принималось большинством голосов при открытом голосовании, и только в тех случаях, когда погибший представлял для общества выдающуюся ценность.

СИРШ-9 скрылся на востоке. И сразу же на западе показался «Денер». Потемнело.

Лейтенант закурил и грустно усмехнулся. Он почему-то вспомнил, глядя на клубящиеся облака поглощающего газа, свою юность, состояние невесомости, приятный звук отдираемых от тела присосок, когда отключают

датчики после возвращения из очередного рейса к звездам. Он не мог забыть свою прошлую работу... Что может быть прекраснее летаргического сна в удобном кресле пилота? Удивительные видения бесшумно скользят перед тобой. И никогда потом не знаешь, действительно видел ты изумрудные звезды и светящиеся во мраке астероиды или все это тебе только померещилось...

Погрузившись в воспоминания, лейтенант тем не менее не отрывал внимательного взгляда от циферблата электронных часов. Прошло уже десять минут, а приказа не поступало. Скотт запросил начальство. Ему ответили, что в Кольце идут сложные дебаты. Консерваторы голосуют против доставки Сейса в Институт Составной Хирургии. Молодое крыло Кольца дерзит консерваторам. А центр, который требовал от Сейса конкретных предложений по перемещению Бетельгейзе, колеблется.

Прошло тринадцать минут. Скотт открыл инкубационную камеру и заглянул к Сейсу.

— Тысяча чертей, старик! — сказал Скотт. — Минутки через две я выключу аппаратуру... Ты слышишь меня, старик?... Оказывается, не очень ты важная птица... Нужно ухаживать за средствами транспорта, даже если это корова, кретин ты этакый, слышишь?

— Слышу, — едва слышно прошептала голова профессора.

— Помалкивай! — грубовато сказал лейтенант. — Нам не разрешается разговаривать с пациентами, у которых стопроцентная кондрашка. Ваш брат иногда такое молотит...

Здесь лейтенант почувствовал сильный удар током в ухо. Это был сигнал сверхскоростной связи для сверхважных приказов. Лейтенант не любил этот сигнал. От него появлялись невралгические боли в основании хвоста.

— Лейтенант Скотт слушает!

— Немедленно доставить останки в Чикаго!

— Поздно!

— Имеете право включить нейтринный двигатель!

— Тогда я не смогу затормозить в Чикаго!

— Меньше разговоров!

— Есть!

— Во имя Разделения Времени и Пространства!

И лейтенант Скотт включил нейтринный двигатель. Он знал, что сломает голову, но что ему оставалось делать, если Кольцо решило сохранить голову Сейса?

4

Через секунду атомопед миновал Детройт и вышел на заблокированную специальным сигналом нейтринную трассу Лос-Анджелес—Чикаго. На второй секунде Скотт включил тормозящую систему, но все равно было поздно. Они врезались в амортизаторы контрольно-пропускного пункта Института Составной Хирургии со скоростью двести миль в час.

Голова лейтенанта разлетелась вдребезги.

— Великолепно! — сказал приемный врач.

— Это как раз то, чего нам не хватало! Молодое, тренированное тело! — воскликнул Главный Хирург и даже зачмокал от удовольствия, когда останки бывшего звездолетчика положили на операционный стол рядом с головой Сейса.

— У нас было несколько трупов, но все уже в пожилом возрасте, — объяснил хирург Представителю Кольца, прибывшему в Институт для контроля за ходом операции.

5

Сознание медленно возвращалось к профессору. Боль в области шеи, ломота в висках, зуд в пояснице и свербение в затылке мешали ему сосредоточиться. Но все это было мелочью по сравнению с неприятным состоянием раздвоенности. Мелькали в мозгу формулы, гипотезы, длинные ряды цифр. Они уводили его в привычный мир проблем по буксировке Ветельгейзе. Но кроме них и кроме мыслей о Мэйв, о том, как она волнуется за него, кроме всего этого Сейс настойчиво ощущал внутри нечто совершенно лишнее. Он просто-напросто стал тяжелее на тридцать три фунта.

— Где я? — спросил Сейс.

— Все, о-кей! — сказал Хирург.

— Что здесь «о-кей», скотина? — спросил Сейс голосом лейтенанта Скотта, грубо, хрипло и вызывающе. —

Задрыги! Хари! Вы у меня попрыгаете, кретины! — Он хрипел так минут пять, потом ослаб и затих.

— Обратная речевая функция, Мэйв. Большой кусок чужой глотки. Это пройдет, — весело объяснил Хирург. — Вы не беспокойтесь, мэм! Тело еще сопротивляется, но голова есть голова, дорогая. Голова подчинит себе тело. Правда, некоторое изменение словарного запаса и тембра голоса останется, но это пустяки, мэм! Хотите виски?

— Конечно, док! — услышал Сейс веселый голос Мэйв. — А сколько ему теперь лет?

— Новый возраст устанавливается как средний между возрастом головы и тела. Ваш супруг помолодел на сорок лет.

— Это меня устраивает, док! — со своей обычной откровенностью сказала Мэйв. — А как быть с хвостом?

— Не буду врать, мэм, это сложная проблема. Закон есть Закон. Масса юридической путаницы бывает в таких случаях. . .

— Сейс, дорогой, ты слышишь меня? — ласково спросила Мэйв.

— Да, дорогая! — тихим и нежным голосом ответил Сейс. И ощутил теплые губы на своем холодном лбу. — Прости, — продолжал он. — Я, кажется, забыл дома парашют. . . сука ты этакая!

— Выкиньте все это из головы! — приказал Представитель Кольца. — Проблема Альфы Ориона ждет вас!

6

Юридическое разбирательство между Головой профессора Сейса и Телом лейтенанта Скотта началось через две недели после выписки Сейса из Института. Сложность и казус заключались в том, что никто не мог освободить Тело Скотта от хвоста, так как оно несло часть вины прежнего хозяина. В то же время Голова не имела никакого отношения к грехам Тела.

Жена Сейса требовала освободить мужа от хвоста, потому что тень позора падает и на нее.

Сам Сейс, как настоящий ученый, плевать хотел на свой внешний вид.

При разборе дела Тело было представлено адвокатом Смайлсом. Голова — супругой профессора Мэйв.

Все это время Сейс напряженно работал. Кроме изменения словарного запаса и тембра голоса внутринеорганический обмен между молодым телом и старой головой namного увеличил продуктивность мозга Сейса. И к концу процесса он нашел решение проблемы Тепла.

Когда было объявлено, что Тело лейтенанта Скотта имеет право освободиться от придатка только в том случае, если Голова докажет свою чрезвычайную потребность обществу, Сейс попросил слова и встал.

Его глаза сияли. Руки немного тряслись. Хвост он небрежно закинул на плечо. Он знал, что расстанется с ним в самом близком будущем.

— Итак, глубокоуважаемые коллеги! — торжественно начал Сейс. — Слушайте, ублюдки, что скажет вам командир! — вдруг зарычал он, но сразу спохватился. — Простите, коллеги! Я буду краток. Следует подогнать звездолет к Альфе Ориона с тыла, со стороны, противоположной созвездию Феникса... Эй, свинья, ты куда смотришь, когда командир говорит?! Простите, коллеги!.. Звездолет должен облучить жестким излучением лазеров дальнюю от нас сторону звезды. Цепные реакции синтеза вызовут гигантские выбросы материи с гигантскими скоростями в сторону, противоположную нам. Реактивный эффект, самый обыкновенный реактивный эффект, открытый еще сто тысяч лет назад самоучкой Циолковским, сдвинет звезду к чертовой матери с орбиты и пихнет ее в созвездие Феникс! И пусть семь чертей жарят меня... Простите, коллеги!

После того как рассказ «Профессор Сейс и судьба Альфы Ориона» был напечатан газетой «Литературная Россия», посыпались отклики читателей.

Алексей Ю. из Кудымкара, например, просил сообщить биографические данные автора. Некоторых интересовали тайны творческой лаборатории Незуагхнюма, некоторых — его творческие планы. Но я не решился тогда беспокоить Адама, ибо мы еще не входили в Авторскую конвенцию и обещать Незуагхнюму заслуженный им гонорар было невозможно.

Предстоящая поездка к ученым оживила мой интерес к Адаму.

Мне удалось связаться с ним по телефону. Незуагнхюм находился на острове Эльба, где собирал материал для философского футурологического романа, главным героем которого будет Наполеон. Адам не сомневается, что люди эпохи теплого изобилия легко будут оживать и давно умерших. Называется роман «Назад, Время!».

О своем творческом методе Адам твердил одно: «Смелость, коллега! Смелость! И еще раз смелость!» Особое удовольствие ему доставляло подчеркивать, что новеллу «Профессор Сейс» он написал за двенадцать часов восемь минут. Причем за это время новелла была им самим дважды перепечатана от корки до корки.

Безапелляционностью суждений и внешне примитивной, но внутренне терпкой и многозначительной наглостью Адам напоминал Боба Фишера. Как и Фишер, Адам изучил русский язык, ибо не мыслит творчества без опоры на сборник «Будущее науки», ежегодно издаваемый в Москве издательством «Знание». Кроме того, он выписывает нашу «Литературную газету», которую считает уникальнейшим печатным органом по стойкости попыток объять необъятное в каждом номере.

Я спросил Адама о влиянии огромного количества научных знаний на художественную свежесть его мировосприятия.

— Любой творческий мужчина, конечно, знает, как зависит его творчество от полового воздержания, полового пресыщения или полового безразличия, — ответил Адам. — Ужасно сознавать зависимость вдохновения от материальной оболочки. Особенно если вдохновение чуть теплится! — Здесь он замолчал, и в телефонной трубке слышался только шорох электронов и позитронов, болтающихся в кабеле между островом Эльба и Ленинградом. Через тридцать секунд Незуагнхюм продолжил крепнушим от слова к слову голосом: — В параллельном познании наукой и художественностью, Виктор, всегда была борьба, но она велась с равным успехом. Сегодня младенец Геракл науки своей детской ручонкой прихватил образ за глотку, наука побеждает образ, разрывая его на рационально и непроверяемо доказываемые составляющие. Однако меня, Виктор, вполне утешает

пример мужчин-гинекологов. Они все про все в интимных вопросах знают с глубоконаучной дотошностью, но это им не мешает любить, быть любимыми, быть счастливыми и красивыми. Я всегда умиляюсь, глядя на счастливую семейную жизнь гинекологов, сексологов, венерологов, акушеров и патологоанатомов. Зрелище влюбленного сексолога наполняет мою художническую душу оптимизмом... Жду тебя в Нью-Йорке, дружище! Благодарю за внимание!

В этот же день я телеграфировал в Академгородок согласие на приглашение и сформулировал тему выступления: «Проблема дилетантского интереса к науке у писателя-прозаика и способы его борьбы с этим интересом в век НТР». Благородство обязывает признаться, что в слове «дилетантского» я сделал три ошибки. А ведь сколько уже раз залезал в словарь по поводу этого термина! У Даля «дилетант» — «охотник, любитель; человек, занимающийся музыкой, искусством, художеством не по ремеслу, а по склонности, по охоте, для забавы». Раньше, таким образом, дилетантство в ремесле или науке не мыслилось вовсе даже. Оно только области искусств принадлежало. Теперь для области искусств применяется «самодеятельность», а дилетантство перекочевало в науку и относится до тех людей, которые высказывают научные соображения, не имея научного базиса, то есть диплома. Таких людей, по аналогии с «графоманами», я предлагаю называть «физиоманами» и отношу к ним себя.

Новосибирские ученые приняли мою телеграмму за шутку. Тогда я позвонил им и попытался объяснить, что только название темы выглядит шуточно, на самом деле никакой шаловливостью и не пахнет. И что разброс интересов к самым различным областям знания мешает моему цельному ощущению Человека, замещается дилетантским, то есть ложным, знанием большого количества околонуточных фактов, фактиков, идей и идейек.

Ученые в ответ вежливо смеялись.

НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ, ИЛИ ШОК ОТ ЭТОЛОГИИ

Началом моего путешествия в Новосибирск, в глубины России, в правый желудочек ее обширного сердца, следует считать семнадцать часов ноль-ноль минут двадцать первого февраля прошлого года.

В этот момент я вошел в кассу аэрофлота на Петроградской стороне города Ленинграда.

В кассе царил модерн, сияли неземной красотой рекламные плакаты «Интуриста» и было безлюдно. Только старичок, похожий на Репина, сидел в уголке на диванчике, обложенный пакетами и пакетиками.

Я тихо обрадовался пустынности и удивился отсутствию очереди. Давно я не путешествовал внутрь страны — все море да море. И вот оказалось, что билеты на самолет можно приобретать уже без очередей и без хлопот.

Я не торопясь изучил расписание. В Новосибирск летели три самолета. Я выбрал улетающий в ноль часов девятнадцать минут, чтобы с учетом разницы во времени оказаться на месте утром.

Старичок, похожий на Репина, наблюдал меня с того момента, как я вошел в пустыню кассы. Он наблюдал с тщанием, даже любованием, как и положено наблюдать окружающее человеку с внешностью художника-реалиста.

Но даже деревенская девчонка, которая глядит на меня, засунув палец в рот и почесывая нога об ногу, действует на нервы отрицательно. И в данном случае я не удержался и спросил старичка:

— Натуру ищем, папаша? Я только обнаженным согласен — по пятерке за час, пойдет?

Старичок, похожий на Репина, не ответил, только ухмыльнулся загадочно-зловеще-предвкушающе.

Я подошел к кассовому окошку. Никого за ним не оказалось.

Я подождал минуту, две, три, все ощущая на себе взгляд старичка, который от души наслаждался моим дурацким ожиданием у пустого окошка.

В семнадцать часов двадцать минут я постучал по стеклу окошка.

Репин испустил мефистофельский смешок.

— Ишь-ишь какой! Пришел — увидел — победил — билет купил! — сказал старичок. — Не видите: провод висит?

С потолка, действительно, свисал кабель.

— Связи с центральной кассой нет! — объяснил наконец старичок. — Без телефонной связи они не работают.

— А когда будет связь-то?

— А вы у монтера спросите. Он с кассиршей в жмурки играет — там, в задней комнате.

Я проник в заднюю комнатку и увидел соблазнительную девушку в аэроформе и монтера в расклешенных брюках. И она и он были довольны жизнью — разгадывали кроссворд в «Огоньке».

— А когда возможно восстановление связи? — спросил я.

Они и ушами не повели.

Я сел на диванчик подальше от старичка и вытащил газету. И сразу взгляд выхватил слова: «Наукой доказано...»

Когда ты поглощен наукой, то наталкиваешься на нее всюду и везде.

«Наукой доказано, — читал я, — что звери и птицы предчувствуют надвигающуюся опасность. Вот и обитатели Карагандинского зоопарка в последнее время имели основания для беспокойства. Однажды посреди ночи в пожарной части раздался звонок из зоопарка и тревожный голос сообщил: «Горим!» Прибывшим бойцам оставалось лишь зафиксировать, что пожар произошел от калорифера, самовольно установленного работниками зоопарка в клетке питона. Огонь не получил распространения, истлела только перегородка, но все представители фауны — от питона и макаки до медведя и зебры — погибли в результате отравления угарным газом...»

Я читал, а старичок продолжал любоваться мною. Такое внимание может довести до истерики и камень-пьедестал из-под копыт Медного всадника.

— У меня лоб в чернилах? — спросил я.

— Наивности вашей, милгосударь, радуюсь, — сказал старичок и даже кудлатую головку склонил набок. — Неужто связи дожидаться хотите, когда до закрытия кассы час остался? Кто же связь налаживает за час до конца рабочего дня?

— А вы тогда почему здесь сидите?

— А я дочь жду. Она в овощном за египетским луком стоит, а я ее здесь с удобствами поджидаю, милгосударь, и покупки храню. Шли бы вы тоже в овощной. Прекрасный репчатый лук дают. И по виду отменный, и по вкусовым качествам. Пятьдесят семь копеек килограмм. Для запаса лук первая вещь.

Рядом, действительно, продавали в овощном магазине египетский лук. И когда я еще только шел к кассе, то отметил этот факт, хотя и не удивился этому так, как домашние хозяйки. Их завораживала тень пирамид на репчатом боку лука. А я давно привык к парадоксам мировой торговли в век НТР. Бывало, плывешь из Ленинграда в Калькутту, везешь чугуны в чушках и встречаешь где-нибудь возле Мадагаскара коллегу, спрашиваешь, конечно: откуда идете? куда? что везете? И получаешь в ответ: «Иду с Калькутты на Ленинград, везу чугуны в чушках».

— Значит, запасы делаете? — спросил я.

— Исходя из жизненного опыта, — объяснил старичок.

Сравнительно недавно я изгалялся в остроумии, заявляя, что нельзя очеловечивать животных и что следует озверивать людей. И этот совет казался мне веселым парадоксом. Когда я начал падение в околонуточный омут, то первым делом наткнулся на этологию. Оказывается, в поведении, психике, взаимоотношениях животных обнаруживают зачатки всех тех элементов, которые определяют творческую деятельность человека — и прежде всего в области искусств!

С большим трудом, содрогаясь от нежелания, интеллектуалы признали, что у охотников на мамонтов в эпоху верхнего палеолита существовало настоящее, полное, кровное, реалистическое в своей основе искусство. Эсте-

тическое воздействие некоторых произведений искусства древнекаменного века такое, что их сравнивают с произведениями великих художников нового времени. Оказалось, у неандертальца, древнего грека, средневекового алхимика и у нас с вами один предел оперативных возможностей психики, а произведения живописца-неандертальца и Пабло Пикассо не выше и не ниже друг друга по качеству, глубине жизнеощущения, силе воздействия.

Таким образом, можно сказать, что искусство не имеет прогрессивной истории в том смысле, в каком ее имеет наука — от каменного резца до синхрофазотрона, от дробика до водородной бомбы.

Если Ньютон мог сказать, что достиг многого лишь потому, что стоял на плечах гигантов, то этого никак не мог бы сказать Пикассо, который тратил огромные деньги на аукционах живописи обезьян. Очевидно, Пикассо находил в живописи шимпанзе нечто такое же важное, что и в «Сикстинской мадонне». В какой-то степени Пикассо стоял на плечах шимпанзе. Не о технике рисунка, или знании анатомии, или законах перспективы здесь речь, ясное дело. . .

Начитавшись этологических книг, я потерял способность глядеть на людей как на людей. Вместо бабушки, которая варит варенье или упаковывает в банку огурцы, я вдруг обнаруживал обыкновенную рыжую белку — и белка и родная старушка действуют под влиянием инстинкта запасов. Инстинкт же этот выработался из-за вращения Земли вокруг Солнца и обусловлен постоянным углом наклона земной оси к плоскости орбиты. Туземцы райских островов Танти не знают этого инстинкта, так как на экваторе нет сезонов года — вот и вся причина их беззаботности.

Я всегда терпеть не мог делать запасы, потому что меня как раз тянет их делать. И в пику этой безымянной тяге я их не делаю. Но когда я покупаю сразу блок сигарет, то испытываю приятное ощущение запаса. И когда я покупаю сразу пять кило бумаги в Литфонде, то мне приятно потом глядеть на пачки. И все это обусловлено наклоном оси вращения Земли к плоскости орбиты, а не моей душой скупца или широтой натуры расточителя. Есть отчето темнеть художественным ликом!

— Так что, думаете, нет смысла связи ждать? — спросил я у старичка, похожего на Репина, изо всех сил ста-

раясь не видеть в нем питона, макаки, медведя, зебры и сумчатой крысы.

— Решительно никакого смысла нет, — с удовольствием ответил старичок.

И я пошел домой.

Дома меня ждал застрявший лифт. Из шахты доносился детский плач, вернее стенания. Лифт застрял между третьим и четвертым этажами. Мой сосед, строительный инженер, недавно погоревший, как питон в Караганде, при помощи научно-технической революции (он забыл выключить телевизор, и телевизор в середине ночи загорелся, от телевизора полностью сгорела его квартира, которая, правда, оказалась застрахованной, а наша незастрахованная лестница уже больше года пугает слабонервных адовой чернотой сажных стен), так вот этот мой сосед утешал ребенка в лифте. Он кричал ребенку, чтобы тот держался, что уже дважды звонили в аварийную службу, что все скоро будет хорошо. Ребенок в лифте рыдал, членораздельным в его рыданиях было: «Холод-но-о-о!»

Я ничем никому помочь не мог, потому миновал место происшествия без лишних слов. Я торопился к началу телепередачи «Ученые в эфире». Выступать должны были академики Виталий Гинзбург и Николай Доллежал.

У Гинзбурга оказался демонический вид. Он глядел иррациональными глазами потустороннего гения. Мне показалось, что он немного играет под младшего Капицу — ведущего специалиста по очевидному невероятному. Иррационально-ошалелый взгляд Капицы иногда преследует меня во сне.

Гинзбург начал так: «Воробьи чирикают об энергетическом кризисе и нехватке топлива...» От встревоженных воробьев он перешел на проблемы управления термоядерным синтезом, а закончил нейтринной и гравитационной астрономией.

Здесь раздались тревожные звонки. Сосед-погорелец попросил нитроглицерин для застрявшего в лифте бедолаги.

— Так там же ребенок! — сказал я, опускаясь с высот гравитационной астрономии в прозу быта. — Инфаркт помолодел, но не до такой степени, черт возьми!

На нашей лестнице я являюсь специалистом по ока-

занию помощи при сердечных приступах. Самой узкой специализацией является подача помощи изолированным от внешнего мира лицам, то есть застрявшим в лифте. Валидол или нитроглицерин надо привязать на кончик нитки, а затем стравливать нитку с катушки через разбитое окно шахты на чердаке. Для этой операции надо довольно много времени, а в эфире вот-вот должен был появиться академик Доллежалъ, главный конструктор первого нашего атомного реактора.

— Какой ребенок? — не понял сосед. — Там сидит старуха с твоей площадки.

— Какая старуха? Нашу старуху отправили в дом хроников еще весной.

— Вышибли ее из дома хроников, — сказал сосед-строитель.

— Господи! — воскликнул я. — Опять с голубями кошмар начнется!

— Есть у тебя нитроглицерин или нет? — спросил сосед.

Я привязал лекарство к нитке, поднялся на чердак и успешно снабдил старуху голубятницу лекарством. Что это за старушенция, вы можете понять по факту ее изгнания из дома хроников.

Мы с ней живем на шестом этаже. И голуби на шестом. Загадили балкон, карнизы, подоконники. Орут привиденческими голосами, дерутся, любятя — раздражают. Окно открытым оставишь — утром по всей кухне гуано, как на коралловых островах Индийского океана.

Старуха голубятница — одинокая, несчастная. Она этих иродов кормила, с ними разговаривала — она их и привадила. Когда забрали старуху в дом хроников, решил я с голубями разделаться. Раньше я не их, а старуху жалел, не хотел ее общества лишать.

Хладнокровно продумал экзекуцию. Конечно, без всяких там домоуправлений и санэпидстанций. Китайский опыт решил применить: не давать голубям покоя, держать их непрерывно или в воздухе, или в крайнем нервном напряжении. И или у них инфаркт у всех будет, или на другую базу переберутся.

Купил в универсаме два пакета гнилой картошки — весной дело было, под пасху. Открыл в кухне форточку, а под форточкой на карнизе самые разухабистые ироды толкались, друг друга за шею таскали, друг друга по те-

мени тюкали. И вот я начал методом свободного падения бомбить их гнилой картошкой. Решил по часу в день их гонять, чтобы у них к моим окнам условный рефлекс отвращения выработался.

Тут потеплело, открыл балкон.— «весна, выставляется первая рама, и в комнату шум ворвался...» — выглядываю в угольную грязь и мокрое гуано балкона, думаю, что рано или поздно, а эти авгиевы конюшни мне придется мыть и чистить. Сперва, думаю, с голубями распрощаюсь, а то и резона никакого нет в Геракла превращаться — сразу опять загадят, гады! Со злобой настоящей, грубо думаю, потому что, действительно, не люблю голубей. Прославили их на весь мир, как космонавтов, а народ-то они темный. Про таких Томас Карлейль в палате лордов изрек: «Час велик, а достопочтенные джентльмены, я должен заявить, мелки». И вот я повторяю эту фразу голубям со злобой и решительной угрозой. И вдруг вижу в углу балкона за картонной коробкой из-под пылесоса, которую я пятый год выкинуть не соберусь, гнездо из прутиков, а в гнезде яичко. И раскис я, как снежная баба под весенним солнцем. И сам не заметил, что обратительным сюсюкающим голосом тетенькаю: «Тютенька моя, холосенькая моя...» и т. д. Ведь меня тошнит, когда я со стороны слышу такие сюсюканья, у меня зубы от таких тетеньканий болеть начинают, а сам? Ведь не мог же я успеть подумать, глядя на голубиное яичко, что это великое чудо природы, что это эстафета жизни, пришедшая ко мне на балкон из тьмы доисторической, от птеродактиля, что в яичке этом крутятся те самые атомы, которые крутились в летающих ящерах, и т. д. и т. п. Ничего я не мог успеть подумать. Просто зрительный образ яичка влетел сквозь хрусталик в темноту черепа, мозг скомандовал нервам, те — железé, железа выделила химию, химия создала эмоцию с положительным слюнявым знаком. И — всепрощение. Оставил голубку высиживать птенцов. Потом все недосуг было опять начать гонения. Теперь старушеницю вышибли из дома хроников, и она голубей не даст в обиду.

Вроде бы голуби уцелели случайно. Но когда погружаешься в омут современной науки, то понимаешь, что это не так.

Вот я гляжу на детишек и зверят в уголке молодняка

Нашего дрянного, несгораемого зоопарка. И ощущаю душевную размягченность, желание говорить с уменьшительными ласковыми окончаниями, мягким тоном, испытываю особого рода симпатию к молодым организмам. И вдруг вспоминаю, что головы ребенка, зайчонка, щенка и птенца обладают рядом общих черт (ключевых раздражителей для моего мозга), вызывающих с помощью обыкновенной химии родительские чувства. Эти черты — укороченное лицо, подчеркнуто выпуклый лоб, круглые глаза, пухлые щеки. И вот эти пухлые щечки без всякого ведома какой-то моей души являются включателями для выработки в моей крови соответствующего гормона родительских чувств.

А когда черты из круглых превратятся в удлиненные, твердые, резко очерченные, то есть в крутые скулы взрослого хулигана, то уже не будут вырабатывать во мне химии, которая возбуждает родительские чувства, а будут вырабатывать как раз другой гормон — агрессивности или страха, вернее оба этих гормона, которые будут бороться друг с другом в моей крови, и только тантвенная совесть решит вопрос: дам я в крутую скулу или дам тягу. . .

Главный конструктор атомных реакторов сидел в глубоком кожаном академическом кресле и при всем честном народе — нескольких миллионах телезрителей — ласкал внука. Так режиссер передачи приближал вершины науки к равнинам обыденности.

— Вот этому человечку через двадцать шесть лет предстоит войти в двухтысячный год, — говорил Доллежал, поглаживая ровный пробор ухаженного внука. — Что будет в те времена самым ценным? Самым ценным будет разум, интеллект. Знания будут храниться в машинах, а цениться будет интеллект!

Устами конструктора атомных реакторов хотелось мед пить.

Но, увы, он отставал от главной проблемы века.

Тысячелетиями мы верили в то, что рано или поздно Мудрость сможет — в идеале — научиться управлять человечеством. Теперь, незаметно для самих себя, мы усвоили другую формулу: Знание управляет человечеством. Знание абсолютно и бесповоротно взяло власть,

отодвинув интеллект, который, очевидно, не сдал экзамен на аттестат зрелости.

Разум был, конечно, определяющей силой, открывшей, например, атомную энергию. Разум натолкнулся на занятый факт природы, опознал и объяснил его, получил *знание*. Знание быстро оперилось, обрело самостоятельность, оторвалось от породившего его интеллекта и пошло метаться по миру в виде атомной бомбы. Мир в Мире, то есть отсутствие войны, определяется уже не самим Разумом, а наличием этой бомбы, страхом перед полным взаимным уничтожением. Правда, не следует забывать про оптимистов, которые называют ядерное оружие «бумажным тигром». Эти оптимисты углядели в нашей кинокомедии «Полосатый рейс» — там тигры вылезли из клеток и бегали на свободе по пароходу, пока судовая уборщица не загнала их обратно, — так вот, в «Полосатом рейсе» оптимисты углядели пародию на свою теорию «бумажного тигра». В результате я — один из авторов этой комедии — не имею права сойти с борта судна в КНР. Таким образом, я из своего опыта знаю, что для реализации страха перед ядерной войной в миролюбивую политику тоже нужен Разум, но это уже в какой-то степени подлаживание разума под существующую ситуацию, под диктатуру факта. И получается, что не сама мудрость, а факт — знание — управляет судьбой мира сегодня.

Факты — это информация. На каждом перекрестке слышишь: «Дайте мне информацию!», «Мне не хватает информации!», «Что делать с потоком информации?!». Почему-то не слышно: «Дайте мне мудрую мысль!», «Мне не хватает разума!», «Что делать с избытком мудрых мыслей?!»

Информация все более и более успешно заменяет нам разум. Дураки, имеющие информацию, дают сто очков вперед умным в любых делах. И это вдохновило дураков. Они уже ищут и эстетическую эмоцию не в художественном образе, а тоже в информации. Сегодня все чаще считается, что человечеству на нашей ступени развития вообще ничего не дано непосредственно. В каждое чувственное восприятие действительности и в каждую попытку создания образа действительности в нашем сознании вольно или невольно проникает теория.

Всем ясна необходимость знаний. И все чувствуют на всем разуме пути фактического знания. Все впитывают знания, и все мечтают выкинуть их из черепа в блок памяти ЭВМ.

Еще античные скептики умели обосновывать равносильность противоположных утверждений и выводили отсюда принцип полного воздержания от суждений.

Каждый думающий человек переживает смущение, повторяя логический круг античных скептиков, ибо не имеет права на скептицизм.

Скептицизм древних был реакцией на теоретические построения, созданные мыслью, не знавшей ограничений, налагаемых на умозрение фактическим знанием. У древних было мало научного знания, научных фактов. И было много мыслей — не меньше, нежели у нас сегодня.

Черт знает, куда заползла бы или залетела наша мысль, если бы ей не приходилось иметь дела с ограничениями фактического знания.

Но это не значит, что мысль любит ограничение. Мысль уважает знание, но вечно пытается обойти и объехать рогатку факта, воспарить беспочвенно. Это и дикаря и академика объединяет. Только академик в этот момент нарушает клятву «благородство обязывает», которую он сам себе дал. Академик знает истинные границы знания в его области науки. Для тех, кто не знает истинной границы знаний, существует контроль снаружи. Ведь за дураком, которого послали молиться богу, нужен глаз да глаз, а то он, бедняга, лоб расшибет. Дураку просто-напросто запрещают бить лбом в пол больше такого-то числа раз в день. Но кто знает, где проходит грань между дураком и мудрецом? И где больше мечтателей — среди дикарей или ученых? И кто из них целостней ощущает мир?

Как только я понял, что наука проникла всюду, как только я обнаружил научные доказательства со всех сторон моего духовного и физического быта, так эти доказательства, вместо того чтобы успокоиться и отстать от меня, набросились с еще большей неудержимостью.

Образное мышление, которым я с детства гордился, так как с детства цифры представлялись мне, например, яблоками или — в самом худшем случае — спичками, а

не абстрактными единицами, двойками, тройками, так вот образное мышление мое перестало быть образным.

И каждой фиброй своего существа я ощутил необходимость не бежать от науки, а наоборот. Я решил отдаться ей с такой полнотой, как если бы она была мужчина, а я женщина. Ведь всем известно, что если какая-нибудь нелюбимая женщина обратит на человека внимание и настойчиво начинает искать случая ему отдаться, и не просто отдаться, а навсегда вверить себя ему, то человек рано или поздно, но находит способ, случай, путь, лазейку, чтобы удрать. И, как говорится, удрать с концами. Вот этот вариант я и избираю. На ваших глазах я буду отдаваться науке в расчете на то, что она оттолкнет меня, выпустит обратно на свободу, в беспечность и цельность образного познания мира, где резвятся с лирами в руках ангелы, где рыбы носят шляпы, где люди любят друг друга только потому, что им нравится любить друг друга, и где цветы цветут не по законам межвидовой или внутривидовой борьбы, а просто потому, что им, цветам, нравится носить яркие и нежные одежды.

Слезы облегчают горести женщин и детей. Поэзия, описывающая страдание, утешает автора-поэта. Я, описывая свой страх перед рациональным, попытаюсь избавиться от него. И я знаю из науки, что отрицательные эмоции ослабнут, когда я доберусь до конца этого сочинения. И называется это «разряжением тягостного переживания». Народу и без всякой науки известно испокон века: «Поплачь — будет легче». Женщины живут дольше мужчин и потому, что легче плачут, быстрее разряжают отрицательное эмоциональное возбуждение через слезы, обмороки и истерики — «управляемые компоненты эмоций».

В благородной, прозрачной слезе, повисшей на реснице мадонны Рафаэля, есть не только соль, то есть натрий-хлор, но и избыток адреналина, от которого таким поэтическим путем избавляется организм мадонны.

ДЕРЖАСЬ ЗА ВОЗДУХ, ИЛИ ШОК ОТ ЭНТРОПИИ

Закреть один бесплодный НИИ куда труднее,
нежели открыть сто новых. . .

Академик Л. И. Седов

В современном новом ленинградском аэропорту я занял позицию, с которой хорошо просматривалась стойка регистрации рейса 3338, и открыл «Будущее науки» на странице 69. Эта страница привлекла внимание стихотворной цитатой.

Моисей Александрович Марков — физик, академик, академик-секретарь Отделения ядерной физики АН СССР, заведующий сектором Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР — в начале статьи «Макромикросимметрическая Вселенная» цитировал Валерия Брюсова:

Быть может эти электроны —
Миры, где пять материков,
Искусства, знания, войны, троны
И память сорока веков!
Еще быть может каждый атом —
Вселенная, где сто планет;
Там все, что здесь в объеме сжатом,
Но также то, чего здесь нет.

Дальше академик говорил, что Брюсов, как и Будда, прав, что в микрочастице действительно возможно наличие Вселенных, наличие макромиров. Причем действительность, реальность этого факта оказывается богаче поэтической фантазии Будды и Брюсова.

Дело шло к полночи. Зимний аэропорт не кипятит пассажиров, как это происходит курортным летом. Он тушит их на медленном огне. Слухи об отложенном рейсе не бьют фонтаном, они текут, как вода подо льдом. Отрава неуверенности гложет не всю толпу чохом, а индивидуальным вирусом клубится в каждом отдельном

пассажира, ибо между путниками есть довольно много пространства.

Я косил глазом на стойку регистрации, фиксировал пустынность шикарных весов, понурую неподвижность транспортера и всеми фибрами ожидал какой-нибудь каверзы. Пока современный пассажир не залезет в самолет, он беспрерывно ощущает в себе тугой фарш сомнений, как подготовленный к путешествию в духовку гусь ощущает в себе тяжесть антоновских яблок.

Но потом статья в «Будущем науки» оказалась настолько интересной, таинственно манящей за самые дальние пределы мыслимого мироздания, что я даже утратил ощущение возможной каверзы со стороны аэрофлота, то есть со стороны реалий ненаучной жизни.

Я читал, продираясь сквозь формулы и сурово-скупые выкладки, о том, что для наблюдателя вне нашего мира в любых его экспериментах наша Вселенная, со всеми Млечными Путиями, Альфами Ориона, планетами, космической пылью и вами, уважаемый читатель, представляется объектом микроскопически малой массы с микроскопически малыми размерами. Такой объект Марков называет «фридмоном». И вот, уважаемый читатель, вам рано или поздно придется поверить в то, что даже в одной клетке вашей перхоти вполне возможно предположить бесконечное число звездных систем, галактик, цивилизаций... И все это не миф, все это завтра войдет в учебник физики девятого класса. Ибо это не результат новой и экстравагантной гипотезы, а спокойный вывод из старой уже, с бородой, теории относительности и предопределений Фридмана.

Что же это, подумал я. Безначальная повторяемость макро- и микромиров... Опять приходим к бесконечности?

И по дурной привычке написал красной шариковой ручкой под заключительным абзацем статьи, что у попа была собака, что поп ее любил, но собака съела кусок мяса и поп...

— Почему вы здесь курите, молодой человек? — вернул меня в жизнь уверенный девичий голосок. А я и не заметил, что курю. Когда мешанина полусумасшедших мыслей опускается из черепа в сердце, закуриваешь сомнамбулически.

Передо мной стояли два дружинника и дружинница. Каждый из них был в три раза моложе меня.

— Я не молодой человек — раз. И почему здесь нельзя курить — два, если вокруг кубический километр воздушного пространства?

— Немедленно пройдите в туалет! — сказала девушка.

— Молодые люди, зачем мы тратим деньги на строительство таких громадных аэропортов? — зарычал я. — Чтобы люди здесь чувствовали себя свободно! Вам это понятно?

— Образованный! — поощрительно и зловеще произнес паренек в расклеванных брюках.

— Образованный, а на книжке пишет! — с глубоким осуждением высказалась девушка-дружинница.

— Господи! — взмолился я. — Вам-то какое дело, где я пишу?

— Образованные книжки не пачкают! — сказала девушка.

Я вполне созрел для небольшой истерики. И, вполне возможно, не улетел бы рейсом 3338, а изучал бы реалии жизни в участке, если бы...

— Интересно отметить, что этот субчик, который здесь дымит и портит книги, имеет кличку Сосуд Вздо, — раздался надо мной скрипучий голос.

Долгий Ящик, капитан-лейтенант запаса Желтинский! Свой брат, бывший офицер корабельной службы, заброшенный в большую науку на манер троянского коня, наша пятая колонна в среде физиков твердого тела! Вот и не верь в символические встречи и прочую мистику!

— Погаси сигарету, извинись перед товарищами, и пошли регистрироваться! — приказал Желтинский.

Как хорошо лежала на его плечах меховая шуба, как ослепительно белел среди пушистого меха лед воротничка рубашки, какая солидность лишенного комплекса неполноценности ученого!

Дружинники начали стусевываться, как порфиноносная вдова перед молодой царицей.

— Ты что? С ума сошел? — спросил я. — Что ты несешь? Чтобы я стал извиняться перед этими салагами?

— Молодые люди, не обращайтесь на моего друга вни-

мания. Позвольте, я извинюсь за него. Член-корреспондент Академии наук приносит вам извинения!.. Сосуд, отдай сигарету! — он взял у меня сигарету, и мы пошли регистрироваться. Причем Ящик сигарету никуда не бросил. Он докурил ее за меня — нагло, без всякого стеснения, на лобном месте, у стойки регистрации, в центре зала. И мегеры-регистраторши поздоровались с ним, как с приятно знакомым.

Оказывается, он часто летал на этой линии, потому что последние годы работал и в Новосибирске и в Ленинграде. И теперь возвращался в Сибирь из-под Луги, где навещал «зимнюю школу» физиков.

Когда я, медленно успокаиваясь, в третий раз повторил в адрес дружинников стереотипное: «Черт! Что хотят, то и делают!» — Ящик не выдержал и прочитал мне короткую нотацию.

— Интересно отметить, — заскрипел он, ведя меня за пуговицу к перронному контролю, — что этот вопль: «Что хотят, то и делают!» — мы слышим и издаем постоянно. Действительно, нахамит нам кассирша, и мы выпускаем этот вопль. А продавщица также воскликнет, если мы попросим книгу жалоб и напишем туда замечание. В простом этом вопле есть вечная жалоба на чужую свободу. Чужая свобода ужасно возмущает и раздражает нас. Вероятно, это потому, что из длинного исторического опыта мы вынесли бесспорное, абсолютное знание, что если где-нибудь увеличивается чья-то свобода, то это стесняет нашу. Но если чужая свобода и не влияет на нашу, ее наличие все равно действует на нас отвратительно. И мы с глубоким пафосом осуждения восклицаем: «Ну, посмотри на них! Что хотят, то и делают!» Но ведь идеал-то у всех один — именно и делать каждому то, что он хочет. И радоваться надо, что кому-то такое удается! Ты согласен?

Боже мой, какое удовольствие встретить живого ученого, когда совсем уже закопался в книгах! Какое счастье, что четверть века назад мы с ним вместе ловили пескарей тельняшкой в мелководье у форта Серая Лошадь! Ведь я-то знал, что под солидной внешностью и толстыми очками скрывается человек не комнатной биографии. И сами-то очки появились у Желтинского довольно романтическим образом. Еще на военном флоте, будучи штурманом, он подпалил глаза Солнцем при

помощи секстана. Он выводил какую-то квадратичную ошибку астрономических наблюдений. Сотни высот Солнца в районе экватора — тут и Галилей бы испортил себе глаза. Вообще-то глупый штрих биографии, но красивый. И еще: он мог бы согласиться на госпиталь где-нибудь на флагмане, но довел корабль до базы сам — опять глупо, но красиво.

— Давай наконец познакомимся. Как тебя звать по-человечески? — спросил я, когда мы оказались в самолете и заняли места друг подле друга. Последнее оказалось возможным, потому что Ящик преподнес стюардессе шоколадку.

— Леопольд. Леопольд Васильевич, — проскрипел Ящик, извлекая из кармана шахматную газетку «64». — Я уже информирован о том, что ты летишь во глубину сибирских руд, чтобы дать там нам представление. Подрабатываешь гастроллями? Где реквизит? Поездом отправил? . . . Слушай, Сосуд Вздо, ну а какого черта эти-то ребята играют только при огнях рампы, а? — Он ткнул пальцем в газетку. — Неужели Фишеру и Карпову не хочется сыграть между собой просто так, вечерком? По гамбургскому счету, без судей и прочей чепухи? Играть ради игры, а?

— Ты хорошо играешь?

— Средне, но люблю.

— А современную молодежь ты любишь? — спросил я.

Самолет был битком набит молодежью. В Сибирь летел какой-то заграничный танцевально-хоровой ансамбль. Вероятно, это были французы. Длинноволосые, расклеванные, расстегнутые, с дорожными сумками на длинных лямках, — нагловатые, как Фишер, и расчетливые, как Карпов.

— У меня дочь такая. Как же мне их не любить?

— Кто она по специальности?

— Математик. И способная, но в науку не пошла. Преподает в школе. А весь интерес знаешь куда? Никогда не догадаешься! Занимается литературной критикой. Статьи пишет. Разгромила Томаса Манна вместе с Генрихом.

— Печатается? Первый раз слышу о самодеятельном

литкритике. В писатели идут из самодеятельности, а критики фильтруются через учебные заведения.

— Нет! Кто ее печатать будет... Просто объелась строгой наукой на моем примере, тошнит ее от строгой науки...

Мы замолчали, пережидая форсажный гул турбин. «ТУ» укладывался на сибирский курс и на потребный угол кабрирования.

Было ноль часов двадцать пять минут по МСК.

Я сосал взлетную карамельку и, как всегда в эти моменты, вспоминал ночную странную даму-танатолога. Была она или приснилась? И вдруг я действительно испарюсь, излучусь, исчезну в момент смерти? Вдруг мне уготована судьба Амброза Бирса? Можете верить или не верить, но такие воспаленные мысли бродят в моей голове.

Гул стал монотонным, и свет вспыхнул на полный накал.

Надо было начинать потрошить попутчика, надо было использовать случай, чтобы подготовиться к беседам с учеными людьми в скором будущем. Но вопросы не возникали. Вероятно, потому, что их было слишком много, да и время было позднее — потягивало в сон.

— Ты в настроении немного пофилософствовать? — спросил я.

— Интересно отметить, что современные философы способны только облаивать чужие идеи. Будешь фрукт? — проскрипел Леопольд, доставая из портфеля апельсины. — На стойку им талантов уже не хватает. Они мне напоминают дурно обученных легавых. А тебя в философию тянет?

— По долгу службы тянет. Спасибо, апельсины я не ем. Они стали теперь слишком сладкие. Возможно, я буду задавать глупые вопросы, но мне надо тренироваться.

— Если ты спросишь, куда и почему разлетаются галактики, то я отвечу, что природа не терпит пустоты, — сказал Ящик, с удовольствием расковыривая дюймовую шкуру современного апельсина.

— Несколько вопросов из анкеты «Литературной газеты». Уважаемый Леопольд Васильевич, не наблюдает-

ся ли у части ученых определенного пренебрежения к литературе и искусству?

Реакция оказалась мгновенной:

— Каким дураком надо быть, чтобы задать такой вопрос, а? Если ученый пренебрегает литературой и искусством, то он уже не ученый, а кретин, чего быть не может. Любой ученый знает, что поэзия искусства и природы сохраняет в нас угасающий вкус к жизни, а без вкуса к жизни нет никакого творчества. Научные же сотрудники всех рангов кретинами быть могут, имеют на это право и, интересно отметить, широко этим правом пользуются. . . Надо точно различать научных сотрудников и ученых. Это главная сложность и тонкость при разговоре о людях сегодняшней науки.

— Сейчас я представляю широкую публику. Осознайте этот факт, уважаемый Леопольд Васильевич. И скажите, мешает ученым огромность интереса со стороны публики к ходу их работы и к ее результатам?

— Так же, как футболистам. Если зрители лезут на поле, швыряют в футболистов тухлые яйца или букеты роз, то это футболистам мешает. А если дисциплинированно орут с трибун из-за беговой дорожки, то помогает.

— Изучение природы, общение с истиной, стремление к ней способствуют очищению души ученого, укрепляют его моральную чистоту?

— Нет. Настоящий ученый не может быть дураком, но скользким дипломатом ради пользы дела ему рано или поздно сделаться приходится. А начав с дипломатии «ради пользы дела», он усваивает в плоть и кровь такие нравственные качества, которые опускают его весьма низко. Правда, такое случалось во все века не токмо с Галилеями, но и с вашим братом литератором или художником.

— До чего у тебя здоровый цвет лица! — сказал я.

Самолет качнуло. И качнуло его потому, что заграничная юность шарагой шаталась по проходу, чтобы пошебетать друг с другом, — им не сиделось на местах. Я так и представил себе пилота, который взлетел, лег на курс, успокоился, и вдруг — дифферент на корму! И в подтверждение моих представлений из трансляции раздался голос пилота. Он предупреждал пассажиров о том, что высадит в Омске тех, кто беспардонно шатается по машине. Французы, естественно, и ухом не повели.

— Отчаянно хочется построить этих волосатых в две шеренги и вклеить каждому по внеочередному дневальству в галйоне. И чтобы в галйон не подавалась вода, — сказал я.

— Стареешь! — заметил Ящик, шепелявя. Он жевал апельсин. — Они носят широкие брюки, а ты что носил? Ты загонял торпедки в казенное сукно, чтобы растянуть клеш. Или даже тратился на вставки и клинья для брюк.

— Я был моряком. Моряки от века носили клеш.

— Брось. Ты был таким же болваном. Ты отличался от этих ребят только честолюбием. Ты хотел и хочешь какой-нибудь власти. А им на это наплевать.

Я не стал отругиваться. Членкор вроде бы сел на своего излюбленного конька. Не следовало его прерывать.

— У меня есть приятель, французский физик Пьер Пиганьоль. Он задумался над проблемой распространения образованности. Уровень образованности во многих странах настолько повысился, что управлять этим обществом старыми методами затруднительно, а новых не придумали... Наблюдается стремление принимать большее участие в жизни общества. Это стремление возникает в мире, где в сферы производства и обслуживания вовлекается все больше людей и где, следовательно, возможности для личной ответственности будут менее широкими, чем многим хотелось бы. Если перевести эти интеллигентные слова Пьера на твой язык, то получится следующее: кроме капитана, на современном судне есть еще четыре штурмана. Если все они по объему знаний и опыта равны капитану, то каждый про себя думает: «А почему капитан не я?»

Вот этот вопрос и есть «стремление принимать большее участие в жизни общества». Но должность капитана одна, и «возможности для личной ответственности» остальных отсутствуют. Западные хиппи — это, например, как раз те люди, которые заранее признали себя проигравшими в соревновании за приобретение «возможности для личной ответственности». Они родились раньше тех золотых времен, когда каждый член общества будет попеременно то учащимся, то исполнителем, то руководителем, если такие времена не утопия. И хиппи на Западе весьма угодны власти имущим, и власть имущие строят им небоскребы в центре столиц. Вам же — писателям и поэтам — бог дал способность строить себе не-

боскребы в воображении. В воображении поэты могут даже повелевать мирами. Чем меньше «возможностей для личной ответственности» и чем больше хочется ее получить, тем значительно количество людей, стремящихся к поэтической власти, — на безрыбье и рак рыба. Для подтверждения этого наблюдения мне достаточно было перелистать справочник Союза писателей, когда я там искал тебя, и увидеть, сколько в нем поэтов.

— А зачем ты меня искал?

— Кобылкина помнишь? Альфонса?

— Конечно.

— В прошлом году встретил его, как тебя сегодня, случайно. Интересно отметить, в аэропорту Таллина. Пьяненького. Плохо пьяненького — застоино, окончательно. Спился Альфонс.

— Что он делал в Таллине?

— Прятался. От властей прятался, интересно отметить. Последнее время он на заводе простым работягой вкалывал. И пихнул охранника-вахтера с лестницы. Дело завели. И он в бега подался: Альфонс сохранил наивность пещерного человека. Помнишь историю с его гадами?

«Гадами» на курсантском языке назывались рабочие ботинки — тяжелые, свиной кожи, с ременными шнурками. Альфонс как-то красил борт учебного корабля и уронил в воду гад, который по лени не зашнуровал: продевать ременной шнурок в маленькую дырочку дело тягостное и требующее адского терпения. С досады и расстройства Альфонс стряхнул в волны и второй ботинок, правильно полагая, что один-единственный гад ему не пригодится в будущем. И в этот момент боцман принес ему первый — успел подхватить с кормы отпорным крюком. Альфонс взял в руки спасенный гад, посмотрел вслед безвозвратно утонувшему другому и заплакал настоящими слезами.

И мне захотелось плакать, когда Ящик выложил обычную историю про спившегося добряка. От тюрьмы Ящик Альфонса спас, но два года на стройках по приговору суда тот получил. К этому делу Желтинский хотел подключить меня, а я болтался где-то за экватором.

— Ты вспоминаешь о море? — спросил я члена-корреспондента.

— Да. Редко, но остро. Недавно прочитал, что Поль

Валери всю жизнь при встрече с морским офицером обнаруживал грусть в душе. Ну, при встрече с флотским офицером, как понимаешь, я такого не испытываю. Однако иногда кошки скребут...

Мы поехали «не туда». Нельзя было сползать на воспоминания, на разговор «за жизнь». Мне нужна была наука, черт бы ее побрал.

— Ты согласен с тем, что расшифровать человека — значит, в сущности, попытаться узнать, как образовывался мир и как он должен продолжать образовываться? — спросил я.

— Прости, но я не могу с этим согласиться, — сказал Ящик, спокойно засовывая апельсиновую корку в щель между креслом и бортом.

— Ну, а ты можешь согласиться с тем, что человек как «предмет познания» — это ключ ко всей науке о природе?

— Почему? Откуда тебе это известно? Может быть, мои полупроводники окажутся самым удачным ключом?

— Ты сложнее Солнца?

— Да. Вероятно. Но мотоцикл тоже сложнее.

Вот логика! И это ученый!

— Так ведь мотоцикл ты сам сделал, потому что ты вундеркинд Природы. И я не про конструкцию говорю, не про внешнюю, вернее, конструкцию. У твоих хромосомных молекул наивысшая степень упорядоченности среди известных нам ассоциаций атомов. Твоя хромосома дальше всего от хаоса. У нее минимальная энтропия, — я с неохотой произнес последнее слово, ибо не знал, где там ударение. Я это слово произнес вслух первый раз в жизни. Я только глазами его щупал. А здесь пришлось щупать языком. Первый блин девочки на уроке домоводства. И конечно, Ящик поправил ударение. И еще разъяснил, что энтропия математически выражается через логарифм меры молекулярной неупорядоченности.

Он не хотел меня злить — это я хорошо чувствовал. Но он и не хотел рассуждать о том, что вело за круг «ноблэс облизж». Не хотел не из умственной лени, не от неинтересной слабости собеседника и не от страха перед превосходством собеседника. Ему вселенски не думалось в направлении общих вопросов. Его больше интересовали девочки из ансамбля, которые курили сигареты

из длинных мундштуков. Он так и постреливал в их сторону сквозь свои толстые бинокли.

— Ты небось и мини осуждаешь? — проскрипел Ящик без всякой связи с каким-то моим очередным философским вопросом.

— Нет.

— Слава богу! В мини тоже нет ничего нового. Я помню военных девушек сорок пятого года. Зазор между юбкой из хаки и голенищем сапожек у этих военных девиц с сержантскими погонами был не на много меньше, нежели у этих красоток.

— Зазор нам казался большим по причине нашего возраста.

— Но ты не будешь утверждать, что девушки-сержанты ходили в юбках со шлейфом?

Я не стал этого утверждать. Я начал понимать, что природа очередной раз продемонстрировала высокую мудрость, переводя ученых и техников на все более узкие рельсы и клинья специализации. За пределами клина своих узких и глубоких знаний Ящик показывал куда большую широту интереса к самой жизни, нежели была у меня даже в молодые годы. Узкий клин знаний современного ученого превращается в обыкновенную лопату, плуг или топор крестьянина. Ученый работает формулами, пашет ими целину Природы, но, как и крестьянин за плугом, без напряжения воспринимает и ласку солнца и красоту пейзажа. Узкая специализация не так нужна самой науке, как защищает ученого от поглощения наукой в ущерб жизни. Но почему я должен поглощаться абстракциями, а он нет?

Вероятно, я начинал искренне раздражаться на Ящика, ибо ревновал к жизни, завидовал его интересу к девочкам из ансамбля, которые курили сигареты из длинных мундштуков. Мне на девочек наплевать было. Мне нужно было представить, как на них, и на меня, и на Ящика — на все наши человеческие организмы — сей секунд давит хаос мира; как поток хаоса — всяких там частиц, и полей, и волн — бомбардирует нашу кожу, пронизывает печенки, завихряется в темноте наших черепов, стремится растащить нас по камушку и по кирпичику; как все наши атомы и молекулы так и рвутся в свободный танец теплового движения, анархию Броунова движения, чтобы вернуться к своему началу начал, а мы их

из себя не отпускаем и сидим себе, например, в виде де-вушек с сигаретами в длинных мундштуках, потому что наши организмы умеют концентрировать на себя «поток порядка», способны «пить упорядоченность» из каждой подходящей среды, даже если, на первый взгляд, эта среда — полный хаос и белиберда.

— Недавно вышла книжка Шредингера о физической природе жизни. Ну, там о хромосомах, что они сопротивляются тепловому движению со стойкостью аperiодических кристаллов. Я это запомнил, потому что Шредингер ссылается на Дельбрюка, а Дельбрюка я ассоциировал с Мальбруком... Ты ее читал? — спросил я Ящика.

— Шредингер путает. Это наш Кольцов первый заметил, что хромосомной молекулой можно было бы резать стекло, как кристаллом алмаза, а не Мальбрук. Интересно отметить, что я читал «Что такое жизнь» Шредингера еще году в сорок седьмом. Первая книга, украденная мною в государственной библиотеке. Помню даже посвящение, кажется, папе и маме, да? Все знаменитые физики были образцовыми детишками, уважали родителей. И мне давно пора написать маме письмо. И мне давно пора становиться знаменитым физиком...

И Ящик потащил бумагу из портфеля. Он действительно собрался писать письмо маме на высоте девяти тысяч метров в два ночи по местному времени. Членкор любыми средствами хотел забаррикадироваться от разговора на общенаучные темы.

— Прекрати! — завопил я. — Меня тошнит от твоей рациональности! Ты совершенно западный мужчина! Недаром у тебя такое идиотское имя: Леопольд! Только западные люди умеют разделять свою жизнь на отдельные, поочередные стремления, то есть подменяют рассудком целостный дух...

— ...Русак-восточник же мыслит, — продолжил меня Желтинский, — исходя из центра своего «я». Русак-восточник считает первейшей нравственной обязанностью содержать все духовные силы в этом одном центре. Совпадает ли духовный центр славянина с центром объема его оболочки или с центром массы, еще окончательно не выяснено. Во всяком случае, чистокровный славянин гоняется разом за тремя зайцами — как минимум. Потому-то никому никогда не бывает известно, куда заведет

его концентрированный дух. Зайцы, за которыми гонятся славянин, обычно теряются в догадках и вечно нервничают. Отчего любой заяц, которого славянин все-таки поймает, оказывается издерганным, тощим, истеричным и грубо славянину хамит... Что тебе от меня надо? Я же вижу, что тебе надо что-то выяснить, надо поймать одного зайца, а ты гоняешься за десятком. Конкретно спрашивай. Например, как обстоит у ученых Сибири с мясом и свежими овощами?

— Конкретно. Шарден тебе попал в руки? Его «Феномен человека»?

Ящик задумался, и кожа над его правым глазом задергалась, и он даже приложил руку ко лбу, вспоминая. Наконец спросил:

— Это поэт? Что-то из искусства?

До чего я спесив! Если узнаю, что собеседник не читал книги, которая в данный период сильно переживает-ся мною, то собеседник немедленно вызывает снисходительно-разочарованное отношение. И говорить с ним делается как-то и не о чем, хотя он прочитал тысячу других прекрасных книг, которых ты и не видел.

И при всем уважении к члену-корреспонденту Леопольду Васильевичу Желтинскому я испытал такое разочарование, когда убедился в том, что он не читал Тейяра де Шардена и художника Жана-Симеона Шардена назвал поэтом.

Если первую в своей жизни книгу Ящик стащил из библиотеки и автором ее был физик, то я первую свою книгу купил на курсантскую полчку и авторами ее были художники. Книга дорогая — тридцать рублей, «Мастера искусства об искусстве», том второй, «От Шардена до Курбе». И сегодня, когда взгляд падает на эту книгу, я восхищаюсь собой. Надо же, а? Не прокутил курсантскую тридцатку! Книжку купил! А ведь как прокутить хотелось. И сколько раз потом брал я «От Шардена до Курбе» в минуты жизни трудные, чтобы загнать, но опускались руки...

«Товарищи пассажиры! Наш самолет летит на высоте восемь тысяч метров. За бортом минус сорок девять градусов. Проходим город Горький...»

— Нет, я сейчас не о художнике Шардене, — сказал я, сдерживая разочарование, — я о иезуите, антропологе и природном философе. Он удивительно доходчиво объ-

яснил мне, почему клетка делится. Она начинает делиться на две, когда степень сложности ее устройства достигает максимума в пределах ее объема. Удивительно просто он это мне объяснил. Ведь и про человека мы говорим: «поделился» знаниями, опытом, ощущениями. И человеку так же необходимо делиться, как клетке. Когда знания в человеке накапливаются и достигают максимальной для него сложности, он начинает отделяться от них, он отдает их лошади, если он извозчик, или стенам камеры, если он узник, или тебе, как делаю это я. Я вот открыл совпадение в сути глагола «делиться» при разных его употреблении. Может, я сейчас Америку открыл. А может, эту Америку до меня уже сто Эйриков Рыжих открыли. Ладно. Бог с ним, с Шарденом. Что ты можешь сказать о теории Маркова?

— Какого Маркова?

— Да это твой начальник! Академик-секретарь Отделения ядерной физики АН СССР! Макро-микросимметрическая вселенная... галактики внутри элементарных частиц? Вот у меня его статья! — и я сунул Ящику «Будущее науки», открыв на 69-й странице.

Ящик поправил очки и с невозмутимым видом прочитал вслух первую фразу: «Человека всегда интересовал мир «в огромном целом» — Вселенная». И проскрипел упрямо:

— Не все, что вызывает интерес, является объектом науки. Телепатия тоже вызывает интерес, но никакого отношения к науке не имеет.

Я не стал спорить. Спорить с Леопольдом Желтинским теперь должен был Моисей Марков. Отчаявшись вызвать Ящика на серьезный разговор, я вдруг заснул, потому что очень легко сплю в самолете.

Занятно, что в море, в длительном рейсе почти никогда не снятся морские сны. Зато чем дольше живешь на суше, тем чаще снятся морские. Самый неприятный, регулярно повторяющийся: я в рубке огромного парохода, впереди берег, свалка мертвых судов — корабельное кладбище, я уменьшаю ход, но не стопорю машины, не отработываю задним; на малом приближаюсь к грудам ржавого металла, раздвигаю его форштевнем, как раздвигаешь баржи в лондонских доках или бревна в Северной Двине; веду пароход посуху, как по мокрому; врываюсь в городскую улицу (обычно незнакомую, но

один раз я прямо по Невскому проплыл), дома вплотную к бортам, во мне удивление и ощущение непоправимой аварии, но без страха за ее последствия, то есть удивление и любопытство сильнее страха — так, вероятно, у космонавтов на Луне.

И в самолете в восьми тысячах метров над планетой мне приснился морской сон: опять я проплыл посуху, как по океанским волнам. А когда открыл глаза, Леопольд ел очередной апельсин и дочитывал последние строчки «Макро-микросимметрической Вселенной».

— Ну, как статья? — спросил я.

Ящик хмыкнул, всем своим хмыком показывая, что не соглашаться с авторитетом академика Маркова ему трудно, но истина ему все равно дороже.

— Я против подобных публикаций, — сказал Леопольд Васильевич. — Интересно отметить, что это область фантазий. Цивилизации внутри микрочастиц — фу!

— Ты когда-нибудь слышал о том, что наука, даже самая точная, развивается не только благодаря новым теориям и фактам, но и благодаря домыслам, мечтаниям, надеждам ученых? Конечно, развитие оправдывает лишь часть положительных надежд и порождает массу неожиданных отрицательных результатов; конечно, множество великолепных домыслов оказываются иллюзией и потому подобны мифу. И только в исторической перспективе, оглядываясь, мы начинаем твердо знать, что в науке было иллюзией, а что великой истиной, но сегодня...

— Сегодня наука это то, что можно измерить, — сказал Леопольд Васильевич Желтинский с апломбом нобелевского лауреата. — Вот реликтовое излучение — это интересно и достоверно. Слышал про реликтовое излучение?

— Да.

— А кто здесь про попа написал?

— Я.

— Значит, и сам к галактикам внутри электронов с иронией относишься?

— Нет. Без иронии. А стишок про попа и его собаку — один из самых великих стихов нашей цивилизации. В нем соединяется бесконечность с юмором, то есть Вселенная, умноженная на феномен человека. Человек не придумал ничего выше юмора. Только юмор сможет по-

мочь нам, когда совесть начнут закладывать в ЭВМ. Вот здесь, в этом же сборнике, есть еще статейка одного немца. Он уже все приготовил, чтобы заложить совесть в машину и перевести ее на язык математики. Почитай.

— Не буду! Совесть в ЭВМ! Да ты понимаешь, что говоришь?! — вдруг окрысился Леопольд Васильевич и еще при этом посмотрел на меня волком.

— А что-нибудь о поведении животных ты читал? — спросил я. — Чрезвычайно современная и жуткая штука. Вот ты, прости, сейчас окрысился и посмотрел волком. И это значит, что в тебе еще сидят и крыса и волк. И здесь нет ничего оскорбительного. А совесть нашу — хотите или нет — засунут в машину и обсчитают еще точнее температуры тела-источника реликтового излучения.

Я точно заметил, что «совесть в ЭВМ» производит на собеседника сильное впечатление, он от этой темы нормально зверел. И мне это доставляло удовольствие. Ну почему я должен фильтровать сквозь свое сознание всю мудрость и чепуху века, почему я должен ночей не спать, чтобы удержать хоть в каком-нибудь подобии цельности миросозерцание; чтобы связать крысу с человеком и не разлюбить при этом человека; почему я один должен содрогаться перед близкой возможностью создания эталона совести, который нужен обществу в данный момент его развития в тактических, так сказать, целях? Почему я мучаюсь, а ученый человек при этом посмеивается над всеми этими вопросами, ибо знать о них не хочет? Я уже тоже начинал от нашего бестолкового разговора нормально беситься, хотя в обозримом прошлом человек и не проходил в своей эволюции стадии беса. А может, проходил? Может, в одном из моих фридмонов бес сидит и облизывается, черт бы его побрал!

Ящик ел очередной апельсин с таким мрачным видом, будто его тоже раздирали противоречия. Потом сказал:

— Ненавижу все, что пишется не для узких специалистов. Но про совесть прочту. Давай!

Я открыл «Будущее науки» на 172-й странице, на статье «Этометрия и модель совести».

Но свет притух — самолет шел на посадку в Омске.

Мороз там оказался антарктический. Ночные прожектора светили сквозь фиолетовую неподвижность застывшего воздуха. От одного только зрелища мурашки драли по коже. И я объяснил Ящику, что наша «гусиная кожа»

есть атавистическое наследие тех добрых времен, когда мы были сплошь покрыты перьями или волосами и эти перья или волосы в момент опасности становились дыбом, как это и сейчас бывает у птиц и животных, отчего они выглядят больше, сильнее и страшнее и сами начинают пугать то, что только что напугало их. У нас перья и сплошная шерсть отсутствуют, но пупырышки — это те гнезда, из которых когда-то перья или волоски торчали. Микроскопические мышцы в гнездышках от страха сокращаются, как они сокращаются и от холода, ибо стоящая дыбом шерсть имеет в себе большую воздушную прослойку, нежели слежавшаяся шерсть, и лучше защищает организм от охлаждения.

— Интересно отметить, — проскрипел Ящик, когда мы выпили в аэровокзале Омска по бутылке теплого лимонада, — что устроители научного центра в Сибири учли все, кроме сибирских морозов. В сорок градусов невозможно никуда, кроме как на работу, выйти. А мой младший наследник сразу простыл, теперь мочится под себя, радикулит и прочее. . .

— Подожди ты с этой ерундой, — сказал я. — Как ты думаешь, растет или уменьшается энтропия Земли, если считать планету замкнутой системой?

Он навел мне прямо в лоб толстостекляе бинокли и процедил:

— Или ты меня разыгрываешь, или ты обыкновенный псих. Я тебе о своем горе, о сыне, который под себя мочится, а ты? Я тебе про Альфонса, а ты и координаты его не записал! — Он увидел, вероятно, растерянность на моей физиономии и пожалел меня, потому что был добрым человеком. — Господи! С такой настойчивостью у нас в Академгородке задавали дурацкие вопросы о расовом неравенстве одной гидше-секс-бомбе с американской выставки туристического барахла. Ее пытали и пытали про негров и индейцев и довели до точки. Вот пребывает она уже в точечном состоянии, эта сверх-секс-бомбочка, а ей еще вопросик: «Скажите, девушка, а вы сами чистая американка?» Она и брякни: «Да. Я сегодня уже мылась в душе!» Отстанешь ты или нет?

В ответ на эту тираду я хотел было заняться издевательским самобичеванием, но удержался.

Издевательство над самим собой есть один из видов самоутверждения. Любое самоутверждение раздражает окружающих. Так окружающие устроены. Потому раздражает и самоиздевательство. Иногда даже больше, нежели похвальба и самореклама и дилетантские вопросы. Издевательство над самим собой опасно еще и тем, что можешь в ненарок забыть о самоуважении вообще. Но люди, потерявшие способность или умение уважать себя — например, мужчины утром в очереди за пивом, — легко впадают в панибратство. Панибратства же не любит ни один просвещенный читатель на свете. Я уж не говорю о зубоскальстве, которое есть, как это давно всем известно, порок побежденных, а не признак здорового и мощного духа. Что же бедному современному писателю делать?

По мировому книжному рынку катится волна автобиографий, украшенная пеной дневников и мемуаров. Ветер века тянет в дымоход исповедальности, в субъективизм и самообнажение. Молодые бездельники обнажаются уже и натуральным образом на улицах Лондона и Парижа. Уже и специальное слово для них появилось — «стрикеры». Субъективность и субъективизм объясняются реакцией на онаучивание современной жизни. «Чем больше технократы во всех областях будут навязывать якобы объективные ценности, тем субъективнее будет литература» (Петер Херлинг, «Акценте»).

Они, они — технократы — виноваты в моей сумбурной субъективности, в потере мною цельности, если, конечно, она когда-то была.

Это у них, технократов, есть мнение, что необнаружение до сих пор сигналов других цивилизаций свидетельствует о неизбежности гибели любого эволюционного процесса, любой жизни во Вселенной.

Но взгляните на одинокую волчью звезду над океаном.

Разве о смерти она?

НОВОЕ О СОВЕСТИ, ИЛИ ШОК ОТ ЭТОМЕТРИИ

У республиканца иная совесть, чем у роялиста, у имущего — иная, чем у неимущего, у мыслящего — иная, чем у того, кто неспособен мыслить.

Карл Маркс

В этой замечательной цитате меня больше всего интересует сейчас заключительное предложение, где указывается на то, что совести мыслящего человека и неспособного мыслить существенно различаются.

Теперь посмотрим еще одну цитату:

«В своем поведении человек руководствуется в значительной степени совестью, этим, присущим только ему интереснейшим механизмом. И, конечно, никогда не будет создан автомат, у которого была бы совесть. А впрочем, нельзя ли с помощью автомата моделировать хотя бы определенные стороны человеческой совести? В принципе можно.

Почему проблема эта не могла быть решена до сих пор? Адекватное математическое моделирование любых аспектов совести предполагает научное объяснение морали, которое стало возможным благодаря развитию марксистско-ленинской этики. Теперь основные области этой дисциплины должны быть математизированы. Этот закономерный процесс тормозится неосведомленностью многих специалистов в области общественных наук относительно математизации их дисциплины, включая этику. Однако необходимость подведения научной базы под управление общественными процессами и вытекающее отсюда требование широкого применения автоматов рано или поздно преодолеют эти предубеждения.

Математизация общественных наук, как это уже, например, делается в экономике, явится началом нового этапа, имеющего величайшее значение для прогресса науки. Большие перспективы, открывающиеся благодаря математике, для таких дисциплин, как этика, юриспру-

денция или эстетика, наметились в связи с формированием этометрии — измерительной теории этики. Она занимается математическим моделированием моральных структур, включая такие структуры, как совесть.

Моделирование совести основывается на том, что она обладает функцией регулятора, который настраивает уровень поведения индивидуума (реальная величина) на уровень поведения, требуемого обществом (заданная величина). Говоря языком кибернетики, совесть сопоставляет значения заданной и реальной величин. До тех пор, пока существует определенное равновесие этих величин, совесть выполняет «пассивную» функцию. В обиходе это состояние называют «спокойной совестью». Однако как только это равновесие нарушается, то есть изменяется значение разности между заданной и реальной величинами, мобилизуется «активная» функция совести: появляются «угрызения совести», которые затем, по достижении равновесия, исчезают.

При моделировании совести необходимо иметь в виду, что некоторые люди обладают чувством повышенной совести, в то время как у других она практически отсутствует. В переводе на язык этометрии это означает, что совесть может реагировать на разность между заданной и реальной величинами по-разному. Люди с чувствительной совестью реагируют на весьма незначительные изменения разности, в то время как для людей со слабо развитой совестью эта разность может быть относительно большой. Поэтому величина разности — основа дифференцированного моделирования различных видов совести или совести с различными оценками качества. Оценка качества совести равна наименьшему значению разности, на которое начинает реагировать совесть...» и т. д. и т. п.

Все это пишет профессор Франц Лезер — Берлинский университет имени Гумбольдта. Известно, что если научная идея попадает в мозг человека, то остановить ее никакими митингами, законами и милицией невозможно. Тем более остановить немца. От немецкой идеи машинизировать проблему человеческой совести теперь не спрячешься даже в бомбоубежище.

Во времена Пушкина про науку говорили торжественным шепотом, употребляя слова «храм», «святилище». Разве сегодня мы употребляем такие выражения?

Кажется, вопрос совместимости гения и злодейства уже решен положительно. Наука холодными, рациональными пальцами лезет в человеческую душу в полном смысле этого слова. Онаучивание касается всех областей жизни, включая нравственные и художественные. Технократ за эмоцией видит только химию, за совестью — ЭВМ, за эстетикой — формулу.

Мы привыкли к положительному значению слова «рациональное предложение» и забыли смысл самого «рационализма». А давайте тогда вспомним, что он значит. Философское значение: «Идеалистическое направление, отрывающее мышление от чувственного восприятия». Обычное, «книжное» значение: «Рассудочное отношение к жизни». У Даля: «Рационалист — умник, разумник, рассудочный человек, верующий только в свой разум и ничего больше не признающий». Симпатичный парень, правда? И тех и других рационалистов Ленин прихлопнул одной фразой, заметив, что не может быть человеческого искания истины без человеческой эмоции.

Никак не протестуя против научного мышления, художники не могут не считать, что такие действия, как обмен неопределимых духовных ценностей на реальные выгоды момента, — это скрытая, внешне очень соблазнительная, но хищническая форма использования духовного наследия.

Различать умную душу от умной головы способен далеко не каждый. Различать это с каждым годом делается все труднее даже тем, кто хочет сознательно сохранить в себе способность к такому разделению.

Я знаю одного большого поэта, который считает, что наша классическая литература делится на литературу чести и литературу совести. Представьте себе, что какой-нибудь неробкого десятка хам — талантливый литератор — плеснул рюмку водки в лицо Лермонтову. Дальнейший ход событий всем абсолютно ясен. Неизбежна пуля и чья-то смерть. Теперь представьте Достоевского. Как ходит он, оскорбленный, всю ночь и как корчится его душа. Не страх поединка и не страх смерти в его душе. «А ведь ты заслужил, милгосударь, заслужил, голубчик, ничтожество ты, и рука, оскорбляющая тебя, не хама рука, а Господа! Следуй примеру Его и поцелуй руку оскорбителя! И благодари оскорбителя, ибо он осенил мукой совесть твою...» И на глазах всего общества

Федор Михайлович вполне способен был бы пойти к оскорбителю, преклонить колени и поцеловать его руку, ибо свершить все это неизмеримо мучительнее и ужаснее было бы, нежели пнуть друг в друга. . .

Можно приводить бесконечное количество нюансов темы чести и темы совести в русской литературе, но бесспорно ясно одно — следить за законом чести всегда проще, ибо он всегда изображен с графической четкостью на скрижалях каждого данного общества в данный период, нежели следить за частицей среди Броунова движения человеческих совестей.

Может быть, немецкий товарищ спутал честь с совестью? Если бы в его статье везде заменить «совесть» на «честь», то я ровным счетом ничего бы против и не имел.

Чем выше организовано существо, тем более выражена в нем индивидуальность и тем неповторимее его совесть. Ведь слишком сознавать — это болезнь.

Нашу литературу чести в мире уважают, классиков ее переводят и изучают. Но не она потрясла мир. Мир и до сих пор вздрагивает от нашей литературы совести. От нашей способности обыкновенными, какими-то канцелярскими даже словами, как в «Смерти Ивана Ильича», объяснить такие тайны частицы в хаосе Броунова движения, что никакой тайны-то там и не остается, черт возьми! Нечего там черту взять. Он честь любит. Честь ищет, но недалеко ведет, хотя блестит ярко. Совесть тусклая, искушать она не способна, она тихо живет.

В «ЗОЛОТОЙ ДОЛИНЕ»

Я пожалел однокашника и не стал знакомить его с проблемами машинизации его совести, ибо мне стало совестно. Если человек желает заниматься только фактами, а не окружающей факты средой, то следует его оставить в покое.

У наших больших ученых чрезвычайно редки не только книги, но и статьи философического характера. Хочется шапку снять пред волей и самодисциплиной Ландау или Понтекорво. Разрешая себе интуицию внутри физики, они не позволяют себе интуитивных философских догадок или обобщений. Наши большие физики предпочитают умирать молча, унося в могилу иррациональные озарения. Так им покойнее. Их примеру следовал и Леопольд Васильевич.

Остаток полета проходил во все более и более оптимистическом духе. Мы летели навстречу утру.

— Перестань волноваться за будущее человечества, — скрипел Ящик. — Будущее человечества у меня лично не вызывает никакого беспокойства. Ну, взгляни назад ты, который беспокоится! Вот бронзовый век. Человеку понадобилась для прогресса бронза. Пожалуйста — нашлась бронза! Нужны были олени — пожалуйста, сколько угодно! Нужны были мамонты — навалом. Даже и не съели их всех. До нашей поры валяется по всей Арктике этих мамонтов что собак нерезаных. Железо потребовалось — до фени этого железа. Потом уголь подвернулся, потом торф. Наконец жажнули атомную. Недостаточно испугались — могли Третью мировую начать. Трах-бах, пожалуйста: ядерный синтез, водород-

ная бомбочка. Даже самый последний дурак, кретин, болван и сволочь — и тот вздрогнул. В мире теперь живем. Любить друг друга начинаем через необратимую необходимость сосуществования. Уголь и торф кончаются. Оказывается, в океане дейтерия на миллион лет. Шнур из плазмы крутим уже на полный ход. Скоро уже плазму эту в каждый мотоцикл засунуть сможем. Летай на мотоцикле до Луны и обратно в персональном порядке. Так, деторождение упало. Мужчины от научных интересов стали интерес к женщинам терять. Пожалуйста — женщины мини изобрели. Опять с деторождением дело на лад пошло. . . Так и живем. Если экстраполировать все случайности, которые оказывались и оказываются под рукой человечества в каждый нужный момент, то с абсолютной точностью можно предсказать, что они, эти удивительные сюрпризы-совпадения, будут и дальше одарять нас благами. . .

Ящик досказывал мне свою песню торжествующей человеческой удачи уже на новосибирской земле. Он закончил ровно за минуту до того, как два встречающие его товарища, угнетенные и понурые, сообщили Леопольду Васильевичу, что его ближайший сотрудник накануне покончил жизнь самоубийством.

Ящику стало не до меня, и мы расстались.

Гостиница Академгородка находится на углу Морского проспекта и улицы Золото долинной. Называется она «Золотая долина».

В номере жарко дышало отопление, занавеска у окна трепыхалась от восходящего воздуха. За стеклом был сибирский мороз и зимний лес, прорезанный по самой середине проспектом-шоссе. Черные, четкие фигурки людей двигались среди снежной белизны у подножий сосен и берез. И каждая фигурка была ученой, каждая отражала и аккумулялировала в себе весь мир неизвестных мне знаний.

Я смотрел из окна номера на четвертом этаже, и ощущение у меня было, что я приплыл на корабле в порт, где раньше не был, и отчужденно было мне, странно по-морскому. «Странно по-морскому» — это когда все всем вокруг привычно, а тебе нет, потому что ты долго был среди водных пустырей. А ведь все старое, насиженное,

обжитое хорошо тем, что легче удовлетворяет усталый ум. Насиженное всякий раз воспроизводится в тебе с такой легкостью, что как бы само собой, помимо всякого содействия со стороны воображения перемещается следом за человеком, куда бы ни кинула его судьба. Приблизительно так ядовитничал губернатор Салтыков по поводу сибирских путешествий. При этом он обнаруживал в путешествующем атрофию мыслительных способностей, вместе с которыми исчезает не только пытливость, но и самое простое любопытство. Однако кто из нас в таком признается?

Я спустился в ресторан и машинально определил уровень цивилизованности пункта пребывания по наличию в ресторане пива и «Боржомн».

И то и другое было. И было не из-под стола и не из-под прилавка, а открыто и в любом количестве. И жидкость наливали в стаканы тонкого стекла и аптекарской чистоты. И скатерть под стаканом была чистая. И даже стояла горчица, перец и соль в соответствующих устройствах. Учитывая долготу географического пункта, за уровень цивилизованности следовало ставить пятерку.

Пьяных не было.

В тихом уюте мужчина пел из музавтомата типа «Фоница» песню о моем городе, стоящем на невском берегу и ни разу не отданном врагу.

Песню слушали цветы в милых горшочках, и среди них большой кактус, похожий на сардинский.

Я ел холодного поросенка, запивал «Боржомн» и думал о прогрессе.

В стеклянной стене отражался бар, а сквозь красочное отражение синел и лиловел вечеряющий зимний лес — густые сосны без подлеска.

Подсел молодой человек. Он оказался инженером с Волги. Сюда прилетел на консультацию с учеными — гидродинамиками. Насколько я понял, волжане работают над заменой гребного вала. Дело всё новое, трудностей масса. И потому пришлось ехать к ученым-гидродинамикам.

Наглядность связи большой науки с жизнью на понятном примере из судостроения радовала.

Молодой человек рассказал еще о тревогах речных задумчивых рыболовов. Их пугают суперсовременные суда. Когда над мелким лиманом или даже над твер-

дым берегом вдруг возникает и надвигается на тихого рыболова гудящая машина, то кажется самолетом, идущим на вынужденную, и сильно пугает и окуней и рыболовов.

Бесшумное скольжение речных корабликов между вечерней тишиной и отражениями берегов... шлепанье босых бурлацких ступней по небу прибрежного песка, провис бечевы, сон барки... и вдруг: «Сарынь, на кичку!»

«Сарынь» на воровском языке была голь, бурлацкая темная голь. А «кичка» — нос судна, нос барки. В корме барки жил хозяин, там в кубышке и монеты хранились. Удалые разбойники орали бурлакам приказ уйти в нос, отодвинуться от жирного хозяина, чтобы не оказаться замешанным в черное дело и чтобы в ненарок какой верный холуй не оказал жирному помощи.

«Сарынь, на кичку!..»

Молодой собеседник, как выяснилось, о таком клике никогда не слышал.

Мы говорили о насадках, поворотливости речных судов. И я посоветовал молодому инженеру связаться не только с учеными-гидродинамиками, но и с исчезающей мудростью ствольной артиллерии. В пушках давно уже применяли веретенное масло в тормозах отката. Там огромные давления гасятся веретенкой, найденной для этой цели эмпирическим путем.

Военную службу молодой человек не проходил, тормоз отката и принцип его работы оказался для него марсианским открытием. И эта простая штука, кажется, рухнула на подготовленную почву. Какие-то идеи засверкали в его мозгу, он схватился за записную книжку и карандаш.

Потом инженер признался мне в мистическом страхе перед учеными, в своей робости перед ними и скованности. Он беседовал с академиком тридцати трех лет, который был в ковбойке, — последнее особенно поразило инженера.

Вот так, очень даже хорошо, мы поговорили и расстались, как расстаются все командировочные — легко и без обмена адресами.

Потом я несколько раз звонил Ящику, но никто не отвечал. Потом записал самолетные разговоры, потом читал «Будущее науки».

Вечер в гостинице всегда длинный вечер, а когда один-единственный знакомый исчез по неприятному делу, то вечер делается не только длинным, но и рыхлым.

Около двадцати одного я вышел прогуляться.

Народу на улицах уже почти не было. Был мороз, и горела над лесом одинокая волчья звезда. Воздух звенел в легких, а снег стонал под ботинками.

Свет фонарей среди черного леса и черно-синих небес был особенно желтым. И в этом свете я рассматривал афиши на рекламных щитах, щедро украшающих проспект с родным названием Морской.

Проспект упирается в Обское море.

На афишах мелькали фамилии московских и ленинградских артистических знаменитостей.

Я дошел до конца, вернее, начала проспекта, хотя с каждым шагом притяжение гостиницы увеличивалось. Мое левое колено плохо ведет себя на морозе, когда он больше двадцати градусов. Мое левое колено хранит в себе память о юношеских приключениях хозяина в ледяных зыбях Баренцева моря. И напоминает о них, неожиданно и безбольно подламываясь на ровном месте.

У Дома ученых подъезды были еще освещены. И я смог прочитать объявление о своем предстоящем выступлении, где фамилия моя — странное дело — оказалась написанной правильно. Зато в списке творений ни одного моего не оказалось. Например, журнальная публикация «210 суток на океанской орбите» называлась книгой «210 суток на Земной орбите».

Безо всякой обиды я тихо подумал о том, что содержание книг тоже кое-что значит в судьбе названия. Например, я еще не замечал, чтобы «Войну и мир» кто-нибудь назвал «Мир и война».

Хотя и сами названия мы придумывать не умеем. Однажды девушка-читательница сказала, что современные сочинители дают книгам какие-то «залипухи», а не названия. И с тех пор меня преследует желание назвать книгу просто-напросто «Залипуха». Но не хватает смелости. И, шагая сквозь мороз назад к гостинице, я пинал свою смелость тонким итальянским ботинком. Ведь какое чудесное было еще у меня название: «Ранние воспоминания нервного человека», а стоило журнальному ре-

дактору намекнуть, что с таким названием влезть в план сложно, а вылететь легко, как я заменил его на «Орбиту». И вот результат...

За ужином удалось познакомиться с двумя нейрофизиологами, специалистами в области теории функциональных систем. Они были здесь по делам, связанным с юбилеем Академии, — наступало двухсотпятидесятилетие штаба отечественных наук.

Я навел их на разговор о самоубийствах среди художественных натур и среди ученых. Эта тема уперлась в проблему эмоций.

И половину ночи пришлось просидеть потом над бумагой, чтобы сравнить основные положения из статьи «Эмоции и здоровье» в «Будущем науки» (авторы: академик П. К. Анохин и доктор медицинских наук К. В. Судаков) с живыми высказываниями специалистов.

Совершая эту работу, я отдавал себе отчет в том, что подменяю краснбайством пронизательность и рискую вызвать злобное недовольство просвещенного читателя. Но ничто так не стимулирует размышления собеседника, ничто так не бесит в нем быка — интеллект, как красная тряпка чужого невежества. Я готов окрасить тряпку своей кровью. Пускай она хлещет из моей прокушенной оппонентом вены или даже из самой аорты. Только бы стимулировать ваши размышления!

НОВОЕ ОБ ЭМОЦИЯХ, ИЛИ ШОК ОТ ПСИХОФАРМАКОЛОГИИ

Искали тайну долгожительства в простокваше. Изучали рацион и атмосферу горножителей. А дело оказалось в нервах.

Если раньше стенокардией и инфарктом миокарда страдали преимущественно только люди пожилого возраста, то теперь они все чаще поражают человека в самом расцвете творческих сил. Ишемическая болезнь свирепствует особенно в тех странах, где достигнута наиболее высокая степень технизации.

По характеру подъема кривая повышения заболеваемости ишемической болезнью сердца приближается к кривой роста количества информации — удваивается каждые 10—15 лет.

Главной причиной атеросклероза считались алкоголь, табак, жирная пища. Но потом вспомнили, что люди курят со времен Колумба, пьют испокон веков, едят жирное со времен мамонтов.

Теперь стало ясно, что сердечно-сосудистые заболевания представляют собой лишь трагический финал длинного ряда физиологических осложнений, происходящих в организме человека, главным образом в его нервной системе. Начальная же причина спрятана в тончайших процессах мозга, в его почти неуловимых химических реакциях, в молекулах мозгового вещества, суммирующих до патологических размеров все то, что человек переживает на протяжении всей своей жизни: отрицательные эмоциональные напряжения, сравнительно кратковременные расстройства и длительные гнетущие неприятности.

Эмоции человека — главные поставщики невротических состояний, которые в свою очередь влияют на функции сердца, сосудов, кишечника, гормональных органов.

Физиологией эмоций начали заниматься только в самое последнее время.

Вегетативные компоненты эмоций имеют качественное различие. Одни из них, такие, как сокращение мимической мускулатуры, движения, речевая функция, дыхание и слезоотделение, подлежат произвольному контролю. Любой человек по собственному желанию может затормозить внешнее выражение эмоции. Как говорится, «ни один мускул не дрогнет на его лице». Это так называемые управляемые компоненты эмоций. Вместе с тем абсолютное большинство людей совершенно неспособно затормозить такие вегетативные компоненты эмоций, как изменения деятельности сердца, кровеносных сосудов, потовых желез, сокращение гладкой мускулатуры желудка, кишечника. Деятельность этих органов не подчинена произвольному контролю. Поэтому эти компоненты эмоций получили название произвольных.

Существует мнение, что эмоция может быть подавлена, если человек в самой волнующей ситуации остается внешне совершенно спокоен.

Однако если подойти к этой проблеме с позиций произвольных и произвольных компонентов эмоций, то станет понятным, что любая эмоция, даже в случае торможения ее произвольных компонентов, обязательно распространится на не поддающуюся произвольному контролю деятельность внутренних органов (детектор лжи, например, как раз и основан на реакции внутренних органов). Опасность отрицательных эмоций особенно возрастает, если они приобретают застойный характер. Тогда эмоциональное возбуждение получает беспрепятственный доступ к внутренним органам и, постоянно «бомбардируя» их нервными импульсами, оказывает на них тонизирующее влияние, вследствие которого развиваются такие «нейрогенные» заболевания, как стенокардия, гипертония, язва желудка, спазмы гладкомышечных сфинктеров пищевода, желудка и кишечника, нейродермиты, экзема и другие.

Различные эмоциональные состояния могут быть сегодня вызваны или, наоборот, подавлены при химическом воздействии на различные структуры мозга путем микроинъекций различных химических веществ. Это указывает на то, что каждое эмоциональное состояние характеризуется своей специфической химией. Отсюда открывают-

ся широкие перспективы направленных воздействий на эмоциональное состояние с помощью специальных веществ, известных под названием «психофармакологических».

С другой стороны, доктор Бенсон из психиатрического института в Филадельфии отмечает на основании обследования 500 раковых больных, что развитие этого заболевания может быть в некоторых случаях связано с подавлением эмоций. У лиц, открыто не выражающих свои эмоции, наблюдается тенденция к повышению уровня содержания гормонов надпочечников. А почти все эти гормоны уменьшают эффективность работы системы иммунитета организма, что и создает шансы для развития недуга.

Таким образом, когда вы из трусости молчите на собрании и послушно голосуете за дурацкую резолюцию, хотя каждое слово в ней вызывает в вас бурю отрицательных эмоций, вы покупаете безбедность послушания ценой мучительной смерти, так беспощадно описанной Толстым в «Смерти Ивана Ильича».

И когда вы сохраняете презрительно-скучающее выражение лица, глядя на смешное представление, чтобы выглядеть умным и значительным, вы повышаете в себе уровень гормонов надпочечников.

И там и там вы лжете, то есть нарушаете закон природы. Ведь человечество существует только потому, что знает, что белое есть белое, а черное есть черное. Живое существует миллионы лет только потому, что отражает в сознании окружающий мир именно таким, какой он есть в своих ипостасях. Когда человек лжет, он нарушает миллионлетний закон живой природы. Миллионы лет ггло до срока и не давало потомства все то, что лгало, то есть искажало в своем отражении черты реального окружения, называло, например, черное белым. Не такая дуручка Природа, чтобы полагаться только на совесть в деле спасения человечества. Она заложила в каждого из нас по химической мине со взрывателем замедленного действия. Есть, оказывается, судья, который недоступен звону злата и который все дела знает и наперед и назад. Рак, или всемирные волны гриппа, или ишемическая болезнь — это все черти пляшут на столах по причине ослабления эффективности системы иммунитета в нас с вами. Мало плачем и мало смеемся. Даже при чистой

совести не можем разобраться в потоке информации, вовремя отличить правду от кривды. А допустив неправду даже и вполне бессознательно, так поздно осознаем этот прискорбный факт, так за время осознания накручивается на прошлую ошибку чудовищно много следствий, что и никакого мужества не хватает признать ее; рубить запутанный узел становится так опасно, что мы для пользы дела просто-напросто и не оглядываемся.

Утром солнце плескалось в номере, величавилось в небесах, перепутало кванты с частицами, волны с моими молекулами.

Ученый Шредингер однажды впал в поэтичность и позволил себе рассуждать о любовниках: «Истинные любовники, глядя друг другу в глаза, чувствуют, что их мысль и радость не только сходны или идентичны, но численно едины. Однако, как правило, любовники слишком поглощены своими эмоциями, чтобы снизойти до ясного рассуждения, и в этом отношении они очень напоминают мистиков».

Солнце вело себя со мной любовно-мистически.

Такой отчетливой, ясной, радостной какой-то разницы между теплом дома и солнечным морозом улицы нигде, кроме как в Сибири, не ощущается мне. Видишь солнечный луч, разделенный стеклом окна на космическую его, бездумную протяженность и на домашний, теплый и осмысленный отрезочек. И квадраты солнечные текут по полу, высвечивая подкроватные или даже подкомодные дали. И даже у больного и удрученного человека утренний солнечный поток, протекая сквозь жильё, включает рубильничек доброго гормона. Мороз чистейшего застенного мира и уют жилья насаживаются на шампур солнечного луча, соединяются в истинно неразрывную систему. И радость объединения выступает на человеке в виде доброй его улыбки и готовности к доброму поступку.

С такой всемирной улыбкой спустился я с четвертого этажа в гостиничный холл, увидел сквозь огромные стекла снежный лес, белку возле самого тротуара; сине-желтые снегоуборочные машины среди сугробов; яркие, как тюльпаны, дорожные знаки на шоссе. И совсем превосходно стало душе, когда увидел еще стол, уставленный

вазами и подносами с беляшами, ватрушками, крутыми яйцами, сметаной в стаканах, кефиром. И два бака кофе и кипятком, и заварочные чайники. И самообслуживание — очереди нет ни в кассу, ни за подносом, ни к окошечку.

Я положил пальто на кресло в пустом холле и отправился к столу. Напичканный утренним солнцем, я несколько напоминал душевным состоянием тот магический кристалл, сквозь который и великие и малые поэты иногда различают свободную даль красоты. Иными словами, мне вдруг поверилось в будущее вдохновение, в счастье цельности, в возможность еще для меня искусства.

— Эй! Ты! Подь сюда!

Мир в просвеченной солнцем душе не нарушился от окрика, ибо я никак не мог отнести его к себе. Но во всем просторном холле гостиницы было слишком уж мало людей. И потому я обвел глазами модерн и увидел старика гардеробщика. Он махал кулаком в моем направлении и продолжал орать: «Ты! Эй! Подь сюда!»

Я двинулся к гардеробщику, медленно опускаясь с небес научно-поэтических мыслей на равнину бытоизма.

Навстречу мне выпучивались из орбит глаза старика. А когда я остановился перед ним и спросил: «Что стряслось, папаша?», он заорал: «Свинья! Куда одёжу положил?»

Давненько меня не называли свиньей. Как-то так последние десятилетия получалось, что иррациональным каким-то образом люди догадывались, что такие шутки мне не нравятся и что я способен сильно обидеться. Старик гардеробщик в гостинице «Золотая долина» интуицией не обладал и потому еще раза три прошипел, брызгая слюной: «Свинья! Свинья! Свинья!»

В этом обыкновенном слове сконцентрировались все тончайшие процессы мозга гардеробщика, все почти неуловимые химические реакции и движения молекул мозгового вещества в его черепе. Все отрицательные эмоциональные напряжения семидесяти его лет, все сравнительно краткосрочные расстройства и длительные гнетущие неприятности он разрядил прямо мне в лоб.

«...Мы начинаем бить тревогу. Старость становится все более безобразной: увеличивается число немощных стариков, повышается количество пораженных старческим слабоумием» — эти недавно слышанные от нейро-

физиологов слова так и запрыгали у меня в голове. И хорошо, что запрыгали, потому что от «свиньи» концентрация отрицательных эмоций во мне самом достигла опасного с точки зрения уголовного кодекса уровня. Я лихорадочно припоминал способы ликвидации нежелательных последствий отрицательных эмоций — переключение, например, с умственной на мышечную деятельность. Это не годилось. Следующий способ разрядки тягостного переживания: «поплачь — будет легче». В этом случае эмоциональное возбуждение разряжается через управляемые компоненты эмоций. Я выбрал этот способ, но заменил мокрость слез потоком сухих слов.

Надо отметить тот факт, что старикан хам привык к общению с учеными, то есть с интеллигентными людьми (это мне объяснили потом). И оказался совсем не подготовленным к тем словам, которые услышал от меня в ответ на безобидную в конце концов «свинью». Глаза гардеробщика сразу провалились в глазницы на то место, которое им от роду и было положено. И он залопотал нечто оправдательное: мол, пальто следует сдавать на вешалку, а не класть на стул.

— Черта с два я тебе клифт сдам, — сказал я, умиротворенный разрядкой. — Научись разговаривать по-человечески, психопат ты гормонально-иммунитетный!

Старец от моего миротворного голоса опять вспрыгнул и под натиском гормонов агрессивности прошипел: «Милиция! В милицию! Милиция!»

И тогда я отправился на поиск директора всего этого богоугодного заведения. Барменша в ресторане объяснила, что директора еще нет, что директор как раз и требует от старика, чтобы постояльцы не клали пальто на стулья, что старик контуженный, и т. д. и т. п.

Руки мои тряслись, когда я сыпал сахар в чай, есть расхотелось; от мысли, что надвигается час выступления, захотелось повеситься. Короче, из мухи — «свиньи» — получилась во мне слониха — мировая скорбь. Безнадежно было пытаться объяснить гардеробщику, что он житель Млечного Пути, — так Экзюпери объяснял знакомым вышибалам их поэтическую, человеческую сущность.

В ЧЕРНОМ ЯЩИКЕ

Обстановка у пультов ускорителя в институте физики напоминала обстановку на боевом мостике крейсера, когда уже отстрелялись, но отбой тревоги еще не сыгран.

Люди, уставшие от долгого напряжения, от долгого азарта. Азарт помог им и ушел. Теперь есть результаты. Но без азарта эти результаты выглядят серенькими, и даже трудно поверить, что недавно они казались такими труднодостижимыми и волнующими.

Усталые молодые люди сидели внутри круга, по которому мчались элементарные частицы, мчались электроны.

Мне показали эти электроны. Конечно, не сами электроны, а свет их. Узкий жесткий луч холодно, без мерцаний, вонзился в зрачок — в восемь миллионов колбочек и сто двадцать миллионов палочек.

Этот луч электроны несли перед собой, вращаясь со скоростью, близкой к скорости самого света. Этот луч двигался вместе с электронами, как фары двигаются с автомобилем.

Свет электронов похож на свет одинокой волчьей звезды.

Светом электронов физики охмуряли именитых и неименитых гостей, одинаково далеких от знания физики.

Я робел перед физиками, хотя это были простые ребята.

И почему мы перед ними робеем?

Вопросы не задавались. Вероятно, еще мешал осадок, выпавший в душе от хамства старика гардеробщика. Мне уже давно было жаль старика и совестно от грубости, с которой я обругал его в ответ на безобидную «сви-

нию». Дисгармония души мешала отдаться атомной физике.

Знаменитый мученик атомного века Роберт Оппенгеймер непоколебимо верил, что гармонию бытия человек найдет и ею овладеет. «Без гарантируемого высокими энергиями проникновения в ультрамикроскопический мир нельзя продолжить борьбу за торжество разума, за восприятие рациональной гармонии бытия». Здесь самое интересное для меня слово — прилагательное «рациональной».

Еще мне объяснили, что ускоритель — это фактически генератор вопросов.

То есть можно сказать, что если бы физики, создавая ускоритель, знали твердо, что из их затей получится, то они бы знали уже заранее ответы на научные вопросы, которые они задают, и тогда незачем было бы проводить исследования, создавать ускорители и вообще городить архидорогостоящий огород. Физики затем и городят ускоритель, чтобы он им родил вопросы, которые сами они высосать даже из самого гениально-неожиданного физического пальца не способны.

Физики не только не знают ответов, но и не очень хорошо знают, какие вопросы можно задавать физике высоких энергий, имеют ли вообще смысл задаваемые вопросы, и если имеют, то какой.

Зато физики уже не сомневаются в том, что если делить отрезок на все меньшие и меньшие отрезочки, то мы доделимся до таких кусочков пространства, свойства которых никак не совпадают со свойствами сантиметрового или километрового отрезка, который мы начали делить. И вот там-то и может сидеть фридмон Маркова, а в этом фридмоне и другие цивилизации, другие умники, другие дураки. Им там плохо. Потому что в мире элементарных частиц понятия нашего Времени и Пространства играют в чехарду. Например, сегодня есть основания предполагать, что позитрон это электрон, который двигается против течения Времени. Из настоящего он двигается в прошлое. Во всяком случае, такое предположение отлично годится для математических моделей.

Занятия получились у физиков с очисткой зерна от долгоносика. Они сделали ускоритель для облучения потока зерна в элеваторе. Зерно прекрасно облучалось, долгоносики дошли без всяких лишних разговоров. Не

учли только одной детали. Когда зерно потоком обтекает ускоритель, происходит электризация зерен, и так как зерно всегда находится вместе со своей пылью, то все это дело взрывается.

Если бы физики спросили уборщицу на любом портовом элеваторе, она обстоятельно объяснила бы им технику безопасности при работе с зерном и даже рассказала бы о том, что если янтарь потереть, то он тоже электризуется.

Прямо от ускорителя элементарных частиц я попал в институт цитологии и генетики. Из мира огромных энергий, гудения агрегатов, волчьего света электронов, из мужского мира караульного помещения или боевой рубки крейсера я попал в тихий женский мир.

Последовательность моих перемещений была совершенно случайной, но полной глубочайшего смысла, ибо признаки всех живых организмов, и в частности наше генетическое воспроизводство, зависят прежде всего от процессов атомного масштаба. Пьяницы неизлечимы потому, что алкоголизм есть какое-то неведомое пока изменение на атомном уровне внутри молекул, из которых состоит алкоголь. Душевное страдание, приведшее человека к пьянству, таким образом, накоротко связано с движением позитронов навстречу Времени.

Ведь и вы, и я начались с одной-единственной микроскопической капельки.

В ней был зашифрован весь механизм развития моего организма, вся специфика биологического вида, все механизмы внутренней регуляции, все инстинкты и безусловные рефлексы, мой характер и темперамент. Измерить это богатство в битах информации трудно, но, вероятно, там содержалось больше сведений, нежели способна вместить вся система моей сегодняшней памяти.

Я теперешний — всего-навсего пятидесятое или шестидесятое поколение той микроскопической частицы живой материи.

Я состою из восьми триллионов клеток. Каждая содержит не только ту генотипическую информацию, которая необходима для выполнения ею функций, но и полную информацию — ту же самую, которой располагала яйцеклетка. Поэтому теоретически возможно развитие

клетки, скажем, слизистой оболочки моего языка во взрослый человеческий организм. На практике это пока невозможно только потому, что такие мси клетки не обладают эмбриогенетической потенцией.

Каждые сутки в моем хилом организме обновляется семь миллиардов клеток.

Все клетки крови обновляются за три-четыре месяца.

Клетки печени живут восемнадцать месяцев.

Клетки мозга не обновляются и в случае поражения гибнут навсегда.

Все чертежи, схемы, таблицы, справочники, потребные для изготовления человека, имеют объем восьмитысячной доли кубического миллиметра.

Мне показали фотографии тех ужасных существ, которые получаются, если какой-нибудь атом из первоначальной клетки чуть сдвинулся со своего места. Потом показали прелестные шкурки норки разной расцветки, разной длины. И женские пальцы одну за другой встряхивают шкурки; незаметно для хозяйки пальцы ласкают мех, тонут в нем. Норки необыкновенные. Их сделали эти женские пальцы, которые научились копать в хромосомах.

На стене в кабинете — рисунок: девушка, обвитая змеей-хромосомой. На стене лаборатории — фотография артиста БДТ Копеляна. Женские голоса поругивают Дубинина за головокружение от успехов. Рассказывают о работах по выведению лисиц, любящих людей, испытывающих к людям альтруистические, дружеские чувства. У диких лис детишки появляются один раз в году — весной. Альтруистические лисы будут рожать в любое время года. Лисьи шубки будут производиться как на конвейере...

Нельзя сказать, что я чувствовал себя хорошо, когда остался один на сцене в Доме ученых перед сотней зрителей.

Ни единой мысли не было в моем черепе. Только головная боль.

И я вынужден был прибегнуть к испытанному приему рассказа автобиографии, напичкав его морскими байками.

Но мне необходимо было, мне во что бы то ни стало

необходимо было объяснить аудитории трагедию дилетантского интереса ко всему сущему. Мне казалось, что здесь меня смогут понять.

Я вытащил листок с цитатой из сочинений одного русского писателя-классика и сказал, что буду читать цитату, пока кто-нибудь не сможет назвать автора.

Долго пришлось ждать этого момента!

Я читал:

— «Все более или менее согласились называть нынешнее время переходным. Все, более чем когда-либо прежде, ныне чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Все чего-то ищет, ищет уже не вне, а внутри себя. Вопросы нравственные взяли перевес и над политическими, и над учеными, и над всякими другими вопросами. И меч и гром пушек не в силах занимать мир. Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении: все ждет какого-то более стройнейшего порядка. Мысль о строении как себя, так и других делается общою...»

Я читал и слышал, как в тихом зале тишина шла и шла куда-то в глубь, под пол и даже в мерзлый фундамент. Я читал знакомый текст автоматически, мозг не участвовал в чтении. И я успевал думать избитую думу о том, что нам только кажется, что живем мы в особенную, неповторимую, никогда не бывшую эпоху, сверхоригинальную, сверхособенно сложную. И так казалось всем людям, и всегда так будет казаться, а стоит почитать о том, над чем билась мысль искреннего писателя в любые прошлые эпохи, то увидишь их полнейшую актуальность и в твое время. И даже можешь не чистить языковые приметы давнего времени. Это такая чешуя, от которой уха только наваристее.

— «Мысль о строении как себя, так и других делается общою... Всяк более или менее чувствует, что он не находится в том именно состоянии своем, в каком должен быть, хотя и не знает, в чем именно должно состоять это желанное состояние. Но это желанное состояние ищется всеми; уши всех чутко обращены в ту сторону, где думают услышать о вопросах, всех занимающих. Никто не хочет читать другой книги, кроме той, где может содержаться хотя бы намек на эти вопросы. Надобны ли в это время сочинения такого писателя, который одарен

способностью творить, создавать живые образы людей и представлять ярко жизнь в том виде, как она представляется ему самому, мучимому жаждой знать ее? Определим себе прежде, что такое писатель, которого главный талант состоит в творчестве. . .»

Здесь меня пот прошиб, ибо я испугался, что слушатели решат, будто чужим текстом я говорю о себе в полном приближении. И я уже взмолился всем богам, чтобы скорее нашелся в зале эрудит и назвал автора. Но эрудит не находился. И я пошел выкидывать фразы и соединять остатнее как бог на душу положит:

— «Нужно, чтобы в произведении такого писателя жизнь сделала шаг вперед и чтобы он, постигнувши современность, ставши в уровень с веком, умел обратно воздать ему за наученье себя научением его. . . Возвратить людей в том же виде, в каком и взял, для писателя-творца даже невозможно: это дело сделает лучше его тот, кто, владея беглой кистью, может рисовать всякую минуту все, что проходит пред его глазами, не мучимый и не тревожимый внутри ничем. . .»

Здесь из зала раздался не очень уверенный, но достаточно решительный голос:

— Это Виктор Шкловский!

— Нет, — сказал я и, выполняя условие, продолжил чтение: — «Если писатель сам еще не воспитался так, как гражданин земли своей и гражданин всемирный, если он, покорный общему нынешнему влечению всех, сам еще строится и создается, тогда ему даже опасно выходить на поприще: его влияние может быть скорее вредно, чем полезно. Это продолжающееся строение себя самого непременно обнаруживается во всем, что ни будет выходить из-под пера его. Чем он сам менее похож на других людей, чем он необыкновеннее, чем отличное от других, чем своеобразнее, тем больше может произвести всеобщих заблуждений и недоразумений. То, что в нем есть не более как естественное явление, законный ход его необыкновенного организма, состояние временное духа, может показаться другим людям верховною точкою, до которой следует всем дойти. . .»

— Гоголь! — наконец-то раздалось из зала.

Интересно, что процесс чтения на людях, даже если читаешь механически, читаешь знакомый до запятой текст, все-таки заставляет понять нечто в тексте особен-

но отчетливо или, наоборот, обнаружить логические сбиты, которых раньше не замечал.

На сцене Дома ученых Академгородка я понял с полной ясностью, что Гоголь отстаивает право человека высказывать свои сомнения, неуверенности, право на ошибки, но все это только в понятийном ряду, в пересказе словами, для воздействия только на мозг. А вот если человек переведет растерянность в художественные образы, этими образами будет вносить растерянность в души читателей, то он, художник-писатель, совершит преступление перед совестью. Вот она где реакционность-то! Сомневайся сам, но не смущай других! То есть логическими построениями можешь вызывать смятение, а то, что убеждает и помимо логики, то, что вызывает веру прямо в сердце, минуя разум, — то табу!

Я попытался объяснить озарившее меня аудитории, но запутался. Вышенаписанное не было озарением для них. Оно было для них избитым местом.

И я начал тонуть. И как всякий тонущий, начал этот процесс с пускания пузырей.

Понятия не имею почему, но я вдруг понес о матриархате. О том, что значительные женщины добивались всечеловеческих успехов только на «мужском» пути. Что человечество еще не начало использовать «женский взгляд» на мир, особую точку отсчета. Что важна не женская интеллектуальная потенция, проверяемая сравнением с мужскими интеллектуальными достижениями, а необычность взгляда, интересов, направленности женского разума. То есть именно то, что женщины-писательницы, например, тщательным образом камуфлируют под «мужскую» прозу. И что в будущем мы — кровь из носу! — придем к матриархату.

Здесь одна пожилая дама, как потом оказалось — известный генетик, громко чихнула, громко сказала, что она надеется, что ее потомки не доживут до матриархатных времен; что она лично терпеть не может женщин-руководительниц, что биологии грозит тупик именно потому, что в нее, биологию, битком набилось женщин.

Генетик опять чихнула, высморкалась и добавила:

— Мужчины привыкли себя изучать и заниматься самообразованием даже на людях, что мы и видели на при-

мере уважаемого автора. А женщины привыкли себя выдумывать. Потому, когда женщины начнут самоизучаться, они будут изучать то, что они о себе придумали, а не то, что они есть на самом деле.

Сделав этот вывод среди опасно-задумчивой тишины зала, генетик еще раз чихнула прямо в мой адрес, извинилась и вышла вон.

Слово взял молодой человек. Он заговорил намеренно отвратительным, вызывающе-пронзительным голоском с явно поддельными женскими интонациями. Он сказал, что я последние десять лет деградирую, что в моих последних книгах полно вульгарного материализма и ворованных из газет информации, цена которым нуль, что я перестал волновать. А когда Гоголь, помянутый мною здесь всуе, почувствовал, что перестал волновать, то есть кончился как писатель, то он погиб сразу и как человек.

Молодой оратор бил в яблочко, в десятку, в эпицентр, в солнечное сплетение. Ради такого я сюда и прилетел. Правда, я жаждал сочувствия и совета, а не четких формулировок своих провалов.

Деликатные слушатели подняли гвалт, чтобы заставить молодого человека замолчать. Им было жаль меня. Я утихомиривал орущих, чтобы выслушать оратора до конца. Но его можно было и не защищать. Он сам справился с аудиторией. Он повернулся к ней и полуженским голоском объяснил, что кричат здесь только задубевшие в вульгарном материализме товарищи, что он устал от материи уже до чертиков, что самое прекрасное в Гоголе — веселость первых его сочинений, веселость стихийная, которой Гоголь спасался от припадков болезненной тоски, которой развлекал сам себя, вовсе не заботясь, зачем это, для чего и кому от этого выйдет какая польза. И если у выступавшего здесь товарища еще можно что-нибудь читать в его компилятивных книгах, то это анекдоты, а от его подпольной фанатической проповеди искусства как примирения с жизнью мухи дохнут.

Дальше пошла массовая перепалка, в жару которой быстро расплавился я. Обо мне просто забыли. Не задали даже вопроса о творческих планах. Такой вопрос принято считать образцом читательской серости и скудости читательского воображения. Но оказалось, что отсутствие такого вопроса саднит писательскую душу от-

сутствием в читателях интереса к тому, чем ты собираешься осчастливить человечество. Таким образом, умная аудитория, которая сознает банальность вопроса о творческих планах и не задает его, есть аудитория жесточайшая.

И когда я увидел Желтинского в фойе, то обрадовался ему не меньше, чем в ленинградском аэропорту.

— Мне приказано свозить тебя в Новосибирск в Бюро пропаганды художественной литературы, — сказал Ящик, уводя меня с Голгофы. — Получишь там деньги за выступление и отметишь командировочное.

У него был усталый вид. Он приехал за мной прямо с похорон. Мой вид, вероятно, был не лучше. Мне казалось, что я тоже побывал на похоронах, но только на своих собственных. Тяжелый хлеб — публичные выступления. После них полезно бывает вспомнить какие-нибудь шедевры из сочинений графоманов типа: «Стада овцеводов спускались с гор...» Но именно тут-то такие шедевры и не приходят тебе на ум.

— Ну, нашел что-нибудь из того, что искал? — спросил Ящик, выводя темно-малиновую новую «Волгу» на крахмальную скатерть укатанного зимнего шоссе.

— Ничего я не ищу здесь.

— Ищешь. И найдешь. Что ищешь — найдешь. Не истину, а то, что найти готов и найти хочешь.

Вот уж чего мне не хотелось, так это говорить о себе самом.

— Твой самоубийца пил? — спросил я. — Он повесился? Вешаются чаще всего алкаши.

— Нет. Не пил. Здесь это не модно. У нас сто мужчин и все с доступом к спирту. Выпивают сухое вино двое. Этот вовсе не пил.

— В какое время суток он...

— Утром. Между девятью и десятью.

— Полное нарушение теории самоубийств! Обычно это случается в любое ночное время, в крайнем случае вечером. Но утром...

— Интересно отметить, — начал Ящик тем учено-наставительным голосом, которым он обычно вещал на людях, но уже не употреблял в беседах со мной, — коллега был максималист. При слабом сложении брал в туристический поход рюкзак в шестьдесят килограммов. Самодеятельный йог. Стоял на голове в легком трениро-

вочном костюме при открытом окне в сильный мороз. Болел ангинами. Затем стоматит. Затем бессонница. Душа с некоторым утончением, то есть с тягой к общим вопросам и искусству. Тебе это особенно интересно должно быть. Так. Подзатянул с диссертацией. Так. Квартиру получил неожиданно быстрым путем. Сразу после женитьбы помер тесть и освободил жилплощадь. Интересно отметить, что трудности с квартирой так же необходимы для современного ученого, с точки зрения естественного отбора, как поиски свободной пещеры дикарем в условиях каннибализма на заре человечества. В квартирных трудностях мужает и крепнет дух ученого... Так. Вопрос жены. Нелады были с женой. Ну, это у всех. По науке. «Нобелевская» тяга существовала. Опять максимализм. Американцы поставили опыт, наблюдали новое явление, объяснили. Коллега нашел лучшее объяснение, предложил более точные формулы. Американцы поскрипели и согласились. Эффективная довольно победа. Удача. Он ее развизвал. По ходу дела потребовалось повторить сам опыт. И он повторил. И оказалось, что американцы чуть напутали в своем. Полетело к чертям собачьим новое и точное объяснение коллеги. Он, оказывается, объяснил несуществующее. Он красиво и эффектно подвел базу, фундамент теории под тухлое яйцо.

— Но он же сам создал свежее яйцо! Разве уточнение, которое он внес в опыт американцев, не научная заслуга?

— Интересно отметить, что да. И большая заслуга. Но обнаружение чужой ошибки оказалось отрицательным результатом в его теории, а отрицательный результат не укладывается в диссертации по нашим сегодняшним установкам. Предстояло делать сотни монотонных экспериментов по развитию и определению новых результатов. Годы мути. Не для него.

— И это основная причина самоубийства?

— Нет, — сказал Ящик, отпустил руль и обеими руками обстоятельно поправил очки.

Хотя шоссе было пустынно, но мы ехали без руля и ветрил достаточно долго, чтобы я вспомнил, что Ящик попал в науку с флота. Я хочу этим сказать, что штурман подводной лодки капитан-лейтенант запаса Желтинский сохранил в себе некоторую уверенную лихость в обращении с быстродвигающимися механизмами.

— Возьми руль, дубина! — сказал я.

Он взял руль и тяжело вздохнул:

— Знаешь, Сосуд, я чувствую себя виноватым в этой истории. Ноет совесть. Парень был одинок — вот причина. Понимаешь, он раздражал: плохо умел выражать сложные мысли. Не мог объяснить кое-что из своих идей даже мне, руководителю. Пришлось прочитать курс по его узкой теме студентам, самому пришлось разбираться в каждой детали, чтобы понять, о чем он лепечет... Ладно. Как выступление? Как тебе наш народ?

— Один паренек писклявым голосом предложил мне заканчивать счеты с жизнью.

— Что еще ты услышал?

— Что наука — раковая опухоль на мозгу человечества. Она ведет в тупик материальной конечности.

— А надо в бесконечность человеческой души?

— Приблизительно так.

— Молодой высказывался?

— Да.

— С бородой?

— Да. Ты его знаешь?

— Нет, идеализмом занимаются более менее откровенно только молодые бородатые.

— Ты их не любишь?

— Я им завидую. Что еще слышал?

— Такую фразу: «Я здесь четыре года и уже ненавижу Академгорсдок всеми фибрами».

— Кто говорил — физик, химик, биолог, историк?

— Математик из вашего вычислительного центра.

— Еще?

— Что вы — люди без родины. Вам один черт — Сибирь или Луна, только бы давали деньги на эксперименты.

— Так. А еще?

— Что пора развенчать Эйнштейна, что существует культ его личности, хотя Лоренц и Пуанкаре стоят не меньше.

— Во как! — с удовольствием высказался Ящик. — А про мусор?

— Что «мусор»?

— Про домашний, кухонный мусор не слышал? Что его ученым девать некуда?

— Нет.

— Еще услышишь! _____

В Бюро пропаганды художественной литературы при новосибирской писательской организации бухгалтерша высчитала разницу за одиночный номер в гостинице, который мне, оказывается, не был положен; затем удержала за броню; затем вручила билет до Москвы, а не через Москву до Ленинграда, что обошлось мне еще рублей в двадцать; затем попросила оформить в Ленинграде липовую командировку, заверить ленинградскими печатями и выслать обратно заказным письмом вместе с использованным билетом.

Я поблагодарил бухгалтершу за все это и вывалился на мороз, урча от раздражения.

Ящик сидел в машине и слушал радио на французском языке.

Пейзаж вокруг был пустынный. Бюро находится возле рынка, а рынок не работал по причине воскресенья.

— Поехали, — сказал я. — И, если можно, побыстрее, а то с меня еще что-нибудь высчитают.

— Нельзя, Сосуд. Здесь платная стоянка. Надо рассчитаться. Видишь талон на стекле?

Платная стоянка в Новосибирске в разгар зимы среди арктической пустынности предрыночной площади!

— Такое ощущение, что я попал в Париж в час пик, — сказал я.

— Чтобы его укрепить, я и слушаю иностранщину, — сказал Ящик и посигналил, ибо сборщика подати не было видно. — Между прочим, французики говорят занятные штуки. На Западе уже возникла проблема создания атомной бомбы бандитами в тайне от государства. Вообще-то любой ученый среднего класса может построить сегодня бомбочку, если имеет деньги и обогащенный плутоний. Такой плутоний применяется в атомных электростанциях. Его можно украсть или перекупить на рынке радиоактивных материалов. . .

Подошел сильно веселый неученый бандит — сборщик подати — и в тайне от государства забрал у Ящика целковый, не дав сдачи.

— Что хочешь здесь посмотреть? — спросил Ящик. — У меня еще час свободен. А на всю ночь я сажусь на эксперимент.

— Вокзал, — сказал я.

Тридцать лет тому назад я ночевал в уютном углу огромного новосибирского вокзала. Это был чудесный

уголок — на полу за мусорной урной. Каким-то чудом мать смогла засунуть меня туда. В огромном вокзале медлительно копошились полумертвые эвакуированные ленинградцы и мобилизованные киргизы. Последние были так растеряны от непривычной обстановки и близкого боевого будущего, что потеряли элементарный здравый смысл. Они пытались укрыть спинами в ватных халатах труп товарища, который умер скорее всего от какой-нибудь инфекционной болезни, а может, просто от ужаса военных вокзалов. Они прятали труп товарища от начальства целые сутки. Вот вместе с этим умершим киргизом я и делил уголок за мусорной урной.

— Да, — сказал Ящик. — Самое страшное в войну — вокзалы.

— Типичное высказывание тыловика, — сказал я.

— Не тыловика, а бездомного мальчишки, который пробирается на фронт, но на каждом вокзале влипает в патруль, — наставительно поправил Желтинский и повез меня к уголку моего отрочества. Но там даже вылезать из машины не захотелось. Бог с ним, с моим отрочеством. Да и сам вокзал по нынешним масштабам оказался не таким уж огромным, как казалось из-за мусорной урны.

— Ну, что еще хочешь посмотреть? — спросил Ящик. — Недавно здесь открыли мемориальный комплекс. Там выбиты имена погибших сибиряков.

Мы подъехали к мемориалу. Серые бетонные стелы с именами. Швы между бетонными блоками заделаны небрежно.

Начиналась метель. Поземка шуршала по бетону и голым кустам. Нынешние мальчишки в полувоенной форме стояли в карауле. Они посинели от холода, но хранили на лицах сурово-солдатское.

Я снял шапку и помянул того киргиза, с которым мы делили уголок за мусорной урной.

— Если разгуляется метель, завтра не улетишь — метели здесь длинные, — сказал Желтинский.

Это меня напугало. Застрять в чужом аэропорту хуже, чем штормовать в ураганном океане.

— Да, — согласился Желтинский. — Ждать в аэропорту хуже, чем сидеть в «черном ящике».

— Объясни, пожалуйста, что это за штука? — попро-

сил я, забираясь в тепло машины. — На каждом шагу встречаю здесь это понятие.

— Да, если ведешь разговор о модных вещах, никуда от «черного ящика» не уйдешь, — проскрипел Леопольд, усаживаясь за руль. — «Черный» — это устройство, о котором известно лишь одно: если мы введем в него данные о нынешнем состоянии явления, то на выходе снимем предсказание о будущих состояниях. Никакой программы действий «черного ящика» нам не известно. Тебе ближе художественный мир. Сравню «черный» с художественным шедевром. Художественный шедевр тоже сверхсложная система, не поддающаяся описанию, его алгоритм никому, включая творца, полностью не известен, его воздействие на людей и общество носит вероятностный характер и меняется в свободной зависимости от сегодняшних внешних обстоятельств — ведь ваш брат художник никогда не знает, как будет работать его произведение, ведать не ведает отдаленных результатов своей деятельности. . .

— Можно ли назвать органы, управляющие наукой на данном этапе ее развития, — «черными ящиками»? Вчера ночью нейрофизиологи объяснили мне, что невротические состояния, затем атеросклероз, гипертония, инфаркт неизбежны, если человек ставит перед собой и пытается решить сверхтрудную задачу. Ты принадлежишь к тем, кто пытается руководить наукой?

— Да, но в очень маленькой степени, — сказал Ящик. — Управлять наукой и не обнаруживать длительное время невротических состояний — значит, признаться в отходе своей нравственности от общечеловеческой нравственности, ибо задача управления наукой есть в современных условиях архисложная задача. Но без управления невозможно. Тогда организм правителя неизбежно должен изменить аппарат своих эмоций, защититься от отрицательных эмоций толщиной кожи. Понять эту тривиальную истину нормальный в нравственном отношении человек неспособен, как неспособен понять палача. Последний, как и любой ученый руководитель, самоблокирует отрицательные эмоции под действием инстинкта самосохранения. Вероятно, в будущем нейрофизиологи смогут следить за допустимостью отхода научного руководителя от эталона общечеловеческой нравственности по характерным признакам невротического состояния:

утомляемость, сонливость, нерешительность или, наоборот, раздражительность, «взрывчатость». Если ничего из подобных признаков руководитель не проявляет, значит, толщина его кожи стала уже опасной для общества, ибо руководитель уже не способен отличить белое от черного, добро от зла, жизнь от смерти. Он не только научился подавлять внешние компоненты эмоций или «разряжать» их, но он уже вполне способен не позволять им в определенной обстановке возникать вообще. Он разрушает условия формирования в себе отрицательной эмоции, например жалости, величием научных побуждений. Если же жалость пробьет его кожу, то есть еще один современный способ от нее избавиться: проглотить таблетку аминазина, который блокирует любой страх перед угрызениями совести.

— Растущая сложность управления наукой заставляет думать о машинном управлении ею. Что скажешь об этом?

— Машинное управление? Конечно! Но тогда падение интеллекта ученых неизбежно, так как наиболее умные люди в наибольшей мере мешают регулирующему действию машинного, рационального управления. Вопрос о пользе глупости совсем не так глуп, как это кажется выдающимся умникам. Такие умники не понимают, что ум способен в той или иной ситуации вредить обществу, задавая те вопросы, на которые еще нет реальной возможности, средств, сил, времени искать ответы. А так как вопросы, придуманные умником, соблазнительны, увлекающи, заманчивы, заключены в яркий образ, действуют эмоционально, то общество клюет на красивый крючок и начинает маневр средствами, силами, временем, людскими ресурсами в стратегически невыгодный момент. Так гениальные идеи, далеко опередившие свое время, компрометируются негодными средствами их воплощения, клеймятся клеймом негодности, выкидываются на свалку истории и своими ржавыми скелетами долго пугают тех новых умников, которым опять приходят в голову даже и в назревшее уже для них время.

ТЕПЛО ТЕЛЕПАТИИ

...Бавария, озеро Кимзее. Молодой человек в течение нескольких минут пристально смотрит на рубильник пульта управления подвесной канатной дороги. Рукоятка рубильника, к которой никто не прикасался, внезапно опускается. Вагончик, двигавшийся на высоте 140 метров, останавливается...

...Джермантаун (США). Все тот же молодой человек в присутствии «космического конструктора» Вернера фон Брауна подносит руку к вышедшему из строя портативному счетному устройству, и электронный механизм прибора начинает функционировать. «Кудесник» сосредоточивает взгляд на обручальном кольце ученого, которое тот держит в зажатом кулаке, — кольцо деформируется. Фон Браун настолько поражен, что отказывается от всяких комментариев...

Это «За рубежом» перепечатывает из «Штерна». Потом «За рубежом» дает опровержение. Потом печатает следующую сенсационную иррациональность.

Меня, как и всякого дилетанта, влекут вопросы телепатической направленности, но я крепко-накрепко запретил себе затрагивать темы колдунов и подсознаний в Академгородке, чтобы не выставиться совсем уж полным дураком.

И напрасно.

Вечером перед отъездом я оказался в компании тонкоголосого молодого нигилиста-математика, сокрушившего меня после выступления; молодой женщины с таинственными манерами Аэлиты или русалки — психолога; бородатого физика моих лет и дамы-генетика, которая чихала на мои матриархатные прогнозы.

Дело было на квартире физика.

Пока хозяева хлопотали на кухне, сооружая сибир-

ские пельмени, мне был предоставлен отдых в отдельной комнате, шлепанцы и «Журналист» № 2 за 1974 год.

Я должен был прочитать статью «Явление из-за горизонта».

«Восемь лет назад американскому криминалисту Бакстеру пришла в голову мысль попробовать детектор лжи, с которым он работал много лет, на растениях. . . Среди данных, которые анализирует детектор лжи, есть также измерение, связанное с электропроводимостью кожи. Два электрода датчика прикрепляются, например, с наружной и с тыльной стороны ладони, и самопишущее перо прибора рисует спокойную линию — разницу потенциалов двух точек кожи. В момент изменения эмоций запись превращается в ломаную кривую — психологические события меняют электрические данные кожи. . .

Заслуга Бакстера перед наукой велика, и иронии в этой фразе нет: перемещение известного инструмента в новую зону поисков — ценная и смелая идея».

Решил проверить, лгут ли березы? Когда обидой опилась душа разгневанная. . . Деревья! К вам иду! . . В зеленых отсветах рой — как в руки плещущие. . . Простоволосые мои! Мои трепещущие. . .

«Итак, Бакстер прикрепил датчик прибора к наружной и внутренней стороне листа комнатного растения, а другой лист окунул в горячий кофе. Ничего не произошло. Он подумал, что, возможно, лучше поджечь второй лист, и, очевидно, ярко представил себе живую зелень, пожираемую огнем. И с удивлением увидел, как перо самопишущего прибора изменило невозмутимую спокойную линию движения. Глянув на нее, любой, кто долго работал с детектором лжи, уверенно сказал бы: здесь была выдана преступником эмоциональная реакция.

И тогда Бакстер поставил точный эксперимент, с исследовательской устремленностью добиваясь, чтобы растение зафиксировало факт не чего-нибудь, а убийства. Жертвами науки стали живые креветки. С маленькой доски, расположенной прямо над кастрюлей с кипящей водой, очередная живая креветка падала в кипяток. Промежутки времени задавались с помощью датчика случайных чисел, определявшего совершенно разные сроки. Сотрудников не было в лаборатории, вообще никого не было, кроме приборов, крохотных рачков-креветок, ки-

пящей воды и растения — единственного свидетеля. Его электрические показания писались всю ночь. Сотрудники пришли утром. Всплески электрической активности на длиннейшей записи точь-в-точь совпадали с моментами автоматизированного ради науки убийства каждой креветки.

Став достоянием гласности, такие эксперименты, естественно, вызывают сенсацию и немедленно перепроверяются придирчивыми коллегами. «Эффект Бакстера» (так было названо явление) подтвердился во всех лабораториях.

Что же это за таинственное поле, снова заставляющее вспомнить прекрасное выражение древних греков — «всеобщая симпатия», поле сочувствия, связи и сопереживания, к которому причастны даже растения? Уж не пресловутое ли биологическое поле, которое никакими приборами не улавливалось покуда, но вот безотказно и явственно действует на растения?»

Примечание. Необходимо отметить, что с тех пор прошло уже некоторое время и «Литературная газета» разоблачила кое-какие махинации Бакстера. И автор об этом знает. Но здесь совсем не важен смысл всевозможной чертовщины, а важен факт научного интереса к ней.

Это был «Журналист» — издание газеты «Правда», которая по давней традиции не любит сенсаций. Это было двадцать раз перепроверено, и, так как, очевидно, деваться от этой чертовщины стало совсем уж некуда, это было напечатано тиражом в сто двадцать тысяч экземпляров.

И сразу радостно запрыгало во мне иррациональное, зашевелилось идеалистическое, ожило суеверие, темное, древнее, языческое, библейское, спиритическое, потустороннее, включая надежду на бессмертие — на вечное легкокрылое парение моей души среди звезд и фридмонов.

Бог мой, как ждет все это даже слабого толчка, полученного с помощью детектора лжи и сваренных креветок, как рвутся мои клетки к феноменальности, как их тошнит от рациональности, как хочет мое рабство Антимира!

Правда, явная неспособность современных физики и химии объяснить явления, подобные «эффекту Бакстера», не дает никаких оснований сомневаться в том, что они могут быть объяснены этими науками. Неясно толь-

ко, почему вокруг любой таинственной проблемы клубятся психологи. Вероятно, это еще одно из свидетельств того, что грань между гуманитарным и специально-научным знанием всегда была, есть и будет весьма подвижной. Она есть функция человеческого нахальства, чему прекрасный пример и этот очерк, и поведение Бакстера, использовавшего прибор, фиксирующий самое омерзительное в человеке — ложь — для обнаружения какой-то великой тайны Природы.

Ведь за корчащимся в огне листом растения я так и вижу преступника, которого привязывают к электрическому стулу. Вероятно, у Бакстера сработала именно эта ассоциация. Он со своим детектором как раз и препровождал людей в направленный поток электронов под разность потенциалов, от которой притухает свет в тюрьме. И вот зажег новый вопрос, встряхнул рационализм.

Дальше в статье «Явление из-за горизонта» сообщалось об экспериментах доктора психологических наук, профессора В. Н. Пушкина. Он изучает феноменального москвича Бориса Владимировича Ермолаева. Ермолаев — телекинетик, он двигает предметы на расстоянии. Но этого ему мало. Он берет в руки какой-нибудь предмет, зажимает его между ладонями и... постепенно раздвигает руки. Предмет повисает в воздухе. Причем расстояние между ними и предметом доходит до двадцати сантиметров.

Про феноменального Ермолаева я уже слышал. Он режиссер, и в кинокругах про него уже ходит достаточно сплетен. Из достоверных источников известно, например, что недавно Ермолаев принимал у себя ночью умершего два года назад классика советских киношекспироведов Козинцева. Григорий Михайлович оставил Ермолаеву записку, написанную на том свете. Эта записка сейчас исследуется в компетентных органах криминалистами. Эксперты считают бумагу записки неземной по химическому составу, но еще не установили, из какого фридмона она прибыла к Ермолаеву. Достоверно известно про самого Бориса Владимировича, что он неспособен использовать необыкновенные способности в дурных целях, а обнаружил их еще в раннем детстве, когда упавшие со сковородки котлеты поднял с пола и вернул на плиту силой персональной гравитации без помощи рук. Рассказывают еще, что он способен проникать пальцами

себе в желудок сквозь брюшной пресс по способу филиппинских телекинетов. Причем после того, как он вынимает пальцы обратно, никаких следов на брюшном прессе не остается.

Статья заканчивалась призывом не бояться новых фактов и сложных проблем, ибо в нашем мире скоростных самолетов и атомных реакторов осталось еще много непознанного, и наука должна раскрыть все тайны мира.

Я немедленно вытащил спичку из коробка, зажал ее между ладоней и со страшной силой сосредоточился на спичке, желая искривить пространство вокруг, изолировать спичку от гравитационного поля Земли, напитать ее своей легкомысленностью, чтобы она парила в невесомости. Ни черта не вышло. Спичка нормально падала. Причем мне казалось, что падает она даже с еще большей решительностью и скоростью, нежели обычно падают предметы.

Простуженная генетик:

Некоторые отказываются признать телепатию или телекинез на том основании, что природа в процессе эволюции должна была бы широко воспользоваться способностью организмов к телеобщению, а этого не видно. Но если мы не знаем природы телеявления, то почему мы можем знать, использует или не использует и для чего использует или не использует телеявления наш организм?

Питекантроп не знал, где мистика, где телепатия, а где научно объясненный и разрешенный к употреблению факт. Питекантроп просто всем этим пользовался при обделывании своих делишек.

Женщина с таинственными манерами:

По Бору, главная тайна — способность самопознания. Альфой и омегой здесь является отказ от каких бы то ни было попыток объяснения нашей собственной сознательной деятельности. В существовании и эволюции живых организмов мы имеем дело скорее с проявлением возможностей той природы, к которой мы принадлежим, а не с результатами опытов, которые мы сами можем произвести. Бор полностью капитулирует перед попытками

объяснения жизни. Потому что только отказавшись от объяснения жизни, мы приобретаем в обмен возможность учитывать ее особенности.

Тонкоголосый математик:

По Бору. Нельзя непосредственно сравнивать условия при биологических и при физических исследованиях, так как необходимость сохранить объект исследования живым налагает на первые ограничение, не имеющее себе подобного в последних. Так, мы, без сомнения, убили бы животное, если бы попытались довести исследование его органов до того, чтобы можно было сказать, какую роль играют в его жизненных отправлениях отдельные атомы. В каждом опыте над живыми организмами должна оставаться некоторая неопределенность в физических условиях, в которые они поставлены; возникает мысль, что минимальная свобода, которую мы вынуждены предоставлять организму, как раз достаточна, чтобы позволить ему, так сказать, скрыть от нас свои последние тайны. А главной тайной является вопрос, способны ли мы воздействовать своей волей на те атомы, из которых состоят наши тела. И вот сегодня эта тайна начинает приоткрываться. Сегодня считается доказанным, что в момент перехода человека из спокойного состояния к повышенной умственной активности в нашем организме возникают силы, которые связывают элементарные частицы, расположенные на поверхности кожи, и фиксируют их положение. Высказано предположение, что гравитация материально обеспечивает психическую деятельность человека, что живые системы способны порождать и воспринимать гравитационные волны.

Бородатый физик:

Мечников незадолго до смерти высказался с полной безапелляционностью. Он заявил, что наука не может допустить бессмертия сознательной души, так как сознание есть результат деятельности элементов нашего тела, не обладающих бессмертием. Фактически он нарушил закон «благородство обязывает», ибо объявил о знании всех элементов нашего тела и нашего сознания. Сегодня известно, что Пространство и Время тоже являются эле-

ментами нашего тела. В виде каких полей существует в нас эта система, еще неизвестно, но что их великое множество — ясно было уже Вернадскому: «Из невидимых излучений нам известны пока немногие. Мы едва начинаем сознавать их разнообразие, понимать отрывочность и неполноту наших представлений об окружающем и проникающем нас в биосфере мире излучений. . .»

Простуженная генетик:

По Шредингеру. Живая материя, хотя и не избегает действия «законов физики», установленных к настоящему времени, по-видимому, заключает в себе до сих пор неизвестные «другие законы физики», которые, однако, раз они открыты, должны будут составить такую же неотъемлемую часть этой науки, как и первые.

Бородатый физик:

Пустое пространство, то есть пространство без поля, не существует. Пространство-время существует не само по себе, но только как структурное свойство поля. Почему тогда не допустить, что шифр гена имеет матрицу в структуре какого-нибудь из полей?

Женщина с таинственными манерами:

Винер верил в телепатию и в ее будущее объяснение наукой. Но он не шумел на такие темы. Он хорошо знал, что идея становится материальной силой только тогда, когда приходит ее время. Иначе созревает убудочный плод и компрометирует самое идею. Пожалуй, пришло время нашему познанию совершить качественный скачок. Пожалуй, мы в воздухе уже — летим в прыжке. Куда-то сядем?

Я (уже битком набитый сибирскими пельменями и благодушный):

Тяга к чертовщине, к астрологии, колдуны в Англии и колдуньи в ФРГ, интерес к иррациональному среди естествоиспытателей. . . Это все попытки замещения отрицательных эмоций, непрерывно генерируемых безоб-

разной западной жизнью. Если почитать о древних греках, то увидишь, как черным по белому написано: «Утрата политических свобод и отстранение граждан от общественно-политической деятельности, без которой греки не мыслили себе ни общественной, ни индивидуальной жизни, и явились главными причинами их «возврата к иррационализму».

Тонкоголосый математик:

Незачем делить на Запад и Восток. Волна интереса к иррациональному катит по всему миру. Это проявление вечно возвращающегося сомнения в праве позитивной науки на монопольное обладание истиной и в правоте детерминизма. И если мы диалектики, то нам не след пугаться.

Я:

Так, может быть, глобальное онаучивание житейского бытия, которое на контрапункте вызывает тягу к иррациональному, — благо? И у питекантропов, и у неандертальцев, и у древних греков были кудесники и всякие необъяснимые чудеса, но не было газет, радио и детекторов лжи. Отдельные уникамы — древние греки или средневековые немецкие колдуны — неспособны были отдать свой необычный дар обществу. Общество в любой миг готово было убить кудесников. Сегодня их не убивают. Их начинают изучать. Быть может, мы уже нависли над какой-то сверхновой звездой — истиной? Если раньше загнивающие общественные системы рождали бессмысленный иррационализм на уровне интуиции, то теперь от парапсихологов можно ожидать открытия новой грани мира?

Женщина с таинственными манерами:

Чтобы успокоить рационализм разума, чтобы замотивировать веру, люди испокон века требовали демонстрации чуда. Человеческий разум неспособен признать божество, если оно не проявит себя чудом. Это раздражало даже Иисуса. Фарисеи и саддукеи искушали его, требовали знамения с небес. Он утратил выдержку и со-

рвался: «Вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно; и поутру: сегодня ненастье, потому что небо было багрово. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете!..» Мы сегодня, правда, уже не требуем знамений от божества. Мы ищем обыкновенный радиосигнал с Тау Кита. И готовы поверить в любого доктора, как в бога, если он вылечил нас от насморка за неделю, или возвести в божество балерину, если она умудрится повернуться вокруг своей оси лишний раз.

Наши божества мельчают, потому что мельчают наши чудеса.

И потому телекинез Ермолаева уже есть для многих знамение, свидетельствующее своим чудом о чем-то. И это опасно.

Я (про себя):

Умиравший писатель судорожно молит бога: «Дай мне год! Год любых мучений! Только дай закончить книгу!» И, действительно, хочет ее закончить, но в подсознании работает и другое: «Я буду жить, пока ее не закончу». Так часто случается с человеком, когда он угодит в пиксво-тупиковое положение, при котором ничего не остается, кроме надежд на боженьку. И здесь-то человек и пытается боженьку надуть, не отдавая себе в этом полностью отчета. Быть может, его тогда не следует считать обманщиком? Тем более он заканчивает книгу, успевает в этом и умирает на следующий день.

Моя профессия требует жадного внимания к человеческим судьбам и исповедям. Но все во мне противится специальному узнаванию людей. Я терпеть не могу самораскрытия людей не потому, что сам хочу занять площадку и рассказывать о себе. Просто в рассказе самого неквалифицированного рассказчика ощущаю драматургию. Любой, самый далекий от литературы человек, рассказывая что-либо, бессознательно превращается в плохого или хорошего, но драматурга. А мне всегда кажется, что нет ничего более далекого от истинной жизни, нежели самая хорошая пьеса. Она всегда построена. Я ненавижу драматургию. И следую заветам одного гениаль-

ного редактора, который утверждал, что, выстроив сценарий по главной его мысли, проявив эту мысль с драматургической четкостью, затем следует главную драматургическую пружину и мысль из сценария тщательно убрать. Оставшееся в какой-то степени будет содержать в себе жизнь, если автор не абсолютный кретин, а часто и в этом последнем случае.

— Откуда в вас такая таинственная флегматичность? — спросил я Аэлилу, когда отправился ее провожать. — Откуда такая чарующая поволока в глазах?

Она глубоко обдумывала вопрос. Мы успели проскрипеть по синему снегу добрый квартал, когда она наконец ответила:

— Вероятно, от родителей. Мой папа спал даже на велосипеде.

— А ваша узкая профессия?

— Я тоже специализируюсь по снам. Интересуюсь верованиями и обычаями древних народов Сибири.

Мне захотелось рассказать ей про ночную даму-танатолога.

— Жизнь состоит из снов, если считать ненужные встречи с ненужными людьми за сны наяву, — сказал я. — Мне давно кажется, что я намазан медом для всяких неудачников. Удачливые победители избегают меня, как черт ладана. Зато неполучившиеся художники находят в самых сокровенных углах. Еще почему-то особенно тянет ко мне неполучившихся врачей, а неполучившиеся моряки накапливают на меня злобную обиду за отсутствие желания говорить с ними об идиотизме морской профессии. Женщины, из которых не получились женщины, пишут мне страшные письма. А число самоубийц, прошедших в поле моего зрения, достигло угрожающих размеров. В моей коллекции есть даже ученые руководители зондеркоманд. Я имею в виду танатологов...

— Я не из тех женщин, которые не стали женщинами, — сказала специалист по снам. — Вы верите в существование души?

— Мне много пришлось болтаться на Севере. У северных народов есть предание о северных сияниях. Когда в черном небе расплзается акварель сияния, когда ионы высоких слоев стратосферы испускают кванты, эскимосы видят в этих квантах души предков. Предки пляшут в небесах праздничные фокстроты, танго и казачка...

— Вы верите в существование души?

— Материалисты не отрицают существования духа. Он плод материи и замкнут с ней накоротко.

— Существует ли у души возраст? Развивается ли душа по закону тела: проходит детство, зрелость, старость?

— Вероятно.

— Куда девается ваша душа, когда вас тошнит с перепоя или когда у вас болит зуб?

— Никуда не девается. Впадает в летаргию.

— Правильно. Вот этим летаргическим состоянием человеческой души я и занимаюсь.

— Это близко к религии?

— Ничего общего. Вы читали «Сумму технологий» Лема?

— Нет.

— Там есть серьезные страницы. Лем упоминает приемы, которые применяются либо для изменения материальных состояний мозга — введение в него вместе с током крови определенных веществ, либо его функциональных состояний — аутотренинг, процессы самоуглубления. Эти приемы благоприятствуют возникновению субъективных состояний, известных всем временам и народам. В таких случаях говорят, например, о сверхсознании, о «космическом сознании», о слиянии личного «я» с миром, об уничтожении этого же «я», о состоянии благодати. Однако сами эти состояния с эмпирической точки зрения вполне реальны, ибо они повторимы и возникают вновь после соответствующего ритуала. Мистический характер этих состояний исчезает, если применить терминологию психиатрии, но эмоциональное содержание таких состояний для переживающего их человека может быть при всем этом ценней всякого другого опыта. Наука не подвергает сомнению ни существование подобных состояний, ни возможную их ценность для переживающего субъекта; она лишь считает, что такое переживание, вопреки метафизическим тезисам, не составляет актов познания, поскольку познание означает рост информации о мире, а этого роста здесь нет. Сверхсознание есть результат комбинаторной работы мозга, и, хотя, пережив его, человек может обрести высочайший духовный опыт, информационная ценность такого состояния равна нулю. Результат мистических состояний — информационно ну-

левой; это видно из того, что их «сущность» непередаваема другому лицу и никак не может обогатить наши знания о мире. . .

— Я называю такие состояния у себя «воспаленным мозгом». В таком состоянии кажется, что кое-что понимаешь из того, о чем здесь говорили давеча.

— Понятое вашим воспаленным мозгом имеет ценность только в том случае, если вы можете с помощью членораздельного языка передать понятое вами другому человеку с холодным мозгом. Это альфа и омега ученых типа вашего друга Желтинского. Экспериментальные условия можно менять многими способами, но главное здесь в том, что в каждом случае ученые должны быть в состоянии передать другим, что они сделали и что они узнали. Если вы не способны совершить такую передачу, но имеете властный характер, то требуете от собеседника верить вам на слово, то есть без рассуждений. Вы можете найти таких собеседников, но рано или поздно они потребуют от вас демонстрации чуда взамен их извечной жажды логического объяснения, ибо только чудо способно заменить холодному мозгу его вечное требование ПОНЯТЬ. . .

. . . Как сказал Леопольд Васильевич о коллеге-самоубийце? «Был одинок — не умел объяснить сложные идеи даже мне, руководителю. . .» Да, так он сказал. . .

Я проводил Аэлигу до ее дома. Мы говорили уже только о земных делах. О ее тоске по Ленинграду, ее туберкулезе, который заглох здесь, в этом континентальном климате, за что она благословляет землю Сибири и здешний снег, который позволяет детишкам обманывать матерей. Детишки вволю валяются в сугробах, а снег не пристаёт к ворсу пальтишек, сразу опадает. И матери не могут уличить детей в преступлении. И еще здесь хорошо, что есть, пускай малогабаритная, но квартира, а в Ленинграде ее подруги так и проживают жизнь в коммуналках. . .

— Вы сейчас в столицу? — спросила Аэлита без всякой зависти.

— Да.

— В Институте дружбы народов имени Лумумбы работает мой друг. Он профессор, африканист. Сможете передать ему пакетик? Только обязательно из рук в руки — это его график психических и физических состоя-

ний на год. Он вычислен по японскому методу, но с нашими поправками. И вам мы составим и пришлем потом, хотите?

— Хочу.

— А сейчас тест: назовите любую цифру от единицы до шестидесяти четырех! Быстро!

Я назвал «63». И она таинственно сказала, что впереди меня ждет значительность судьбы и удача.

Мороз был сильный, леса и дома погрузились в оцепенение, даже свет от фонарей не шатал теней на сугробах. Я один скрипел ботинками в тишине почти максимальной энтропии. И вдруг услышал звонкое бульканье воды. И скоро обнаружил фонтанчик. Нормальный уличный фонтанчик бил в сибирский мороз среди сугробов. Это не была лопнувшая труба или водяная колонка.

Я подивился причудам ученого городка.

О, пока существуют причуды, нам нечего бояться!

Причудой было спросить у меня цифру от единицы до шестидесяти четырех. Причудой было ответить. Причудой было сказать мне с таинственным видом, что «шестьдесят три» означает нечто значительное и хорошее.

Шагая к гостинице в хрустальном звоне уличного фонтанчика, я уточнял ход своих мыслей при назывании цифры. Кажется, в мозгу возникло графическое изображение единицы и шестидесяти четырех. Брать крайние цифры было как-то тривиально — они уже были названы. Тогда мелькнула двойка. Но с ней были школьные, неприятные ассоциации, и мозг отклонил ее. Тогда по закону симметрии мелькнуло «63». Эта цифра показалась «теплой», кроме того, она была кратной трем, а это любимое число. Ничего загадочного — голое рациональное рассуждение. Но вот лукавая женщина взглянула таинственно и напороочила значительное впереди, и я уже готов приплясывать на сибирских сугробах и жизневерие вздымается в душе, как цунами. . .

В вестибюле гостиницы было по-ночному глухо и пусто.

Я прошел к лифту и нажал кнопку, продолжая размышлять о границах иррационального и рационального.

го, об обнаружении в душе склонности к идеализму, в которой я так старательно не хочу признаваться, и не только на партсобрании, а сам перед собой.

Лифт не подавался. Я нажал кнопку соседнего. И опять погрузился в хаос своего сознания, которое представляет явление по самому существу единичное, для которого множественность неизвестна. Ведь каждый человек рождается с одинаковым для всех чурбаном-сознанием, а затем жизнь физическая и социальная надевает на этот стереотипный чурбан одежду нашей индивидуальности и неповторимости, но это только шляпки и панталоны на чурбане неповторимы, а сам чурбан сознания для всех единичен. . .

Прошло уже минут пять. Я машинально нажимал кнопки то правой, то левой шахты. Клетки все не было.

Наконец я очнулся и увидел плакатик на стенке: «Лифт работает до 23 часов».

— Дьявол! — пробормотал я, потому что склонен гордиться своей наблюдательностью, и оглянулся.

В трех метрах от меня сидел на стуле швейцар. Он был еще не стар. Швейцар глядел на меня тем взглядом, каким дикарь-охотник следил за мамонтом, шествующим к яме-западне, — взглядом, зачарованным предвкушением неизбежного краха жертвы, взглядом плотоядным и злобно-торжествующим.

Оказывается, я целых пять минут доставлял этому человекообразному наслаждение. Он не сказал мне простое: «Товарищ, лифт уже не работает!» Наоборот, чем дольше бы я простоял у лифта, тем большее удовольствие он бы получил. Еще большее удовольствие я смог бы ему доставить, если бы заорал нечто вроде: «Какого черта вы не можете сказать, что. . .»

С каким садистским чувством он объяснил бы мне, что надо уметь читать, что там все написано, что у меня есть часы и так далее. С какой радостью он спел бы мне песню торжествующего мещанства!

Но я лишил его этого удовольствия. Я сдержал отрицательные эмоции и пошел к лестнице, весело насвистывая марш тореадора.

О СМЫСЛЕ ВОПРОСИТЕЛЬНОСТИ

Слоны за веком век прокладывали по Африке сквозь пересеченную африканскую местность, сквозь чащи и болота тропы с таким научно-инженерным умением, что ныне именно по их путям дипломированные люди прокладывают железные дороги.

В шестом веке до нашей эры жил в Индии врач Сусрут. Недавно нашли его рукопись, где была подробно описана операция по удалению катаракты. Современные хирурги-офтальмологи поражены полным совпадением своих приемов по удалению катаракты с приемами древнего индийца.

Термоядерные исследования во всех странах были глубоко засекречены, никакого обмена информацией не существовало, никаких, даже косвенных, упоминаний об этом в литературе не было, но идея магнитного удержания плазмы и все конкретные методы и приемы ее осуществления оказались практически тождественными у нас и в США. Мало того, даже лабораторный жаргон, столь милый сердцу научного работника, по утверждению академика Арцимовича, оказался одинаковым у нас и в Соединенных Штатах.

Таким образом, еще раз подтвердилось, что научное мышление не зависит от широты места, долготы и времени. Оно присуще слонам, древним индийцам, американцам и нам. Оно есть диктант, который мы все пишем под диктовку Объективного Мира, допуская, конечно, ошибки в грамматике, допуская даже кляксы и отсебятину, когда мы не знаем точного написания диктуемого слова, но каждый пишет синонимы, ибо слушаем один и тот же текст. Штамп Объективного Мира печатает тождественные понятия на простынях нашего мозга. И ве-

ликие и мелкие люди повторяют друг друга и во времени и в пространстве. Ход идей для овладения плазмой и ход идей при удалении катаракты тождественны, и потому, строго говоря, не имеют авторства. Именно поэтому ученые регистрируют свои идеи и берут патенты на свои открытия. В ученом мире для сохранения своего имени в веках необходимо быть первым у ленточки нового факта, — нового, конечно, только для нас. Вообще-то этот факт существует с того момента, как существует Мир. Вообще-то этот факт будет открыт и объяснен рано или поздно. Это неизбежно. Эйнштейн удивлялся Галилею. Зачем старику было объяснять свои истины толпе? Достаточно того, что сам узнал. И получил высокое наслаждение. А сообщать другим — зачем? Рано или поздно все узнают то, что узнал ты. Рано или поздно все звезды будут пересчитаны, раз они есть на небе.

У художников нет Бюро патентов. Оно не нужно художникам. Художники не способны повторить друг друга даже в тех случаях, когда они ставят перед собой такую задачу. И даже если бы были картотеки художественных откровений, они не помогли бы другим художникам. Ибо открытия в художественном ощущении мира всегда первичны для каждого. Можно тысячи раз в любых географических пунктах и в любые века открыть силу тяготения или убедиться в том, что Земля — круглая. Невозможно создать вторую Джоконду, как невозможно равноценно заменить самый слабый художественный талант чистым размышлением. Ценность средней мысли равна нулю, средний талант имеет цену, ибо мысли повторяются, а художественность индивидуальна, а значит — неповторима. Попробуйте повторите Бсборыкина!

Великий ученый, объяснивший великий факт природы для себя, но не могущий по какой-то причине передать свое знание другим, умирает с меньшей тяготой, нежели художник среднего таланта, который написал картину химически несовместимыми красками.

Ученый не сомневается, что рано или поздно придет другой гений, и найдет его истину, и расскажет о ней людям. Ученый знает, что исчезает только его авторство, а не истина. Когда исчезает картина, исчезает и авторство и художественная истина навсегда.

Основой творческого научного мышления является

решение проблем, то есть постановка вопросов и ответ на них.

Когда художник и ставит вопрос и пытается ответить на него, чаще всего он оказывается в луже. Художественное творчество не совпадает с научным по своему стилю. Для гениального художественного шедевра достаточно вопроса. Например: совместимы ли гений и злодейство?

Если вопрос задан в совершенной художественной форме, он имеет столько ответов, сколько есть людей на планете. Конечно, эти ответы возможно сгруппировать по степеням, например, доказательности их. Но двух абсолютно одинаковых ответов не будет, потому что в такой ответ (если, конечно, он дается в развернутом, мотивированном виде) целиком входит вся философия, весь жизненный опыт, все знания отвечающего индивида. В зависимости от степени эрудиции отвечающий может привести больше или меньше примеров соединения гения и злодея, но никаким количеством он не убедит оппонента.

Ответ на вопрос, скрытый в художественном шедевре, ищет все общество, весь мир, все дилетанты, не имеющие никакого отношения к профессии специалистов по психологии творчества. Табу на поиск ответа не накладывается ни на дикаря, ни даже на сумасшедшего. Наоборот, ответы последних еще и интереснее для всех думающих над вопросом.

Художник общается с миром, а ученый — с коллегами.

Что делает вожак-олень, когда ему чудится незнакомый запах или дальний шорох?

Все видели, как застывает вожак, изображая из себя вопросительный знак. Он весь — от последнего волоска на хвосте до глаз, и ушей, и рогов — вопрос. Вожак задает вопрос себе и всему стаду. Он сразу делится вопросом со всеми — так надо для повышения безошибочности ответа, так надо, чтобы выжить.

И мы, человеки разумные, унаследовали непреодолимое стремление делиться вопросом, который потряс нас, со всеми остальными. Но чтобы поделиться вопросом, передать другому тревогу увиденного неизвестного, надо вопрос изобразить, сформулировать. Так начинается творчество.

Ведь когда рисует ребенок, он все время поглядывает на тебя, он задает вопрос: «Папа, ты понял, что это я нарисовал домик? А это коза, да, папа?» Потом вопрос, который задает художник себе и миру, все усложняется и доходит до зауми для непосвященных, ибо художник не способен сформулировать вопрос в логических понятиях. Он задает вопрос, совместимы ли гений и злодейство, в форме «Моцарта и Сальери», но, пересказанный мною в виде слов-понятий, этот вопрос уже не существует, это я только одну из бесчисленных матрешек вытащил на свет логики. На самом деле вопрос, который задает Пушкин, так же сложен, как вся сложность Мира.

Ученый же так хочет поставить вопрос, чтобы задачу или проблему можно было не только обязательно решить, но и решить по возможности быстро и полно, и при минимальных издержках. Если ученый задает вопрос, который не может лечь в русло научно разработанной стратегии ответа, то коллеги не считают этого ученого ученым. Они считают его беспочвенным фантазером и псевдомыслителем, беллетристом и сенсационником или даже мистиком и шарлатаном. Они считают его оленем, который сделал стойку-вопрос не потому, что обнаружил в реальном лесу новое неизвестное, требующее внимания и напряжения для разгадки, но потому, что ему это померещилось, или, хуже того, он застыл в скульптурной позе вопроса только для того, чтобы самочки на него любовались. И все вообще вокруг на него обратили внимание.

Такого коллеги-ученые ему не простят.

«Я хочу быть понят моей страной. . .»

Маяковский хотел, чтобы поняли вопрос, который он задает по велению мироздания. Вопрос! А большинство думает в таком случае, что вопль художника о непонятости есть жалоба на то, что общество не понимает найденного художником ответа на мучающий общество и его вопрос. Да нет же! Художник мучается потому, что не способен сформулировать вопрос с такой простотой, которая доступна каждому. Ответа он и сам не знает. Ему только бы поделиться вопросом, сообщить свой вопрос другим — красками, стихами, модернизмом, реализмом,

музыкой, криком, самоубийством даже! Не ответ надо искать в столе самоубийцы, не ответ он нес людям. Он хотел поделиться своим открытием вопроса, но сложность вопроса не поддавалась формовке даже в горне гения. Тогда он швырнул в горн свою жизнь.

И вот огонь вспыхивает таким пламенем, что освещает на миг таинственную глубину вопроса. Вожак погиб, но стадо осознало, нет, не осознало, а почувствовало то Неведомое, что обнаружил в лесу мира художник. Не важно — бояться и бежать неведомого надо или радоваться ему.

Избита фраза: «Гений опережает человечество». Но кто попробовал поставить себя на место человека, который умеет отлично объяснить понятное им, но на планете еще нет людей, способных понять его?

Это то же, что клетку посадить в жесткий объем, который не даст ей разделиться. Если женщине не дать родить — невозможно представить ее мучительную гибель. Так же страшно и одиноко тому, кто оказался впереди всех. Конечно — бумага, теперь магнитофон, как когда-то стена пещеры для пещерного художника, но разве это спасет от одиночества?

Косой дождь не смог дойти до этой пашни, пролился там, в дали, над целиной, над лесом, над горами — для будущего пролился. Как рисунок пещерного человека начинает проливаться с настоящим толком только ныне — в атомную эру. Только сегодня он срабатывает — позволяет понять нечто в нас самих, найти исток творческого, объяснить нам наше творческое. Но это со стороны «души». А люди, с которыми я беседовал, завтра уложат под электронный микроскоп ген нашего творчества — часть сложной органической молекулы, по свойствам совпадающей с аperiодическим кристаллом.

Бывший министр просвещения и науки Англии профессор Бертрам Боуден заметил, что если закон, которому подчиняется рост числа ученых в наше время, будет действовать в течение еще двух столетий, то все мужчины, женщины и дети, все собаки, лошади и коровы будут учеными. К тому же времени у человечества больше не

станет денег на поиск все новой и новой информации. Вот тогда-то в цену войдет не талант искателя новизны, а способность из гор старых знаний, путем ассоциаций и неожиданных состыкований их, высекать искры постижений. И появится профессия «ассоциантов». Людей дилетантского знания из множества областей. И это неизбежно. И уже сегодня надо отбирать таких людей и давать им свободу шататься с факультета на факультет, продлив им студенческую стипендию до самой смерти.

О, это будут люди самой странной профессии во Вселенной. Им будет разрешено глухой ночью бродить по Эрмитажу или Лувру. И они будут слушать мраморное дыхание античных богинь, в тишине раннего утра. И у них будет допуск в жилье молодых зверят во все зоопарки. Их будут приглашать в запретные уголки ботанических садов в моменты, когда раскрываются самые чудесные цветы самых чудесных кактусов. И они будут летать первыми на другие планеты без всяких специальных целей — только ради радости возвращения на Землю. С ними будут кокетничать и лукавить самые обворожительные девушки. И даже самые застенчивые музыканты будут разрешать им сидеть в пустом репетиционном зале, когда нежная музыка еще только в бутонах и непосвященным нельзя глядеть на нее. . .

Все это будет разрешено моим ассоциантам для того только, чтобы они всегда радостно любили жизнь. Ибо, прав Ящик, именно из любви возникает настоящее творчество. Мудрость отличается от умности тем, что ищет не новости-истины, а пути к счастью. Потому, между прочим, и все богини мудрости — женщины. А ведь во времена Сократов женщина была необразованной и невежественной в науках. И Платону и Сократу было тяжело беседовать с женщиной даже пять минут. Но именно женщину возвели древние мудрецы на пьедестал богини Мудрости. Почему? Потому что женщина не знает, а ведает пути к счастью. Ей не нужен гирокомпас. Гирокомпас указывает истинный норд, используя вращение Земли, силу тяжести, то есть гравитацию, и хитрые свойства волчка. Женщина ведает пути к счастью потому, что умеет беспечно и весело отдаваться вращению Земли и гравитации. В поисках счастья женщине не обязательно открывать новые истины и погрязать в знаниях. Она

находит новое счастье через старую, необразованную любовь.

Песня Сольвейг родилась в фиордах, эхо фиордов звучит в каждой ноте.

Фиорды созданы ледником. Ледник рождается из снежинок.

Величавость рождается из крохотных частиц красоты и сохраняет в себе их первозданную, простую нежность.

ПОЧЕМУ Я ПРОТИВ НАГЛЯДНОСТИ

Утро отъезда опять было солнечное. Чистый мороз, и сиреневая белочка умывается снегом у самой дороги.

И в такси я спросил у шофера разрешения курить: мне хотелось быть вежливым и духовно чистым.

— Кури, пожалуйста — скорей помрешь, — общительно и весело разрешил шофер.

Мы прихватили еще попутчика и покатали в Новосибирск, разговаривая о куреве и его вреде для организма. Вообще-то, курево, наркотики, алкоголь — все это психофармакологические препараты. С их помощью наш организм вырабатывает гормон любви к жизни, хотя бы на секунду, минуту или часок подавляет гормон страха перед ее сложностью.

Мелькали по бортам сосны вперемежку с березами.

Шофер рассказывал, как вез недавно в аэропорт старика семидесяти лет. Старик ехал встречать отца девяностопятилетнего возраста. Тот оказался крепким мужчиной с ясным и степенным разумом, проживал в Обской губе, похоронил двух жен и женился на третьей. Крестьянин, держит корову и лошадь, стреляет уток, ловит рыбку, курит всю жизнь самосад страшной крепости. Обкуривает трубку мятой. На предложение семидесятилетнего сына купить поллитра сказал, что хорошо посидеть можно только за четвертью.

Шоферу занято было вспоминать, как один старик другого называл «папой».

Встрял в беседу попутчик. Он каждый отпуск ездит к деду. Деду девяносто два, живет в Калининской области недалеко от Осташкова, вдовец, хозяйствует один, имеет корову, двух коз и теленка. Дрова в лесу уже не

может рубить, но поленницу укладывает сам. Тридцать лет был председателем колхоза. Давно на пенсии, но за хозяйством следит, и даже закреплен за ним старый жеребец Орлик, который раньше был производителем. Орлик конь шажистый. . .

Мы мчались по отличному шоссе вдоль Оби. Хотелось увидеть затон и в затоне зимующие сухогрузные теплоходы, и среди них СТ-760, который мы сюда когда-то перегоняли сквозь арктические моря. Наш СТ на карской крутой волне скрипел всеми сочленениями. И иногда казалось, судно оборачивает длинную морду и косит на тебя взглядом так, как делает это добрая лошадь, когда ждет похвалы за искреннее усердие. . .

Но лед Оби был пустынен, затонов не встречалось.

Уши ловили рассказ попутчика о древнем старце. Дед объезжает колхозные поля на древнем Орлике в древней рессорной бричке и дает прикурить нынешнему председателю, зоотехнику и агроному, если те пролопшут чего-нибудь, разъезжая по хозяйству на шикарных легковых машинах. Старый председатель на легковушках никогда и принципиально не ездил. И потому обладал и обладает способностью возникать на свиноферме, например, в самый тонкий момент. Только начнут кормить свиней, дед — раз! — и рисуется на ферме. А корм неравномерно распределили между животными — вот дед и поднимает хай. Один раз привезли заморский жмых, две тонны. Дед понюхал, посмотрел и запретил скотину кормить — плесень учуял. И как ни пытались на ферме его по кривой объехать, ничего не вышло. Не дал дед скотину травить. Отправили жмых на сушилку, все две тонны. . . Еще попутчик рассказал про борьбу деда за снегозадержание. Как дед на председателя жалобу написал, как трактора выбил, как ждал трое суток тархтеня с полей. И дождался. Пригрохотали трактора с рыхлителями. А дед сразу за ними нос в след — не глубоко ли поставили рыхлители? Не повредят ли растения? И доволен остался. И только приговаривал, что он землю знает и любит и иначе нельзя, потому как она нас кормит. . .

И вот все эти симпатяги старики «всю жисть» пили водку четвертями, курили по фунту самосада в день, без усталости решали женский вопрос. И живут себе чуть не

по десятому десятку, ибо близки были и есть к земле и естественному существованию. . .

Жизнь подсовывала банальную развязку для путевого очерка — высшая мудрость и смысл жизни вдали от наук, за деревенской околицей, среди берез, над Обской губой, в калининских полях. . .

Есть выражение «с быстротой мысли». А самую мысль сравнивают с молнией, потому что она мгновенно озаряет. И получается, что мыслим мы очень быстро. Но это красивое заблуждение. Мы мыслим очень долго. Десятилетиями, даже периодами целых наших жизней. Огромное количество Времени должно протечь сквозь нас, вращая жернова во тьме наших черепов, чтобы зарядить лейденскую банку черепа, чтобы накопить достаточную для разряда-молнии энергию. Ведь уже в детстве мы слышим миллионы раз: иди гулять в садик! Или: не будь идеалистом! И вот только к старости вдруг озаряешься огромностью философского смысла обыкновенного садика, и утешаешься альтруизмом идеализма, и чувствуешь истины мудрецов сквозь простоту детских слов. Но дело в том, что мы никогда не узнаем, какая же из истин — эмбриона, ребенка, старца — ближе всего к истине. Мы не можем этого узнать, ибо мы всегда те, какие есть в данный миг. Мы приборы, опущенные в колбу мира. . .

В аэровокзале очередь на регистрацию уже растаяла, и я прошел формальности без лишних хлопот. Но затем ситуация осложнилась.

Двести человек-приборов начали жестокий штурм колбы-автобуса, рассчитанного на сто персон. Двести пассажиров рейса № 182 Новосибирск — Москва не желали понять простой истины, внушаемой им шофером. Шофер же орал, что сейчас придет второй автобус. Но толпа хорошо знала относительность таких истин. И я тоже хорошо знал. И только гигантским напряжением воли сдерживал острейший позыв души к штурму автобуса. Меня так и волокло в его переполненное нутро, страх и неверие во второе автобусное пришествие так и пихали меня в толпу. Чтобы не поддаться инстинкту, я увел себя с улицы в помещение аэровокзала. А чтобы не смотреть в окно на толпу, чтобы ее флюиды не соблаз-

няли, я отошел вглубь и купил у автомата газету «Правда» за 3 марта 1974 года. Удержать волевым усилием внимание к тексту передовицы под названием «Наглядная агитация» я не смог. Внимание было направлено на вопрос: придет второй автобус или я свалю пижона и дурака?

Второй автобус пришел.

И в нем было полупустынно.

И я сидел в удобном кресле, и автобус мчался по хорошей дороге мягко, так мягко, что можно было читать в газете о недостатках в нашей наглядной агитации.

«Здоровье каждого — богатство всех!» — таким сто метровым полотнищем обезображен самый центр чеховской Ялты. Это рассчитано на толпу, но толпа это не сумма индивидуальностей, то есть не коллектив. Коллектив рождается общим трудом или общим творчеством. Толпа же — это рой. Это та форма жизни, которую мы миновали еще на самой первой ступеньке эволюции.

Миновав перронный контроль в аэропорту, я закутался, натянул перчатки и взял портфель под мышку. Впереди ждал автопоезд с открытыми прицепами, а поземка мела по полю во всю ивановскую.

Но до чего же мои флюиды действуют на швейцаров, дворников и досмотрщиков!

Десятки других пассажиров нормально шли к автопоезду и забирались на удобные местечки. Меня же оставили две милостивые девушки с глазами майора Пронина. Они отвели меня в угол и приказали открыть портфель.

— Простите! — сказала одна.

— Для вашей личной безопасности! — объяснила другая.

Пришлось снять перчатки, зажать их между колен и потрошить портфель, испытывая приблизительно те чувства, которые заставили нервничать растение под датчиком детектора лжи во время опытов профессора Бакстера.

— Простите! — еще раз сказала первая девушка и выхватила из портфеля французскую электробритву. Футляр бритвы был нестандартной формы и насторожил девушку.

— Простите! — сказал я, машинально пытаюсь отобрать свою собственность обратно. — Это просто бритва!

— А вот мы поглядим на эту бритву! — сказал милиционер, возникший рядом из просвеченного солнцем морозного воздуха.

Электробритва выглядела на свету, вне интима, как-то подозрительно даже для меня, ее хозяина. А вдруг, похолодел я, действительно в ней адская машина? Бестолковщина штука заразительная. Недаром Гоголь ломал голову над тем, как узнать многое, делающееся в России, живя в России. Разъезды по государству классик отвергал: останутся, мол, в памяти только станции да трактиры. Знакомства в городах и деревнях тоже казались ему довольно трудными для разъезжающих не по казенной надобности: могут, мол, принять за какого-нибудь ревизора, и приобретешь разве только сюжет для комедии, которой имя бестолковщина. . .

Бестолковщина с бритвой, конечно, разъяснилась, но, забравшись в концевой прицеп автопоезда, я обнаружил отсутствие одной перчатки. Сибирский мороз мне помог вовремя обнаружить пропажу. Вспоминая невезучего Альфонса и его слезы после истории с утопленным гадом, я вытолкался из прицепа. Причем выталкивался я против нормального течения нормальных пассажиров. В одном из них я узнал знаменитого на весь мир академика. Чтобы его легче было узнать, академик был без шапки. Его бронзовое, альпинистское лицо обрамляли заиндевелые кудри.

— Куда вы претесь? — спросил академик.

— За перчаткой! — объяснил я.

И академик любезно помог мне выпихнуться навстречу потоку.

Перчатка нашлась на контроле, но автопоезд ушел.

И, проклиная всех воздушных пиратов планеты, я зарылся к самолету наискосок взлетного поля вместе со жгучей поземкой и всеми тревогами мира конца двадцатого века.

Когда я выполняю приказ стюардессы и пристегиваюсь ремнем, то всегда вспоминаю акт отчаянного мужества в прошлом. Я вспоминаю прыжок с парашютной вышки в ЦПКиО имени Кирова. Подвесную систему никто не подгонял к моему миниатюрному телу. Когда, получив пинок в зад от здорового вышибалы, я миновал калитку в заборе на вершине вышки и, строго следуя всем

законам Ньютона и Эйнштейна, направился к центру Земли, то ощутил ужасающий рывок строп в деликатном месте. Большое количество разноцветных кругов в глазах помешали тогда насладиться видом парка культуры с птичьего полета.

Самолетные ремни рассчитаны на беременных женщин. Внутри самолетного ремня я вполне могу совершить тур вальса. Таким образом, замыкание себя в круг ремня лишено какого-нибудь практического смысла. Подгонять же ремень по своей талии представляется недопустимым по соображениям фатализма.

Полтора часа до Москвы я, измученный телепатическими бдениями минувшей ночи, проспал беспробудным сном в бессмысленном круге спасательного ремня. И проснулся, когда вежливый радиоголос попросил всех оставаться на местах до полной остановки самолета.

Начинался спектакль, который развлекает меня в конце каждого полета.

Ну, то, что большинство встает и начинает одеваться еще до остановки, не является интересным с точки зрения науки. Обычная российская расхлябанность. Меня, как человека глубоко дисциплинированного, она раздражает, но не сильнее, нежели шведы или бельгийцы, которые стоят на тротуаре перед красным огнем светофора даже в том случае, если в оба конца дороги нет машин и в тысяче километров. Рабская покорность правилам шведов или бельгийцев, пожалуй, раздражает даже сильнее.

Интерес же с точки зрения науки вызывает дальнейшее поведение наших пассажиров в остановившемся самолете.

Ведь всем известно, что трап привезут далеко не моментально. Скорее, подачи трапа есть смысл ожидать ежечасно. Но все двести человек встают. И ждут открытия дверей в стоячем положении.

Каждому стоящему в самолете душно, ибо голова его находится высоко — там, куда поднимается теплый, надышанный воздух. Каждый, если бы он сидел, отдавал бы себе в этом отчет, ибо с пятого класса знает, что теплый воздух легче холодного и потому поднимается. Но, перейдя в стоячее положение, люди уже не помнят истин пятого класса.

Вот это удивительное превращение академиков, ар-

тистов, капитанов, инженеров в загипнотизированных кроликов я и наблюдаю в конце каждого полета с огромным, никогда не ослабевающим интересом.

Ну, скажите: придет трап скорее оттого, что вы встали? Пока вы сидите, вы знаете твердо, что это на трап не повлияет, что дядя Вася сейчас чешется, потом будет застегивать ватник, потом докурит папиросу; потом побредет к дяде Ване за советом, так как мотор трапа на морозе не заводится, и т. д. и т. п. Все это в сидячем положении вам известно и понятно.

Но как только вы встали, так попали в мир иллюзий и гипноза. Вы уже не можете теперь сесть, даже если трап не придет до утра. Вы превратились в курицу, от клюва которой провели мелом черту. Вы рассуждаете про себя приблизительно так: «Если я теперь сяду и в ту же секунду подъедет трап и откроется дверь, то мне придется сразу же встать. Вся эта манипуляция вызовет издевательскую ухмылку на физиономиях соседей. Нет уж! Если я встал, значит, я знаю, что я делаю! Я не собираюсь показывать людям, что я совершил глупость! Нет, я им не доставлю такого удовольствия! Наоборот! Я даже пот не буду вытирать со лба! Пускай они знают, что мне приятно стоять, засунув голову в тяжелый, спертый воздух; мне приятно стоять в тяжелой шубе и чувствовать, как по спине течет ручеек! Я, черт возьми, знаю, что я делаю!»

Наши человекообразные прародители и первобытные троглодиты жили сообща в пещере. Стоящий турбореактивный самолет есть копия пещеры. Не удивительно, что древние инстинкты у современных людей всего легче пробуждаются, когда они топчутся в оstanовившемся реактивном лайнере и каждые две-три минуты судорожно дергаются по направлению к герметически закрытым дверям, ибо кто-то один совершил случайное резкое движение. Ведь дергаются даже и те, первые, которые отлично видят, что дверь закрыта и дядя Вася еще курит!

Я удобно сижу в кресле, твердо зная, что успею встать, достать пальто из сетки и накинуть его, когда трап наконец придет, и смотрю на академиков, артистов, капитанов и инженеров. Я смотрю на мужчин, женщин и детей, держащих в руках вещи, растопырившихся в самолетном проходе, тянущих шеи в едином направле-

нии выхода из пещеры. И думаю о том, что люди способны двигаться во времени взад-вперед без больших усилий. И без всякой машины Времени. Достаточно было в этот Новый год пустить кому-то слух, что планета вступает в год Тигра и что Тигр любит красный цвет, как наши цивилизованные женщины раскупили все красные тряпки.

Я знаю об этом от докторши философских наук.

Она пришла в гости на старый Новый год. И в полночь повязала голову красной ленточкой. И рассказала, что в детских универмагах пожилые дамы раскупили все пионерские галстуки.

Дядя Вася подъехал. Двери открылись. Толпа ринулась из самолетной пещеры, чтобы обрести индивидуальность на просторе Земли.

И академики выбрались из самолета. Я знал, что они прилетели в столицу по поводу юбилея Академии. Несколько ученых, как и самый великий, были без шапок. А в остальном — люди как люди. Они собрались обособленной кучкой, ожидая автобуса. Персональные автомобили, конечно, ждали их, но на летное поле к трапу самолета их автомобили пропуска пока не имели. К автомобилям надо было ехать в автобусе.

Автобус оказался «Икарусом». Дежурная объявила, что второго не будет и все должны поместиться в этом.

Академики закружились в толпе. Пассажиры заполняли автобус — очередную пещеру на пути к индивидуальности.

Каким-то чудом в автобусе уместились все.

— А он резиновый! — сказал самый знаменитый академик, с которым судьба свела нас живот в живот. Он сказал это об автобусе, но не мне, а через мою голову знакомой даме.

Академик заговорил штампами! Ведь слова «он не резиновый» — это штамп трамвайного языка. Ученый интеллект от флюидов пещеры упал до катастрофически низкого уровня.

Моя же ненависть к штампу неспособна была угаснуть даже в пещере переполненного автобуса типа «Икарус».

— Вам не кажется, — сказал я академику, — что не автобус резиновый, а мы с вами резиновые?

ЧТО МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ

Мне показалось, ученые решительно и бесповоротно убедились или убедили себя, что фундаментальные основы естествознания едины по своему существу. Одни и те же универсальные законы в разных вариациях могут применяться в научных работах, посвященных элементарным частицам, атомам, молекулам, живым клеткам, живым тканям и организмам, газам, жидкостям, твердым телам, звездам, планетам и человеческой совести.

С одной стороны, такое положение увеличивает мощь науки. А с другой — выбивает из ученых какой-то кусочек одухотворенности, ибо процесс познания стал на поток, копируя характер сегодняшнего материального производства, его серийность и упор на штамп.

Ученое мышление по своему характеру приближается к производственному, инженерному. Необходимо построить мост длиной в сто километров. Никогда таких не строили. И сегодня еще невозможно построить. Но инженеры спокойно сидят и считают этот мост. У них нет сомнений в том, что они его построят — не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. У них нет никаких сомнений в том, что законы сопромата универсальны и полностью годны и для стокилометрового моста и для стокилометровой башни. Это наполняет инженеров спокойствием и... какой-то неуловимо-томительной скукой.

Не чувствуется среди ученых сладкого ужаса перед сотворением Вавилонского столпа. Они не боятся наказания разделением языков. Вавилонская башня сегодняшней науки возводится академиками с хладнокровием инженеров мосье Эйфеля. И это начинает подсознательно удручать их самих... Что и как включает тот или иной

процесс в клетке? Еще не ясно, но старые законы в новом варианте дадут ключ. Как неизбежно будет расшифрован манускрипт исчезнувшего народа, так и здесь. Только количество времени и усилий, но без знаменитого коэффициента «безумности». Про необходимость высокой степени «странности» говорят много, но это слова, а не стиль мышления.

Еще мне показалось, что ученые не простят писателям дилетантского интереса к наукам. Ученым, как и любым любознательным людям, хотелось бы сунуть нос во все области знания, во ~~все уголки бытия~~, но они жесткой рукой самоограничения отсекают себя от пестроты мира. Они едва успевают следить за информацией в своей узкой области. Если им хватает дисциплины, если они лишают себя удовольствия знать разное, то почему кто-то разгильдяйски разрешает себе тратить время на любое интересное?

Мне не удалось объяснить им, что отказ от неожиданных знаний ведет писателя к вандализму. Когда человек забивает гвозди электродрелью, принимая ее за обыкновенный молоток, то этот человек — вандал, то есть крайний циник, ибо он обязан знать, что такое дрель, раз взял ее в руки. Писатель же ежечасно берет в руки человека и забивает им, живым человеком, гвозди своих сокровенностей в сердце и мозг читателей. Писатель будет циником, если откажется от знакомства с любыми научными знаниями, ибо они все касаются человека и никто не ведает, какое из знаний играет в познании человека большую, а какое меньшую роль. Но писатель будет вандалом и циником и в том случае, если не сможет привести все знания, весь свой внутренний мир к гармонии, а эту гармонию еще осмысленно соотнести с социальными установками, с сегодняшними нормами, ценностями, стереотипами. . . Но ведь ежу понятно, что на такое не хватит человеческой жизни. Тем более это ясно ученому. И тогда ученый рациональный мозг совсем уж не хочет сочувствовать писательским душевным мучениям, ибо они бессмысленны, как любые попытки объять необъятное. Но в том-то и дело, что эти муки, очевидно, запрограммированы Природой. Очевидно, эти бессмысленные муки не бессмысленны. Они, вероятно, те жернова, между которыми затачивается волшебная палочка интуиции. В колбе поэтической души, где бушует метановый

хаос беспорядочных ассоциаций, где нагнетается и нагнетается духовная му́ка, иногда проскакивает, подобная молнии-прародительнице, интуиция-озарительница. И тогда выпадает осадок живого белка — новый образ.

Человеческий разум стал феноменом, потому что обрел воображение. Вам легко поместить мозг в грудную клетку, не прибегая к хирургическому вмешательству. Вы делаете это в воображении. И понимаете, как тяжело будет мозгу, если рядом трепыхаются еще легкие. На воображение сказанного вам надо микросекунду и микроразтрату энергии. Природа тратит миллионы лет, чтобы найти место для мозга и защитить его черепом.

Выдумка и воображение — разные вещи.

Никто еще не знает, где находится центр воображения в нашем мозгу. Зато ясно, что сила и интенсивность фантазии-воображения не зависят от количества и качества знаний. Особенно это заметно на примере хороших, но глуповатых композиторов.

Природа блуждает в материи, человек — в духе. Мы умнее Природы, когда надо придумать колесо. Мы создаем и обод, и втулку, и спицу, и ось в воображении. Колесо крутится у нас в мозгу еще до того, как мы нашли подходящий материал для первой модели.

Но Природа не могла не наказать нас за такую возмутительную способность. Если сама Природа идет путем проб и ошибок, идет миллиарднолетним путем ощупывания всех вариантов, а мы способны заскакивать вперед собственного свиста со своим колесом, то мы полностью соответствуем Природе, когда ищем свою душу и в своей душе. Здесь нам не помогает воображение и разум. Мы ищем свою душу, как амеба свою пищу, как жук, мы должны ощупать все и вся усиками сомнений и терзаний.

В каждом человеке хранится весь первоначальный хаос бытия. Но как когда-то из этого хаоса родилась сверхсложная гармония белковой молекулы, так и в наших душах из мириад проб и ошибок может рождаться способность объять необъятное. И средняя продолжительность человеческой жизни должна быть достаточна для этого, ибо каждый живет один раз, как один раз живет наша планета, наше Солнце, наша Галактика, а они в течение своей одной жизни озарились нами — людьми. И потому мы не должны пасовать перед бесконеч-

ной путаницей своих душ. Наоборот, тот, кто увеличивает путаницу, нагнетает и нагнетает хаос в себе, тот приближает себя к первозданной неразберихе, в которой уже есть все элементы и условия для возникновения Нового, и тогда... тогда — чуть-чуть! — и во мраке первозданного океана гремит случайный гром, проскакивает случайная молния.

Нельзя бежать от проклятых вопросов, нельзя прятать голову под крыло незнания. Что такое человеческое существование без размышлений о судьбе личности в современном мире, без борьбы с безверием, без утрат и обретений смысла жизни, без страха смерти и страха перед будущим? Как различить время от временности? Что такое общение — самоцель или средство для чего-то другого? В чем больше смысла — в попытке преодолеть все достигнутое или в пассивном созерцании? Имею я право на «намеки», если не знаю абсолютного, черт возьми? Совесть есть призыв быть добрым и избегать зла? Или совесть есть призыв быть самим собой? . .

Это все древние вопросы. Ими битком набиты тяжелые тома философских энциклопедий. Но каждый человек обречен на одиночество, когда пытается отвечать на них для себя. Вполне возможно, это спорное положение, но так кажется мне сейчас, когда мое путешествие в науку за доброй надеждой заканчивается.

Применение принципа неопределенности не только в физике, но и в философии уже носится в воздухе. Возможно, мы беспрерывно познаем смысл (суть) и моментально утрачиваем его, так что он вообще-то постоянно присутствует в нас своим отсутствием. А все, что случайно в одном ряду причин, в одном отношении, оказывается необходимым в другом отношении, в другом причинном ряду.

Логическим следствием в формальной логике тысячами лет называли то, что выводится из посылок по правилам логики. Но открытие интуиционистской логики изменило традиционную точку зрения. И сегодня мы уже не отрываем логику от феноменологии нашего собственного духа. Сегодня уже твердо определено, что процедура поиска подчиняется не «черно-белой» дедуктивной логике, не логике «да» и «нет», а малоизученной «цветной», «гадательной» логике, логике «наверное, это так», где

«наверное» пропорционально моей личной вере в самого себя, а не в «это так».

Существует еще одна логика, которую я определил как «женская неанекдотическая» логика. Эту логику я обнаружил у одной дамы, кандидата юридических наук, когда рассказывал ей о теоретической возможности вырастить из любой своей клетки нового В. В. Конецкого. Дама обдала меня змеинохладным взглядом и сказала:

— Странно! Почему я раньше не знала того, о чем вы говорите? Моя дочь учится в медицинском институте. Если бы то, о чем вы рассказываете, было правдой, она обязательно рассказала мне об этом раньше.

Таким образом, «женская неанекдотическая» логика — это система мышления, при которой вы отказываетесь узнавать новое из какого бы то ни было источника, кроме старого.

Думаю, что все удивившее или запечалившее меня в науке уже вошло в школьные учебники. Но взрослые не читают школьных учебников. В результате любой взрослый легко сочтет эти компиляции архимодным вздором.

Вообще-то «наглядность и понятность» таких штук, как, например, искривление пространства или макромир в микрочастице, зависят от обыкновенного привыкания. Как надо привыкнуть к новым брюкам, так привыкают к «странному».

Уже скоро я доберусь до точки. И мне станет веселее, ибо адреналин выплеснется на бумагу и гормональный уровень во мне понизится.

Пишущий человек счастливее. Он способен преобразовывать нематериальную энергию души вместе с биологическим полем в обыкновенную энергию звука или трения (при ведении пером по бумаге или стукании пальцем в клавиши машинки). Правда, поэт приравнивал штык к перу полсотни лет назад. Теперь пишущую машинку следует приравнивать к пулемету. И потому писательство дело не самое безопасное. Но, в конце концов, в наше время совсем безопасных профессий вовсе нет, если не считать солисток оперетты, которые могут выражать себя чужими словами, чужой музыкой и своими ногами при полном отсутствии голоса. Однако партизанский наскок хорошеньких ножек мой будущий критик всегда способен простить. Мне же не миновать хуков, оперкетов и кряков. Прямым в нос ударит литературовед за

непоследовательность. На крюк противоречивости возьмет философ. Двойным нельсоном скрутит физик-теоретик. При помощи самообороны без оружия швырнет через голову генетик. Без зазрения совести использует каротэ социолог. И только редактор с издателем будут обмахивать меня влажным полотенцем в углу ринга, будут совать мне в ноздри нашатырь и воодушевлять на новый раунд. Только они будут шептать мне в сплюснутое ухо о том, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, и не противоречит себе только тот, кто забил себе кляп в рот прямо в чреве матери.

НА КЛАДБИЩЕ ДОНСКОГО МОНАСТЫРЯ

Почившим песнь закончил я!
Живых надеждою поздравим!..

А. С. Пушкин

В Москве я отправился в Институт имени Патриса Лумумбы, чтобы выполнить поручение Аэлиты — передать гороскоп профессору-африканисту. Профессор был занят с иностранной делегацией. Передать гороскоп следовало только из рук в руки. Это стечение обстоятельств и привело меня к крематорию, который находится напротив института, — нужно было убить часок.

У входа висело объявление: «Просим родственников замуровать ниши в колумбариях мраморными досками! Администрация».

Был мартовский, с намеком на весну день, но очень морозный. И холодная мраморно-гранитная тишина стесала среди богатых надгробий. И холодная голубая ясность предвесеннего неба отражалась в чистых сугробах среди пепельно-сизо-зеленых елок, которые выращиваются только на особо торжественных территориях. Красивая надменность этих елок отпугивает меня так же, как слова, подобные «колумбарию».

От главного входа я свернул налево и сразу натолкнулся на Сергея Андреевича Муромцева — председателя Первой государственной думы. Председатель возвышался бюстом натуральной величины среди обширной гранитной площадки. Метров пятнадцать на пятнадцать площадка. Соседние могилы робко теснились друг к другу, а Муромцев один занимал как бы весь президентум.

Эк, подумалось мне, и почему это тебя, господин, не уплотнили за столько лет?

Старомодный, с бородкой клином и в пенсне старик детской лопаточкой счищал с площадки председателя снег. На мой вопрос о прошлых заслугах господина Муромцева старик по-гвардейски скупно и точно доложил, что Сергей Андреевич был кадет, юрисконсульт французской компании, которая первой провела в Москве трамвай. Затем старик, угадав во мне приезжего, поинтересовался, знаю ли я, на какой земле стою. Я не знал. Оказалось, на земле Донского-Богородицкого мужского ставропигиального первого класса монастыря, основанного после 1591 года царем Федором Иоанновичем в воспоминание победы, одержанной на сем самом месте над крымским ханом Казы-Гиреем, с помощью чудотворной иконы Донския Божией Матери, поднесенной донскими казаками в дар еще великому князю Дмитрию Иоанновичу и бывшей с ним на Куликовой битве.

— Чем еще могу служить? — спросил старик дозволено сурово, закончив рапорт-экскурс в древнюю русскую историю.

Спросить, что такое «ставропигиальный», я не решился, поблагодарил старика и отошел, затаенно хихикая. Мне вдруг подумалось, что это сам Сергей Андреевич Муромцев убирает снежок со своей могилы. Дурацкие мысли чаще всего посещают мой мозг в торжественно-печальных местах.

Я закурил и направил стопы в глубину кладбища, ощущая в мыслях и чувствах необыкновенную легкость. Странно, на кладбищах из меня начисто выветривается страх смерти. А когда куришь среди могил, то иногда испытываешь стеснительность. Запах и вкус табачного зелья там особенно приятны и как-то кощунственно жизнерадостны. Хотя сегодня мы неспособны верить в загробное существование, но нечто вроде взгляда умерших способны чувствовать. И под этим взглядом обнаруживается в тебе трепыхание совестливой стеснительности. Вероятно, писателю есть смысл иногда ставить пишущую машинку не на хороший стол в кооперативной квартире, а на заброшенное надгробье. Ведь отсутствие показа полнокровной любви в нашей словесности, вполне возможно, не только следствие какого-то нашего особенного ханжества, но и диалектическое следствие отсутствия изображения противоположности любви, то есть смерти. Слишком часто мы выкидываем из книг два самых великих

мига — начало и конец существа. А ведь без смерти человек не захотел бы выбираться из вечно затягивающего, как песни сирен, тумана иллюзий и самообмана. Если бы человек не был смертен, он вечно мог бы наряжать облака в штаны, вечно мог бы глотать наркотики, вечно витал бы в мире грез. Смерть для того и существует, чтобы хоть раз за жизнь возвращать нас с небес на землю.

Конечно, каждый здоровый человек ни о чем так мало не думает, как о смерти. Но разве наше стремление узнать нечто о мире и себе, мое торопливое стремление к истине не обусловлено надвигающимся концом? Разве я буду торопиться познать себя, если смогу заниматься этим неограниченное время? Сам Мир потому, вероятно, и неспособен к самопознанию, что беспечен от своей бесконечности.

Мелькали по бокам аллеи имена усопших, чаще нерусские. Среди них вызывал удивление «Егорушка Прокудин, замсекретаря парткома ВКП(б) Электрозавода». Почему-то замсекретаря назван был детским именем, а ниже — «Лучшим борцом за мировой электрогигант». И дата — 1931 год.

А рядом возвышался могучий крест из старого, уже выветренного камня. Под крестом покоился князь Петр Петрович Ишеев, родившийся 12 ноября 1862-го и почивший в бозе 29 апреля 1922 года.

За князем взгляд наткнулся на скромную, даже какую-то небрежную могилу. Ее можно было назвать «захоронением». Тяжкий гранит и мрамор не давили прах. На металлических стойках, уже тронутых ржавчиной, укреплена была металлическая доска с шестью именами одного и того же человека. Профиль человека — бодростарого, лысого, с очками на зорких глазах — был изображен на доске скупыми штрихами. Ниже профиля золотилась ветка лавра.

Если правда то, что разведчик должен иметь внешность незапоминающуюся, неброскую, то Вильям Генрихович Фишер Абель Рудольф Иванович сохранял верность этому принципу и после смерти. И опять мне нелепо подумалось, что великий разведчик, быть может, и не покоится под серыми каменными обломками. А еще под одним именем приходит к себе на могилку и тихо

ухмыляется, поливая цветочки и замазывая суриком ржавчину на металлической доске.

Рыжая кошка выскользнула из куста замерзшей бузины, жалобно мяукнула, глядя мне в глаза, и села на пухлый снег возле могилы Абея.

Кошка была очень живая и теплая.

Когда мы называем кусок материи живым?

Когда он продолжает «делать что-либо» — двигаться, обмениваться веществами с окружающей средой и так далее, и все это в течение более долгого времени, чем, по нашим ожиданиям, мог бы делать неодоушевленный кусок материи в подобных условиях. Если неживую систему изолировать, всякое движение в ней скоро прекращается в результате различного рода трений; разности электрических и химических потенциалов выравниваются, вещества, которые имеют тенденцию образовывать химические соединения, образуют их, температура становится однообразной благодаря теплопроводности. После этого система в целом угасает, превращается в хаотичную инертную массу материи. Достигнуто неизменное состояние, в котором не возникает никаких заметных событий. Физик называет это состоянием термодинамического равновесия или «максимальной энтропией», лирик — смертью.

Мир стремится к неупорядоченности, во всем есть тенденция переходить от менее вероятного состояния к более вероятному, то есть от более сложного к менее сложному. И каждая клетка нашего организма, вообще, жаждет распознаться на простейшие составляющие, то есть на молекулы и атомы. Но какой-то закон или приказ заставляет наши клетки и сорок, и пятьдесят, и даже сто лет опять и опять усложняться, сохранять сверхсложную и безмерно нежную поэтому организацию (по Шредингеру).

Наши клетки питаются куриными яйцами, хлебом, то есть семенами пшеницы, и мясом, то есть такой сложнейшей системой, какой в свою очередь является корова. И все эти чудеса природы, всю сказочную сложность зародыша жизни — яйца или зерна — наш организм превращает в отбросы, то есть в нечто близкое хаосу, оставляя себе сложность.

Сложность клетки так велика, что клетка в процессе существования не может не совершать молекулярных ошибок. Совокупность ошибок со временем нарастает, и в какой-то момент клетка уже не в состоянии их компенсировать. Во всяком случае не может, существуя в прежнем виде. Деление клетки есть что-то вроде обновления, после чего процессы начинают течение как бы вновь, но какая-то часть ошибок остается и накапливается от одного клеточного поколения к другому, быть может на атомном уровне. Это накапливается энтропия, то есть хаос, то есть смерть. Аналогично накапливаются ошибки души. И иногда душа умирает, впадает в хаотичность раньше тела.

Я приласкал живую и теплую кошку и позвал ее за собой, но она не пошла. И я один бродил среди надгробий, пока не наткнулся на особенное.

Обнаженная девушка выдвигалась из глыбы белого мрамора. Одна рука ее безвольно висела, другая тянулась к волосам, будто надеясь облегчить гнет их мраморной тяжести. Изваяние было окружено беззвучным криком, потому что это была работа большого, вдохновенного ваятеля. Это его беззвучные слова, стенания и напевы застыли в мраморе.

Увы, художник, вероятно, не предполагал, что хозяева надгробия рационально укроют мрамор пошлой прозрачной пленкой. Такие применяются для занавесок в ваннах комнатах. Владельцы оберегают статую от вредного влияния городской атмосферы.

В черных глубинах памяти хранится встреча.

Нева. Ночь. Дождь. Гранитный спуск. Девушка на краю последней ступеньки.

Она оказалась немой и хотела утопиться. И я отвлек ее, и проводил в черно-серый дом на Мойке. И все это таится во мне уже четверть века странным сном, шелестом страниц юношеской книги. И я уже не знаю, была ли на самом деле немая девушка, и Нева, и ночь, и дождь, и гранитный спуск к черной волне. Но несколько раз я встречал женские лица, которые напоминали ту девушку, — значит, она была, и во мне хранится тень ее образа. И встреча с похожими на нее женщинами — а

надгробная статуя тоже была похожа — вызывает во мне то давнее юношеское переживание. Ведь все наши прошлые душевные состояния хранятся в нас, как хранится в закрытом рояле вся музыка мира. Что-то или кто-то тронет клавиши, и возникнет та мелодия, которая давно забыта, но ее ноты не истлели на душевном складе. Конечно, плеск живой жизни почти мгновенно заглушит эту мелодию. Но она успевает подарить нам прошлое, давно исчезнувшее в хаосе времени.

Быстро утомившись от множества соединений неосоединимого, я пошел к выходу с кладбища, срезая углы аллей по межмогильным узким тропкам. И старался даже не глядеть на имена вскруг, чтобы не будить в себе бесплодного любопытства к чужим жизням и смертям.

Возле могилы Абеля уже не было кошки, там топталось семейство упитанных людей. Они громко спорили о том, является ли Рудольф Иванович Фишер прототипом Штирлица из «Семнадцати мгновений весны».

Рядом была «Общая могила № 2. Захоронение невостробованных прахов. 1943—1944 (включ.)». И тяжело было слушать громкие упитанные голоса возле безответного праха тех, кому совсем уж не повезло и в жизни и на том свете, у кого здесь не осталось даже имени.

А напоследок судьбе угодно было подарить мне светлое.

В глубине квартала-квадрата в тени старых деревьев я невольно остановился у надгробия, вокруг которого и сам морозный воздух-то двигался с особым изяществом.

Овал женского лица в овале медальона, три нитки жемчуга на обнаженной шее, покатошь плеч, какой почему-то и вовсе нет у современниц. И не без надменной отчужденности взгляд.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
ГАРТУНГ
(УРОЖД. ПУШКИНА)
ДОЧЬ ПОЭТА
18³¹/_V—32—19⁷/_{III}19

Две лиловые астры лежали на чистом снегу.

Куда бы ни носила судьба, Пушкина и пушкинское встречаешь всюду. Вероятно, потому, что просто-напросто носишь Пушкина в себе, как морскую соль в крови.

У каждого есть мать. Каждый нормальный человек любит мать равной сыновней любовью. И кажется, что сила любви и мелодия ее не могут измениться, не могут стать глубже и сильнее. Кажется, что ты любишь мать так, как дало небо, со всей способностью к этому чувству. Но вот мать умирает. И тогда оказывается, что ты любишь ее с еще большей силой и с каким-то иным, мучительным, но прекрасным качеством чувства. Даже своей смертью мать обогащает твою душу и углубляет твою связь с миром, с его бесконечностью и красотой.

Пушкин рождается, живет и умирает при каждой самой мимолетной встрече не только с произведениями его гения, но просто с его именем. И его трагический конец каждый раз углубляет нашу любовь к нему. И непонятно, как может чувство делаться все интенсивнее и прекраснее без конца. Но так происходит.

Такого обновляющего влияния личной смерти на жизнь других, какое оказывает сама физическая гибель Пушкина на русского человека, у других народных поэтов в других странах не знаю. Вероятно, наша раздерганная ошибками и сомнениями душа, накладываясь на поэзию Пушкина или даже просто на его светлое имя, начинает попытки собраться по образцу его гармонии.

Так магнит собирает хаотическую металлическую пыль в сложную и прекрасную гармонию силовых линий, если встряхнуть бумагу с пылью над ним.

Когда пытаешься войти в душевное состояние Пушкина, Лермонтова или Чехова накануне их смерти, то кажется, что главная боль терзала их оттого, что они понимали, сколько не успели, сколько не свершили. Они не могли не знать своей великой цены и не чувствовать в себе великих душевных сил, не использованных еще и на десятую долю. И как им от этого сознания невыносимо тягостно было умирать, и как они и звуком не дали этого понять, и какая высшая российская скромность в их молчании о главной тяготе.

Ведь Пушкин знал, что никто и никогда не заменит, не возместит России даже дня его жизни. И как это

сознание усиливало его предсмертную муку! Это как смерть кормильца, у изголовья которого плачут от голода дети. А он уходит и не может оставить им хлеба. И ему уже не до собственного страха перед неизбежным, ибо в нем *незавершенность*.

Но именно эта незавершенность с такой силой действует на наши сердца и на наш разум, ибо, если хочешь воздействовать на ум человека, то должно действовать в первую очередь на его сердце, то есть на его чувства. Так сама безвременная гибель Пушкина служит тому, что он смертью попрал смерть и живет в каждом из нас, и будет спасать и защищать нас в веках от рационализма и одиночества.

Один художественный философ или философствующий художник, уже старый, уже имеющий право на пренебрежение к фактам и заменяющий факты своими ощущениями их, как-то сказал мне, что Толстой в ранних вариантах «Анны Карениной», близко следуя за прообразом, то есть за Марией Гартунг, придавал Анне африканские черты внешности и характера. От них остались кольца волос на шее Анны и безоглядность страстей. Он еще сказал: «Общество играет в кошки-мышки. Пропускает мышку — Вронского. И не пропускает кошку — Анну. Две морали. От них некуда деваться». Он помолчал и закончил неожиданно: «Знаете, я особо люблю Пушкина, ибо его никогда не предала ни одна из его женщин!»

В тот год, когда Мария Гартунг появилась на свет, князь Вяземский получил звание камергера. Камергеры же как знак царской милости носили на спине ключ.

Пушкин поздравил друга: «Так солнце и на нас взглянуло из-за туч! На заднице твоей сияет тот же ключ...»

Пушкинское озорство сверкнуло на меня из зимних туч лучом весеннего солнца. И я вдруг заметил, что соседи Марии Гартунг по вечному покою носят почему-то сплошь лошадиные фамилии. Слева — Мария Васильевна Конюхова, а фас в фас чета Кобыличных — Ольга Федоровна и Автоном Иванович, почившие в бозе еще в прошлом веке.

Я почему-то ужасно обрадовался тому, что русские люди удивляли мир нечеловеческими именами еще до зари научно-технической революции. И, благоговейно цепляясь за ниточку из подкладки в фалде пушкинского фрака, побрел в Институт имени Лумумбы, чтобы передать профессору-африканисту японо-сибирский гороскоп. И во мне все повторялось «Года к суровой прозе клонят. . .»

Года к суровой прозе клонят. Пора расставаться с путевой. Ей слишком недостает суровости. В нее уходишь, чтобы не остаться лицом к лицу с трудным Величием Мира, которое, вообще-то, воплощено в любом человеке окрест тебя, но никогда — в тебе.

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия 5

* МОРСКИЕ СНЫ

Размышления о документальной прозе возле от- мели Этуаль	9
Во сне и наяву	15
Чертовщина	36
Общественное поручение	56
Дакарские сказки	65
Встреча с Марией Ефимовной	81
Наш кок Вася	103
Под вой трехглазых хоботовых	117
Сценаристы и режиссеры в море	124
Пресный лед у острова Василия	141

* РАССКАЗЫ В ПУТИ

Петр Ниточкин к вопросу о психической несовме- стности	157
Примечание к вопросу о психической несовмести- мости	180
Петр Ниточкин к вопросу о матросском коварстве	187
Невезучий Альфонс	197
Давний Новый год у набережной Лейтенанта Шмидта	209

* ЗА ДОБРОЙ НАДЕЖДОЙ

Профессор Сейс и судьба Альфы Ориона	225
Начало нового пути, или Шок от этологии	239
Держась за воздух, или Шок от энтропии	250
Новое о совести, или Шок от этометрии	258
В «Золотой долине»	272

Новое об эмоциях, или Шок от психофармакологии	278
В черном ящике	284
Тепло телепатии	299
О смысле вопросительности	313
Почему я против наглядности	320
Что мне показалось	328
На кладбище Донского монастыря	334

Конецкий Виктор Викторович

МОРСКИЕ СНЫ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1975, 334 стр. План выпуска 1975 г. № 25. Редактор *Ф. Г. Кацас*. Художник *Л. Д. Авидон*. Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*. Техн. редактор *М. А. Ульянова*. Корректоры *Ф. Н. Агрунина* и *Е. А. Омельяченко*.

Сдано в набор 12/VI 1975 г. Подписано в печать 3/X 1975 г. М 21578. Бумага 84×108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 10³/₄ (18,06). Уч.-изд. л. 17,22. Тираж 30 000 экз. Заказ № 672. Цена 72 коп. Изд-во «Советский писатель», Ленинградское отделение, Ленинград, Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.